

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТОТИХОНОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

А. В. ВДОВИЧЕНКО

**КРИТИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ.
РАССТАВЛЕНИЕ С «ЯЗЫКОМ»**

МОСКВА
2007

УДК
ББК 81.21я73
М 31

Рецензенты:
член-корреспондент РАН,
доктор филологических наук, профессор
Н.Д. Арутюнова,

ведущий научный сотрудник
Института языкознания РАН,
доктор филологических наук, профессор
В.И. Постовалова

Вдовиченко А.В.

М 31 Критическая ретроспектива лингвистического знания. Расставание с «языком». Монография. — М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2007. — 510 с.

ISBN 5-89826-201-6

В монографии рассматриваются две основные тенденции представления лингвистических фактов — объектная и субъектная модели. В рамках первой естественный вербальный процесс интерпретируется как высказывание мыслей с использованием «языка» (системного инструмента и/или живого организма). Однако, с точки зрения второй, так понимаемый «язык» на сегодняшний день утрачивает былую основательность ввиду того, что говорящие (пишущие) не «высказывают мысли языком», а производят действия в коммуникативном пространстве посредством известных им (и сочтенных пригодными здесь и сейчас) вербальных моделей. В монографии исследуются причины, по которым любые попытки теоретизирования вербальных фактов в рамках предметной модели терпят неудачу: тождественным значением обладает лично мыслимое (когнитивно представленное) действие говорящего, в то время как в предметных изолированных элементах «языка» тождественные значения невозможны. В связи с идеей действия говорящего затрагиваются также вопросы отношения слова и сознания, свободы и детерминированности, субъективности и объективности знака и др. Конфликт двух моделей наглядно представлен в коммуникативной интерпретации парадокса лжеца: само существования этого парадокса, по мнению автора, является следствием некорректного (объектного, логического) осмысления лингвистического факта.

Книга обращена к филологической и философской аудитории, профессионально занятой или просто интересующейся вопросами философии языка.

ББК 81.21я73

© А.В.Вдовиченко, 2007
© Издательство, 2007
© Оформление, 2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	15
ГЛАВА 1. ОБЪЕКТНАЯ («СЛОВОИЗОЛИРУЮЩАЯ») ПАРАДИГМА. ПЕРВАЯ ОЧЕВИДНОСТЬ	19
1.1. Платон и Панини: принцип предметности	19
Платон: слово и звук в основании теории	19
Панини: звук в основании теории	21
Апория бессмысленности	25
Платон: поставить смысл на твердую почву, впрочем... ..	26
Панини: семантическая немота божественных звуков	27
1.2. Аристотель: логико-математический принцип	29
Бессмысленность звуков, соглашение говорящих	29
Изгнание говорящего из грамматики в «другую» науку ..	30
Речь составлена из частей	31
Атомарный подход: многоликость изолированных единиц	33
Объединение логики и грамматики	35
Тождество слова и мысли	36
Тождество суждения и лингвистического материала	38
1.3. Стоики: принцип системности	41
Логос — значит, система и связь элементов	41
Логос — значит, предметное слово	42
Грамматика vs риторика	43
Обозначаемое и обозначающее: все словесно	46
Звуки коммуникативного процесса	50
Этимология: игра в смыслозвуки на поле коммуникации	51
Части речи: коммуникативные критерии выделения	54
Учение о падежах и временах: забвение условности грамматических категорий	56
Синтаксис: экспансия логики суждений	62
Аномалия: теснота предметных рамок	68

1.4. АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ГРАММАТИКИ: ПРЕДМЕТНОЕ	
ОПИСАНИЕ «ЯЗЫКА»	70
Предметность материала и теории	71
Аналогисты и аномалисты	72
Победа аналогии	73
Грамматика Дионисия Фракийского	76
Формальные сходства на основе коммуникативной типологии	81
Греческая грамматическая матрица	85
Словесный синтаксис Аполлония Дискола	87
Здание и строительный материал: кто строит?	90
Цицерон об уместности вербальных моделей	91
Граматики-эпигоны	94
1.5. Ф. ДЕ СОСЦИО: SUMMA LINGUISTICAE ANTIQUAE	98
Предметное слово — главный элемент системы	98
Единицы смыслообразования предметны	101
Словесность мышления, языковое мышление	102
Системность «языка»	104
Языковой знак — единство означающего и означаемого	104
Античный лингвистический объект	105
Первая проблема: приспособить материал к инструментарию	106
Primus ex machina deus: «язык»	107
Вторая проблема: избавиться от изменчивости «языка»	111
Ex machina deus secundus: диахрония и синхрония	114
Третья проблема: разрешить конфликт между значениями — собственным и связанным	115
Ex machina tertius deus: значение и значимость	118
Внутренние противоречия	120
ГЛАВА 2. КОММУНИКАТИВНАЯ (ДИСКУРСИВНАЯ) ПАРАДИГМА. ВТОРАЯ ОЧЕВИДНОСТЬ	124
2.1. ИССЛЕДОВАНИЯ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ	126
Фактор сознания в теории знака	126
Аналогия с кубиками	128
Аналогия с фотографией	130
Исходная позиция: «кубики языка» в семиотическом процессе	132
Следующий шаг: предчувствие субъекта	139
Искомое: субъектная семиотика	142
От семиотических исследований к лингвистике	145

2.2. От Гумбольдта к СТРУКТУРАЛИЗМУ	146
В. фон Гумбольдт: язык есть деятельность	146
Начало когнитивной типологии	151
Недоговоренности	152
Нетождественность «языка»	155
Индивидуалистический субъективизм Бахтина и Волошинова	157
Невозможность инструментальной метафоры	159
Младограмматики: назад, к звукам	161
2.3. Кризис ПРЕДМЕТНОЙ МОДЕЛИ: СТРУКТУРАЛИЗМ, ДЕСКРИПТИВИЗМ, ГЕНЕРАТИВИЗМ	164
Структуралистский кризис античной модели	164
Язык Н. Хомского	169
Повторение процедуры Соссюра	169
Другой «язык» Хомского: полочки для кубиков	172
Глубина на поверхности: разбор по составу	174
Предметные основания трансформаций: автономные слова	177
Семантика vs синтаксис: что важнее?	178
Самопорождение предложения	180
Детерминирование механизмом и отсутствие говорящего	180
Отрицание свободы словесного действия: творчество есть механизм	182
Другая свобода	186
2.4. Философия языка ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА	189
Столкновение парадигм	189
ВИТГЕНШТЕЙН О ЗНАЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЯЗЫКА	191
Значение в употреблении: слово неавтономно	191
Языковая игра: контекст жизни или коммуникативное взаимодействие	192
Правило — форма жизни	194
Ex finibus Platonis	196
Лакуны теории значения	196
Circulus viciosus: языковая игра регламентируется правилами, а правила — языковой игрой	197
Причина введения правил — предметность понимания «языка»	198
Сосуществование «языка» и «языковых игр»	201
Правила и «язык» в аналогии с игрой	201
Автономность действия правил: пример чтения	203

Чтение как коммуникативная ситуация	204
Две опасности игровой аналогии	206
Отсутствие неигровых аспектов коммуникативного взаимодействия	206
Отсутствие свободы говорящего	208
Запутывание ситуации: правила постоянно нарушаются	209
Слово в обособленной и связанной позициях	212
Родственные сходства: предметное единство	215
Родственные сходства: все значения слова	220
Назначенность языковых игр	220
Игры именованья и описания	222
ВИТГЕНШТЕЙН О ЛОГИКЕ	224
Преодоление классической логики: от статики к динамике	224
«Назад, на грубую почву языка!»: ошибочное направление	226
Лакуны критики логики	227
Мышление и речь: теснейшая связь вопреки реальности	228
Внутренняя речь: вербальность мышления	232
Внутренняя речь: невозможность мышления без речи	237
«Человек высказывает мысли»: неверная точка отсчета	239
Доверие логическому суждению	241
Смысл предложения: логика или коммуникативная игра?	243
Нереализованная возможность	245
ВИТГЕНШТЕЙН О ВСЕОБЩЕМ ЗНАНИИ	247
Источник всеобщего понимания	247
Лингвистическая интерпретация всеобщего понимания: парадокс Витгенштейна у Крипке	248
Нелингвистическая интерпретация всеобщего понимания: преодоление вербальности	253
Несомненное знание	254
«Источник знания — реальность, а не ее субъектное осознание»	259
Субъектное понимание знания	261
Мыслимая типология коммуникации	262
Обыденный язык ничуть не менее «язык», чем все прочие	263

2.5. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ: ОППОЗИЦИЯ ДВУХ ОЧЕВИДНОСТЕЙ	264
2.6. «Язык» в сознании говорящего	268
Еще раз о Хомском: язык в подсознании	268
Возвращение к сознательному действию	270
Перестановка акцентов	271
Соперничество словесного инструмента и свободы говорящего	272
Вербальная предметность в описательной схеме	275
Теория сочетаемости предметных элементов: опора правильного «языка»	275
Фонетические сочетания: осмысленные единицы «языка» из фонетических законов не выводимы	277
Синтаксические сочетания: актуальные высказывания из синтаксической комбинаторики не выводимы	278
Возрастающее недоверие к языковой предметности: процессы сознания не словесны	279
Дж. Лакофф и теория прототипов	281
Свойства мышления	281
Категории слиты со словами	283
Базовые значения словесных категорий	284
Организация категорий (категорий-слов): система языка	285
Детерминирование сознания базовыми категориями: материальность и воплощенность	286
Неправильная постановка вопроса	289
Категории организуют «язык»	290
Апория возникновения точных значений из размытых: протипическая каузация	291
Единства (различия) не существуют, а назначены	292
Статика в рассмотрении речевого и мыслительного процессов	294
«Языком высказываются мысли»	295
Словесные структуры — не мысли, а действия	296
Изолированное слово: никакого значения вне коммуникативного действия	296
Первое возражение: «Скажи «Здесь холодно», имея в виду «Здесь тепло»	298
Второе возражение: «почти единообразные» ассоциации	301
«Вперед, от предметной почвы языка!»	301

2.7. «Язык» в тексте	303
Значение высказывания и значение слова:	
отличительный признак — действие	303
Отказ от предметного определения предложения	305
Единство коммуникативных действий:	
момент мыслимой ситуации	306
Линейность предметных слов: мыслимое действие	
нелинейно	308
Временность предметных слов: мыслимое действие	
нелинейно	309
Снятие различий предложения и текста	310
Возникновение лингвистики текста	310
Лонгакр: нужна вертикальная	
революция в лингвистике	310
Новизна лингвистики текста: расширение	
словесного контекста	311
Вайнрих: в границах вербального текста	312
Коммуникативный контекст: не словесный текст,	
а мыслимая ситуация действия	314
Борьба с предметным пониманием лингвистического	
материала	315
От словесного текста к мыслимой коммуникативной	
ситуации (дискурсу)	316
Синтаксис коммуникативной ситуации:	
не валентности слов, а мыслимое действие	318
Значение слова: представление о действии	
в коммуникативном пространстве	319
2.8. «Язык» в употреблении	321
Единственная форма лингвистического материала	321
Неудобство узуса	322
Устная речь вне «языка»	323
Письменная речь вне «языка»	323
Необходимые элементы	
коммуникативного процесса («не-язык»)	325
Узус vs язык в языкознании нового времени	326
Дж. Остин: защита логики	328
Перформативы: отсутствие логического содержания	328
Перформативы: совершение действия	329
Перформативы: обстоятельства совершения действия ...	330
Недостающие теоретические звенья	331
Изыскание точки равновесия	
между перформативами и констативами	331

Главный вопрос Остина	332
Сомнения и метания	332
Результаты поиска	344
Причина нерешительности: словом не выражается мысль?	344
Весь лингвистический материал за пределами логики?	346
Мысль и вербальный материал не идентичны: мысль — планирование действия, слово — действие	346
Аристотель: изгнание перформативов из грамматики	347
Остин: возвращение перформативов в науку о «языке»	348
Противоречивость: логика суждений <i>vs</i> перформативность любых языковых фактов	350
Попытки спасения логики: два аргумента	351
Первый аргумент: соответствие реальности	351
Объекты и их связи назначаются сознанием	353
Все речевые факты перформативны	354
Суждение — тоже действие	355
Второй аргумент: многослойность актуальной речевой структуры	357
Задача: ассоциировать локуцию с констативами, иллокуцию — с перформативами	359
Локуция на основе оппозиции «язык—речь»	361
Дозирование коммуникативного содержания	366
Признание самоидентичности вербальной формы	368
Сохранение констативов	371
Преодоление двусмысленности	371
Позиция Остина обусловлена «языком»	372
2.9. НЕВОЗМОЖНОСТЬ «САМОЗНАЧНОГО» ЯЗЫКА	376
Нетожественность вербального материала: «язык в сознании»	376
Нетожественность вербального материала: «язык в тексте»	377
Нетожественность вербального материала: «язык в употреблении»	378
Вербальные модели вместо «языка»	379
Внесубъектная бессмысленность «языка»	379
ПАРАДОКС ЛЖЕЦА	381
«Парадокс бессмысленного языка» через парадокс лжеца	381
Выход за пределы логики	382
Самозначность языка в основании парадокса	383

Невозможность автономных слов и фактов	383
Разрешить парадокс — спросить Эпименида	384
Действие вместо констатации истин	385
Конструкция парадокса: сведение вербального факта к логическому	385
Некорректность процедуры: жесткой связи между словом и значением вне говорящего нет	386
Парадокс лжеца как коммуникативное действие	387
Не законы языка, а цели говорящего	387
Главный лжец	389
ТЕОРЕМА ПАТНЭМА	390
Формулировка	390
Смысл теоремы	392
Недоумение	392
Нужен ли такой язык?	393
Критика метафизического реализма («экстернализма») ..	394
Внутренний реализм («интернализм»)	397
Критика магической референции	400
Концепты	402
Каузальное взаимодействие	402
«Мозг в сосуде»	403
Объекты выделяются благодаря сознанию	404
Возвращение к теореме	407
Пушее недоумение	408
Аберрация: «язык» в системе представлений	409
Отсутствие одно-однозначного соответствия множеств	410
Невозможность логического представления лингвистического факта	411
Множественная референция невозможна в коммуникативном процессе	416
Неопределенность референции Куайна	418
Невозможность «языка» как формального объекта	420
Отсутствие концепции свободного действия	425
«Сколемизация всего»	426
Апория: нефиксированность референции <i>vs</i> успешность коммуникации	432
Отказ от когнитивного процесса в пользу правильного «языка-действия»	433
Коммуникативный процесс <i>vs</i> логический объект	434
Математический язык: угроза сколемизации	436
Поиск субъекта в математическом языке	436
Математический язык: назначенность объектов	439

Отрицание рациональности	440
Сколемизация грозит любому «языку»: необходимость коммуникативной модели математического «языка»	440
Итак, теорема Патнэма	441
ПРОСТЫЕ ОСНОВАНИЯ. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	442
Модель «знак—значение»	445
Предметный критерий лингвистического материала	446
Антиментализм грамматики	446
Самозначное слово в основании модели	447
Логический (неадекватный) инструментарий	448
Словами не выражаются мысли, а производятся действия	449
Аутентичные свойства коммуникативного процесса не схватываются «языком»	450
Понимаются не слова, а действия коммуниканта	451
Набор вербальных моделей вместо «языка»	452
Неопределенные границы системы «языка»	453
Замена грамматики коммуникативной типологией	454
Мнемотехническая ценность предметной системы «языка»	455
ПРИЛОЖЕНИЕ	
1. Идеи Платона и типология ДЕКТИЧЕСКИХ СИНТАГМ	458
2. FROM RELATIVE WORDS TO UNIVERSAL ACTS: THE LIMIT IN STUDYING «LANGUAGE»	476
БИБЛИОГРАФИЯ	479
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	484
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ	508

ВВЕДЕНИЕ

Проблему, обсуждаемую в книге, можно обозначить как несоответствие принципов описания лингвистического материала самому материалу. Если существующий набор методов традиционно уподобить инструменту извлечения концептуального знания, или способу организации разрозненных хаотических фактов в непротиворечивую картину, то реальный языковой материал с его очевидными аутентичными свойствами оказывается превосходящим возможности изначально накладываемой на него концептуальной схемы.

Наиболее абстрактные правила описания и исследования, традиционно соблюдаемые при рассмотрении лингвистических фактов, формировались в европейской традиции как определенная философия языка, или *модель лингвистического описания*, которую в том или ином виде исповедует исследователь (интерпретатор) в любой специализированной области и которая неактуальна только в случае спонтанного говорения на родном языке. Теоретические позиции, заложенные в основании модели, вступают в конфликт с аутентичными свойствами того, *что* в действительности происходит в процессе производства и понимания речи.

Базовые принципы модели, о которой идет речь, выступающие по преимуществу как априорные данности, могут быть обобщены. Это мыслимые во взаимосвязи: 1) предметность в понимании феноменов «языка», 2) логико-математический подход к анализу феноменов «языка», 3) системность предметного элемента «языка».

При интерпретации лингвистических фактов фундаментальные заблуждения, «забитые» в существующую теоретическую сетку, в обобщенном виде проявляют себя следующим образом. *Предметность* понимания материала следует из первой очевидности: речевой процесс представляется интерпретатору в виде написанных и произносимых «слов». Из очевидного предмета следует естественная ориентированность процедуры описания на вербальность, словесность. Здесь *логико-математический подход* к описанию очевидных «слов» заставляет именно в них находить монаду элементарного смысла, единицу измерения общей словесной суммы, квант языкового процесса. Поскольку словесные структуры содержат воспринимаемый смысл и, более того, понимаются языковым сообществом, то, с точки зрения предметной модели, данный констатируемый набор единиц не может не представлять собой всеобщую *систему единиц*, или «язык».

Между тем реальный процесс генерирования и восприятия текстов прямо указывает на то, *что* находится за пределами вербальной предметности, вербальной системности и существующего «точного» метода их описания. Вне слов существует говорящий, осмысляемая им ситуация и только затем — вербальное действие. Смыслообразование локализуется не в слове, а в сознании. Традиционного материала лингвистики — «вербального» элемента — оказывается недостаточно для адекватного моделирования

реального процесса речи: выделяемые «единицы» не имеют искомого значения сами по себе и вообще не являются элементарными сущностями, обнаруживая полную невозможность быть вписанными в непротиворечивую картину логико-математическими методами. Преодоление недостаточных базовых позиций лингвистического моделирования, ведущих свое происхождение от античной модели описания, или «философии языка», составляет, на наш взгляд, содержание магистрального направления современной лингвистической теории, обнаруживая в том или ином виде обсуждаемую проблему несоответствия.

История взглядов на «язык», или история модели описания «языка», рассматриваемая в работе, может быть представлена как последовательная смена определенных интеллектуальных тенденций, в основании которых положены очевидные мыслимые «подлежащие» исследователей. В настоящий момент можно говорить всего о двух глобальных тенденциях — *объектной*, ориентированной на материал, признающей за материалом автономию смыслообразования и организации, и *субъектной*, ориентированной на говорящего (пишущего), открывающей новые перспективы теоретизирования того, что может быть названо процессом смыслообразования и организации вербального материала. Первая обширно представлена в имеющихся опытах лингвистического описания, вторая на сегодняшний день только намечена в русле коммуникативных, когнитивных, функциональных и дискурсивных исследований. Переход от первой ко второй обусловлен изменением понятия о «несомненном» материале лингвистических исследований. В этом движении одну очевидность сменяет другая, обещающая создание более всеобъемлющей, менее противоречивой описательной модели.

Опираясь на засвидетельствованные опыты описания феноменов «языка», а также в некоторых случаях — на спонтанные лингвистические практики (перевод, создание словарей и др.), пространство от начала осознанной истории до первой трети — середины 20-го столетия можно определить как время исключительного господства объектной модели. Ее логическим завершением и одновременно исчерпанностью следует, по-видимому, считать структурализм, принявший крайние формы в лице представителей копенгагенской школы и американского дескриптивизма. Реакция на структурализм, не замедлившая проявиться в Европе и Америке, обозначает границу, за которой позиции объектной парадигмы начинают постепенно терять прежнюю основательность и единство, оставаясь, тем не менее, в силе благодаря прежним мыслимым «подлежащим» (прежде всего понятию о «языке» как объективной системе). Так, в существующих концепциях по-прежнему «работают» (в редуцированном виде или часто вовсе не осознаваемые) традиционные метафоры — инструментальная и биологическая. По-видимому, задача теории состоит в том, чтобы «вывести их из подсознания» и построить теоретическую схему, которая не разрушалась бы внутренним неосознанным конфликтом. Если в описании процесса говорения оставить самого говорящего (а его уже невозможно теоретически не замечать), то придется, по-видимому, строить схему без «подлежащего» «язык» в его традиционном понимании.

Предлагаемая ретроспектива не является сводом сведений по истории лингвистических учений, а, скорее, имеет характер критического эссе и диалога.

ГЛАВА 1.

ОБЪЕКТНАЯ («СЛОВОИЗОЛИРУЮЩАЯ») ПАРАДИГМА. ПЕРВАЯ ОЧЕВИДНОСТЬ

1.1. Платон и Панини: ПРИНЦИП ПРЕДМЕТНОСТИ

Предметность понимания «языка» и сопутствующий этому логико-математический подход к анализу его феноменов, оборачивающийся затем настойчивым конструированием системы и структуры на разных уровнях языковой предметности, возникают сами собой как неосознанный результат созерцания первой очевидности — словесного материала, присутствующего в устном и письменном языковом процессе.

Платон: слово и звук в основании теории

В античной традиции слово и звук в первую очередь оказались замеченными философствующим языкознанием в качестве своего главного материала. В платоновском «Кратиле» — не первом, но вполне характерном примере спонтанного лингвистического теоретизирования — отчетливо просматриваются стадии, по которым размышление достигает твердого основания, т. е. *слова* как основного объекта рефлексии, и затем уже *звука*:

«Сократ. ...Случается ли тебе о чем-нибудь говорить: это истинно сказано, а это ложно?»

Гермоген. Мне — да.

Сократ. А посему одна речь может быть истинная, а другая ложная?

Гермоген. Разумеется.

Сократ. В таком случае тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть, говорит истину, тот же, кто говорит о них иначе, лжет?

Гермоген. Да.

Сократ. Получается, можно вести речь и о том, что есть, и о том, чего нет?

Гермоген. Верно.

Сократ. А истинная речь истинна целиком или при этом *части* ее могут быть неистинными?

Гермоген. Нет, и *части* тоже будут истинными.

Сократ. А как? Большие части будут истинными, а малые — нет? Или все будут истинными?

Гермоген. Все. Я по крайней мере так думаю.

Сократ. Так вот: то, что ты называешь малой частью нашей речи, отличается от имени?

Гермоген. Нет. *Имя и есть наименьшая часть» (Кратил, 385bc)¹.*

Замечательно, что в последовательности приводимых аргументов положение о том, что *речь состоит из частей*, относится к области необсуждаемого, общепризнанного. Остается только указать на то, что этой частью и является имя. Соответственно, если оставить в стороне риторическое нарушение казуистики части и целого — а именно на этом выстроен окказиональный софизм убеждающего Сократа, имеющего предметом рассуждения не имя как

¹ Цит. по изданию: Платон. Собрание сочинений. В 4-х т. Пер. Т.В. Васильевой. М., 1990. Т. 1. С. 614–615.

такое, а *правильность* имен, — оказывается вполне естественным, как считает Платон, признавать, что *речь* (истинная или ложная) *состоит из имен* (истинных или ложных) *как минимальных ее частей*.

Далее, следуя за видимым предметным элементом речи, которая предстает теперь в виде набора имен (а имя мыслится как возможное подражание сущности, причем в разряд имен попадают не только существительные, но и другие знаменательные «части речи»), лингвистическая рефлексия неизбежно приходит к звуку как минимальной части имени:

«Сократ. Однако какой бы нам найти способ различения того, где именно начинает подражать подражающий? Коль скоро это будет подражанием сущему посредством слогов и букв, то не правильнее ли всего начать с различения *простейших частиц*?» (Кратил, 424b).

Здесь суждение о том, что имена состоят из «букв» (т. е. звуков) и слогов, также обладает полнейшей очевидностью, не обсуждается, как и в случае признания деления речи на части. Так на вполне предметном очевидном основании — материальном и прочном — без усилий, почти сам собой закладывается первый камень лингвистической теории: *речь состоит из имен (слов), а имена (слова) состоят из звуков*.

Панини: звук в основании теории

Похожее отношение к звуку и слову можно наблюдать и в «Восьмикнижии» Панини. Этот труд, как известно, имел исключительно практическую цель. Он построен таким образом, чтобы, отправляясь от смысла, выбрав соответствующие лексические морфемы (корень глагола или

первичную основу имени) и диктуемую характером глагола или коммуникативной задачей конструкцию, проделав все предписываемые операции, получить на «выходе» фонетически правильное предложение². Соответственно, задачи теоретического описания лингвистического феномена автором вовсе не ставились. Скорее, можно говорить, что его целью было структурирование и кодификация предметного элемента конкретного языка, ответ не на вопрос «что *это*?», а на вопрос «из чего *это* создано?». Другими словами, проблема онтологии языка и, соответственно, его феноменов всецело оставлена Панини за скобками, при том что внутри скобок безраздельно господствует объективность, или своего рода структурализм, доведенный до своего логического финала — лингвистическая работа производится почти исключительно над тем, что наличествует в качестве осязаемой данности, т. е. над предметным элементом языка в виде звуков и состоящих из них морфем. В этой ситуации вопрос о том, *что* автор грамматики понимает под лингвистическим феноменом, по-видимому, несколько искусственен: если звуки очевидным образом присутствуют в языковом процессе, то в них можно видеть объект наблюдения, изучения и систематизации; ничего другого автор как будто и не имел в виду. Однако, несмотря на очевидный предметный вектор, автор грамматики обнаруживает непосредственную причастность к рассуждениям о *смысле*, тем самым демонстрируя, что на самом деле язык мыслится им как *нечто выражающее и значащее*, а не как исключительно физический и физиологический феномен. Иными словами, описываемый

² Катенина Т.Е., Рудой В.И. Лингвистические знания в Древней Индии // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980. С. 75.

Панини язык — это не только фонетика. Что же еще, кроме нее? Ответ на этот вопрос, по-видимому, проясняет интересующую нас имплицитную очевидность автора: что составляет для него лингвистический материал и в чем его существо?

Причастность области смысла («не только фонетика») следует из того, что звуки, представленные в основополагающей Шивасутре, взаимодействуя, образуют в конце концов актуальные слова, их сочетания не бессмысленны; слова, в свою очередь, образуют актуальные предложения, а не бессмысленные сочетания слов. Список корней, лежащий в основании лексемного состава упорядочиваемого Панини языка, выделяется из *осмысленных* лексических единиц. Глагольная основа — одно из центральных понятий морфологии Панини — выделяется как «то, что *имеет смысл*, но не есть ни корень, ни постфикс» (сутра 1.2.45)³.

Таким образом, сама последовательность устанавливаемой причинности: от звуков к осмысленным единицам вплоть до предложения — говорит о многом, а именно об объектном взгляде на феномен «языка». Именно звуки, перечисляемые в Шивасутре, восходят непосредственно к божеству, являются богоданными. От них начинается отсчет всей упорядоченной лингвистической структуры. Нужно заметить, что нирукта — практика этимологий в индийской традиции, предшествующая, современная и последующая Панини, в которой звуковое тождество является руководящим принципом установления связей между лексемами и, соответственно, референционными смыслами, — вполне согласуется с обозначенным

³ *Парибок А.В.* О методологических основаниях индийской лингвистики // История лингвистических учений. Л., 1981. С. 167.

у Панини восхождением от звуков к осмысленным словам и предложениям. Другими словами, само изложение принципа порождения *осмысленной грамматической структуры предложения* — «схемы поморфного построения предложения» — становится возможным только в случае первоначального выделения и констатации исходных участников «трансформаций»: звуков, морфем (в т. ч. и прежде всего корней), основ и слов. Само направление причинности: от мельчайших, неделимых, элементов к сложным — является условием правильной реализации любой из начальных фонетических сутр.

Таким образом, за любой из сутр, которые определяют все шаги порождения от единого «богоданного» звука, стоит уже сформировавшийся взгляд на *осмысленный язык* как на *звуки и слова* прежде всего, с которых и начинается процесс порождения более масштабных структур. Именно это — звуки и слова — можно предъявить как искомые мыслимые подлежащие, которые на теоретическом горизонте индийской лингвистической традиции возникают, по-видимому, столь же естественным и наивным образом, как и в античной эллинской. Столь же естественной мыслится и сама сопряженность слов («знаков») со смыслом — настолько, что эта тема не требует у Панини специального обсуждения. Действительно, если оставить за скобками лингвистического рассуждения весь план содержания, то *что*, казалось бы, может быть очевиднее констатации, что в процессе речи производятся звуки, из которых состоят слова, из которых, в свою очередь, состоят предложения?

В таких условиях, т. е. при констатации первой очевидности языкового процесса — его предметных элементов, — систематизация лингвистического материала, следуя за устанавливаемой в нем иерархией по признаку

(не)способности к дальнейшему расщеплению, мыслится Панини как восхождение от меньшего (звука) к большему (предложению); *мельчайшими единицами речи выступают звуки, а затем — слова* (морфемные комплексы, ставшие «знаками», отсылающие к чему-то помимо себя самих). На последнем этапе воспроизводимый в «Восьмикнижии» процесс порождения предполагает, что слова составляют своими смыслами общий смысл предложения.

АПОРИЯ БЕССМЫСЛЕННОСТИ

На этой звуко-словесной стадии лингвистической рефлексии сама собой возникает одна теоретическая апория, обнажающая противоречие как эллинской, так и древнеиндийской мысли в сфере необсуждаемых априорных подлежащих — тех, которые, не привлекая внимания исследователя, сами собой легли в основание парадигмы, описывающей лингвистический феномен. Если минимальными единицами речи признаются звуки, и они получают освещение по артикуляционным или физическим свойствам, то как в таком случае возможен переход от звуков к словам, которые уже, в свою очередь, обладают очевидным (для Платона и Панини) референционным смыслом? Другими словами, если рефлексия над спонтанно выделенным объектом, двигаясь по пути аналитизма, углубляется в физическую и физиологическую стороны речи настолько, что обнаруживает последние ее атомы (уже далее нерасчленимые звуки), то, попросту говоря, как выбраться из наступившей в этот момент бессмысленности? В каком направлении двигаться, чтобы, не отказываясь от результатов проведенного атомизирующего анализа, снова приобщиться к области значения и смысла, присущих любому «языку»?

ПЛАТОН: ПОСТАВИТЬ СМЫСЛ НА ТВЕРДУЮ ПОЧВУ, ВПРОЧЕМ...

Как известно, в этой ситуации Платон довел до конца логику своего рассуждения о делимости речи на элементы и предложил — в шутку или всерьез, скорее всерьез — остаться на почве звуков и слогов, приписав им смыслообразующие функции, по крайней мере, при создании первых имен, от которых затем происходят и все остальные, правильные и неправильные. При этом возможная шаткость такой позиции не осталась незамеченной для самого автора:

«Сократ. Смешным, я думаю, должно казаться, Гермоген, что из подражания посредством букв и слогов вещи станут для нас совершенно ясными. Однако это неизбежно, ибо у нас нет ничего лучшего, к чему мы могли бы прибегнуть для уяснения правильности первых имен...» (*Кратил*, 425d).

Так, греческое «ро» становится средством выражения всякого движения, «йота» — всего тонкого, способного проходить через вещи, «лямбда» — скользящего и клейкого, и т. д. Из первых имен, возникающих с участием таких «семантических компонентов», путем причудливых трансформаций (скорее, даже деформаций) возникают затем прочие имена.

Ясно, что результат предпринятого наделения звуков смыслами, исход этой попытки спасти и оправдать достигнутый атомизм в предметном элементе языка, представляется современному наблюдателю именно таким, каким мог показаться и самому участнику диалога Гермогену (что и предвидел Платон, делающий устами Сократа приведенную ремарку о возможной смехотворности). Даже при всей неопределенности позиции Платона в отношении

конвенциональности или природности означающего имени и звука, можно с уверенностью утверждать, что носителем смысла являются, с его точки зрения, именно те самые звуки и имена, на которые он расчленил речь, не сомневаясь в правомерности самой процедуры разбиения. По договору или по природе, начинают процесс смыслообразования в языке именно они. Даже в известном месте из 7-го письма, отрицая обусловленность смысла звуковой формой имени, Платон, тем не менее, не сомневается в смысловой неизбежности предметного элемента речи:

«Ничто не имеет прочного имени, и ничто не мешает, чтобы то, что ныне называется круглым, было названо прямым, и прямое — круглым; и у тех, кто произвел эту перестановку и называет навыворот, имена отнюдь не будут менее прочными».

ПАНИНИ: СЕМАНТИЧЕСКАЯ НЕМОТА БОЖЕСТВЕННЫХ ЗВУКОВ

Панини, как известно, в отношении отдельных звуков избирает несколько иное решение. Представляя их мельчайшими элементами того осмысленного языка, который упорядочивается и систематизируется в его труде, он, тем не менее, с полной определенностью (в отличие от Платона) отказывает им в смысле и значении того же уровня, каким обладает корень, основа, слово и предложение. Никакой «гладкости» или «проходимости» в звуках (или «фонемах») Шивасутры подозревать невозможно. Дойдя до далее неделимых звуков и признав за ними первопричинность («божественность») в процессе порождения «языка», автор «Восьмикнижия», в отличие от Платона, оказывается вне логики, обозначенной собственным исследованием. Сама констатация «атомов» лингвистического материала, т.е. звуков, или фонем, не вполне

последовательно оборачивается у Панини тупиком естественного аналитического метода: найденные мельчайшие единицы речи не обладают для него смыслом, хотя именно они образуют затем осмысленные слова и предложения. Откуда в таком случае возникает смысл и значение, если осмысленное *состоит* из бессмысленного? На этот вопрос Панини не отвечает, оставляя переход от бессмысленного к осмысленному без разъяснения. Что же, в таком случае, найдено в результате атомизации лингвистического материала, если первым же шагом на пути дальнейшего теоретизирования становится отказ от найденного как от бессмысленного?

Нужно признать, что именно в этой нелогичности («звуки не имеют смыслов») и состоит главное теоретическое отличие лингвистического взгляда Панини от логичности лингвистического взгляда Платона («звуки могут обладать смыслами»), если, конечно, признать серьезность платоновской точки зрения, в чем есть причины усомниться. Одновременно именно в этой нелогичности обнаруживается более адекватное понимание (или только предчувствие более адекватного понимания) лингвистического феномена, что прямо или косвенно обеспечило Панини многим позднее славу первого генеративиста⁴. Однако в целом обе позиции одинаково объектны, предметно ориентированы: язык состоит из звуков и слов, образующих в конце концов осмысленную лингвистическую структуру. В общем воззрении на природу языкового процесса эллинский и древнеиндийский подходы принципиально не отличались между собой: Платон, констатируя возникновение правильного имени из звуков,

⁴ Алтаев В.М. История лингвистических учений. М., 2001. С. 323.

а речи — из имен, был в той же мере «генеративистом», что и Панини, который, не останавливаясь на философских вопросах, воспроизвел идентичную схему построения языкового феномена.

1.2. АРИСТОТЕЛЬ: ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ЗВУКОВ, СОГЛАШЕНИЕ ГОВОРЯЩИХ

Аристотель в трактовке естественного языка оказался во многом определеннее и основательнее своего учителя. Так, звуки со всей однозначностью не обладают для него никакими самостоятельными смыслами, а значения имен с той же однозначностью существуют конвенционально, по договору, а не от природы:

«[Имена] имеют значение в силу соглашения, ведь от природы нет никакого имени. А [возникает имя], когда становится знаком» (*Об истолковании*, 16a)⁵.

Кроме того, Аристотелем сделан не получивший дальнейшего лингвистического развития шаг в сторону осознания синтаксической природы «языка»:

«Имена же сами по себе и глаголы подобны мысли без соединения или разъединения, например, «человек» или «белое»; пока ничего не прибавляется, такое слово не ложно и не истинно, хотя и обозначает нечто; ведь слово *τραγέλαφο* («козел-олень») тоже обозначает нечто, но оно до тех пор не истинно или ложно,

⁵ Здесь и далее цит. по изданию: *Аристотель. Сочинения. В 4-х т.* / Ред. В.Ф. Асмус. М., 1978. / Перевод Э.Л. Радлова (1891), переработанный.

пока не присоединено к нему существование или несуществование, притом безусловное или временное» (*Об истолковании*, 16a).

Кроме того, разложение слова на части, которые сами по себе были бы наделены значением (этому посвящена большая часть диалога Платона «Кратил»), отвергается Аристотелем прямо и без оговорок:

«Имя есть звук, наделенный значением в соответствии с соглашением... никакая отдельная часть которого [звука] не наделена значением» (*Об истолковании*, 16a);

«Глагол есть [слово], которое обозначает еще и время, никакая часть которого [слова] в отдельности не наделена значением» (*Об истолковании*, 16b).

ИЗГНАНИЕ ГОВОРЯЩЕГО ИЗ ГРАММАТИКИ В «ДРУГУЮ» НАУКУ

Однако приведенные положения не избавили Аристотеля от неувязок и недоговорок, свойственных взгляду на язык как на предметный инструмент передачи мысли.

Так, с одной стороны, в схеме описания языкового феномена он не обходится без субъекта естественного речевого процесса — говорящего:

«Слова, выраженные звуками, суть символы представлений в душе, а письмена — символы слов. Подобно тому, как письмена не одни и те же у всех людей, так и слова не одни и те же. Но представления, находящиеся в душе, которых непосредственные знаки суть слова, у всех одни и те же, точно так же и предметы, отражением которых являются представления, одни и те же».

Однако, с другой стороны, тотчас замечает:

«Но об этом [о «представлениях в душе», т. е. о субъектности речи и вообще о всей субъектной проблематике

речевого процесса. — *А.В.*] говорено в сочинении о душе (*De anima*, 406a), ибо это относится к другой науке» (*Об истолковании*, 16a).

(Далее речь идет уже об именах и глаголах, т. е. о предметном элементе «языка», составляющем, по мнению Стагирита, собственно объект исследования процесса «истолкования», т. е. понимания письменной и устной речи). Как видно, «другой наукой» является такая, которая не занимается словами и предложениями в их предметной представленности. Иначе говоря, представления в душе не входят в область грамматики и «истолкования», хотя именно они субъектны, относятся к тому самому введенному им говорящему. К области грамматики относятся только конкретные слова и звуки: по мнению Аристотеля,

«грамматика... исследует все звуки речи» (*Метафизика IV*, 2), —

притом что «звуком речи» он называет не только звук речи в современном лингвистическом смысле этого слова, но также слова различных разрядов и даже предложение. Так из анализа языкового процесса («речи») Аристотелем вполне нелогично изгоняется им же постулированная субъектность, которая явно препятствует, с его точки зрения, по-длинно научному исследованию и созданию строгой описательной схемы в сфере предметного материала.

Речь составлена из частей

Описание естественного языка (или речи) представляется Аристотелю, вслед за Платоном, возможным как установление связей между главными объектами языкового исследования — «частями речи», на которые речь делится и из которых состоит. Именно в этом направлении

движется мысль философа, когда он выделяет в 20-й главе *Поэтики* (1093) список этих «частей»:

«Во всяком словесном изложении есть следующие части: элемент, слог, союз, имя, глагол, член, падеж [т. е. морфологические изменяемые части слов, или флексии], предложение», —

и дает определение каждому из них, исходя из единства его предметного облика. Так, элемент — первая по счету часть речи — определяется как

«неделимый звук, но не всякий, а такой, из которого может возникнуть разумное слово (*Поэтика*, 1094; ср. звуки в Шивасутре Панини)».

Именно звукам уделяет Аристотель огромное внимание в своих лингвистических рассуждениях. Имя, в свою очередь, определяется как

«составной, имеющий самостоятельное значение, без оттенка времени звук, часть которого не имеет никакого самостоятельного значения сама по себе» (*Поэтика*, 1095), —

глагол — как

«составной, имеющий самостоятельное значение, с оттенком времени звук, в котором отдельные части не имеют самостоятельного значения сами по себе, как и в именах» (*Поэтика*, 1095).

Именно эти отдельные части, рассматриваемые сами по себе, образуют целое:

«Предложение — составной звук, имеющий самостоятельное значение, отдельные части которого также имеют самостоятельное значение» (*Поэтика*, 1095).

Они, по-видимому, сочетаются друг с другом, соответствуют друг другу, управляют друг другом и т. д.:

«Необходимо, чтобы всякое суждение заключало в себе глагол или падеж глагола, ибо выражение «человек» не есть суждение до тех пор, пока не присоединено «есть» или «был», или «будет», или нечто подобное» (*Об истолковании*, V, 2).

В том же трактате (X, 13) Аристотель похожим образом рассуждает о том, что если поменять местами *onoma* и *rhema*, то на смысле высказывания это не отражается; свою мысль он иллюстрирует примером, в котором местами меняются подлежащее, выраженное существительным, и сказуемое, выраженное прилагательным: ἐστὶ λευκὸς ἄνθρωπος — посл. «есть белый человек», ἐστὶν ἄνθρωπος λευκός «есть человек белый». Именно такой предметный подход в своей основательности и определенности придает языку характер механизма, структуры, четкой организации, сложного инструмента, в котором каждая «часть» имеет свою функцию и вместе с другими образует целое, — т. е. отвечает по своим параметрам статусу объекта строгого научного исследования.

Атомарный подход: многоликость изолированных единиц

Свою приверженность объективному пониманию языкового материала Аристотель подтверждает пространными рассуждениями о многозначности слов. Именно многозначность слов является главной опасностью, таящейся в языке. Ею могут воспользоваться в своих целях недобросовестные и бесчестные люди, софисты (ненавистные Аристотелю, так же как и Платону), которые стремятся не к тому, чтобы обнаружить истину, а только к тому, чтобы победить противника в словесном споре. Так, если для Платона неудовлетворительность языка проистекала из того, что связь между предметом и его наименованием

носит сложный, опосредованный, в большой мере условный характер, то Аристотель видит ее в том, что слова в своем громадном большинстве многозначны. Используя одно и то же слово, человек может сознательно или неосознанно подменить одно его значение другим:

«Поскольку при рассуждении невозможно приводить сами предметы и вместо предметов мы пользуемся словами в качестве символов, то мы полагаем, что относящееся к словам относится и к предметам, подобно тому как это происходит при счете с помощью камешков. Но это разные вещи. Ибо число слов ограничено, ограничено и множество речений, предметы же беспредельны по числу. Поэтому неизбежно одно и то же речение и одно и то же слово означают многое» (*О софистических опровержениях*, I, 5).

Заметим, что здесь, как и во многих случаях, тот самый субъект речи, «человек, пользующийся языком», неизбежно возникает в осознаваемом пространстве анализа, но этот «человек» пользуется *предметными словами*, на которых и строится Аристотелем объектная модель описания речемыслительного процесса, слова — это главное в нем, и это полнейшая очевидность. Иначе говоря, выбирая между «человеком» и предметным словом, Аристотель останавливается на втором, когда пытается найти объяснение того, что делает со словом мыслящий и употребляющий слова субъект речи.

Как видно, многозначность языкового материала, т. е. слов, подвергается аристотелевской рефлексии все в том же предметном смысле: «отдельное слово» vs «значение (значения)». Так, Аристотель разграничивает два типа словесной многозначности: 1) отдельные значения многозначного слова никак не связаны между собой (омонимия); 2) отдельные значения одного слова определенным

образом связаны между собой (полисемия в современном смысле).

Кроме того, по Аристотелю, трудности понимания могут возникать не только вследствие многозначности слов, но и благодаря другим предметным основаниям: когда, например, появляется возможность различного истолкования синтаксической роли слова в предложении, различного истолкования синтаксических связей между словами внутри предложения. Так, в приводимом Аристотелем обороте *accusativus cum infinitivo* (никакого специального наименования для этого оборота Аристотель, разумеется, не приводит) в одинаковой грамматической форме (в форме винительного падежа) выступает слово, обозначающее субъект действия, выраженного инфинитивом, и слово, обозначающее объект этого же действия. Если взять такой оборот вне «контекста», то может возникнуть неясность относительно того, какое из слов в винительном падеже выступает в роли субъекта действия, а какое — в роли объекта. Так, например, высказывание βούλεσθαι λαβεῖν με τοὺς πολεμίους, букв.: «хотеть захватить меня врагов» может быть понято как «хотеть, чтобы я захватил врагов» и как «хотеть, чтобы враги захватили меня» (*О софистических опровержениях*, IV, 4). Заметим, что лингвистическая структура рассматривается Аристотелем как предметный набор единиц, имеющих свои значения, а не как актуальная, понятная в коммуникативном контексте, единица.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛОГИКИ И ГРАММАТИКИ

На этом объектном основании, изгнав говорящего, т. е. разрубив узлы противоречий путем отнесения не вписываемого в теоретическую схему материала к области компетенции других наук, «не-грамматики», и опираясь

на очевидные предметные элементы речемыслительного процесса, Аристотель, как уже ясно из некоторых приведенных примеров, полагает начало соединения лингвистической и логической проблематики — того мыслимого единства, которое сохраняет свою жизненность и поныне в русле предметной парадигмы описания «языка». Первый и главный элемент этого мыслимого единства — *ассоциирование слова с мыслью*, и второй — выдвигание на передний план *суждения* как характерного образца, исчерпывающего своими свойствами все феномены естественного «языка».

Тожество слова и мысли

Тенденция объединять слово и мысль была свойственна и Платону:

«... мнение (*δόξα*) — это словесное выражение (*λόγος* *εἰρημένος*), но без участия голоса и обращенное не к кому-то другому, а к самому себе, молча» (*Тезет* 190a);

«... мнение (*δόξα*), как в зеркале или в воде, отражается в потоке, изливающимся из уст» (*Тезет* 206d);

«Итак, мысль (*διάνοια*) и речь (*λόγος*) одно и то же, за исключением лишь того, что происходящая внутри души беззвучная беседа ее с самой собой и называется у нас мышлением» (*Софист* 263e).

У Аристотеля эта идея приобретает более строгий вид, поскольку сам процесс мышления приобретает большую теоретическую разработанность, становится отдельной наукой, собственно логикой, или, по терминологии Аристотеля, «аналитикой». Однако отношение между мышлением и языком представляются тождеством (или почти тождеством) в обоих случаях. По-видимому, идея о единстве

мышления и языка (или о теснейшей их связи) возникает столь же естественно, как и признание того, что речь состоит из слов, каждое из которых само по себе что-то означает. Так, если признать, что мысль выражается словом, то естественно признавать и то, что слово и есть та самая мысль, только озвученная:

«Вопреки мнению некоторых нет различия между доказательствами, относящимися к слову, и доказательствами, относящимися к мысли. Нелепо полагать, что доказательства, относящиеся к слову, и доказательства, относящиеся к мысли, не одни и те же, а разные» (*О софистических опровержениях*, IV, 10).

Эта связь, с одной стороны, и сама наглядность лингвистического материала, преимущественная перед не облеченным в видимые формы мыслительным процессом, с другой, — делает возможным для Аристотеля использовать слова в качестве доказательств в рассуждениях о логике. Так, уже упомянутые наблюдения над языковой многозначностью, встречающиеся во многих сочинениях Аристотеля, не являются для него самоцелью, они используются им как средство избежания ошибок в научных рассуждениях. Это означает, что Аристотель встает перед фактом того, что слов оказывается недостаточно для правильного понимания, он видит, что за их единообразием стоит смысловое многообразие, за внешним тождеством стоит нетождественность — именно поэтому слова в строгих научных рассуждениях могут подвести. Однако такая констатация ведет его не к признанию однозначной оторванности «мысли» от «слова», а к рассуждению о том, что докучающее ему различие содержится в самих словах: он констатирует, что различные значения имеют сами *слова*. Иначе говоря, логическая (гносеологическая)

проблематика ставится в прямую связь с лингвистической, предметные языковые феномены, несмотря на очевидную нетождественность, все же указывают на логические (гносеологические) сущности. Соответственно, первые неизбежно являются «носителями» вторых, вторые исследуются по первым. Так, поскольку мысль неизбежно облекается в словесную форму, то для того, чтобы мыслить правильно, нужно умело пользоваться средствами языка. Только в таком случае можно мыслить строго и дисциплинированно и в совершенстве пользоваться орудием научного мышления — логикой. В этом смысле правильное понимание языковых явлений служит для Аристотеля пропедевтикой к логике. Лингвистика и логика, таким образом, для Аристотеля, как и затем для его последователей, тесно переплетаются, взаимопроникают.

Тожество суждения и лингвистического материала

Признание прямой связи между мыслью и произносимыми словами создает следующую теоретическую ситуацию: логические структуры («мысль») состоят из слов, адекватно представлены словами, а слова, в свою очередь, с необходимостью имеют под собой логические структуры. У суждения есть подлежащее, которое обладает само по себе некоей сущностью, или «чтойностью»:

«Сократ правомерно искал существо [вещи], так как он стремился делать логические умозаключения, а началом для умозаключений является существо вещи» (*Метафизика* XIII, 4; 1078b)⁶.

Подлежащее, таким образом, обладая сущностью, по мнению Аристотеля, диктует правильное суждение.

⁶ *Аристотель*. Там же. Т. 1. М., 1976. С. 25.

В результате весь «язык» (представленный после Аристотеля суждениями) разворачивается из слова (т.е. из подлежащего, обладающего сущностью), поскольку слово, согласно Аристотелю, тождественно сущности называемой вещи, поскольку мысль, составленная из слов, и речь, составленная из тех же слов, тождественны.

Дальнейшее исследование феноменов языка становится возможным только как исследование *суждений*, имеющих субъектно-предикатное строение, поскольку «мысль» по преимуществу, и уж во всяком случае нигде, как в нем, выражается в суждении.

В таком подходе к лингвистическому материалу другие языковые явления: вопросы, императивы и прочие «да», «нет», «ах!», «вот еще!» — уже невозможно анализировать, используя аппарат, разработанный для суждений: так, Аристотель затрагивает вопрос о различных типах предложений в 13-й главе трактата «Об истолковании» и выделяет утверждение (*κατάφασις*) и отрицание (*ἀπόφασις*), делая, таким образом, предмет своего логического исследования только такие предложения, в которых заключается истинность или ложность чего-либо. В связи с этим еще ранее Аристотель замечает, что

«не всякое предложение есть суждение, а лишь то, в котором заключается истинность или ложность чего-либо; так, например, пожелание есть предложение, но не истинное или ложное».

Далее следует характерное замечание:

«Остальные виды предложений здесь выпущены, ибо исследование их более приличествует риторике или поэтике, только суждение относится к настоящему рассмотрению».

Как видно, сам Аристотель не настаивал на том, что *только* суждения присутствуют в естественном языке. Однако авторитет созданной им логики («аналитики») наложил неизгладимую печать на любое строго научное исследование и, прежде всего, — исследование языкового материала, который сам представлял логику и который представлялся через логику. Разработанный Аристотелем научный аппарат, описывающий «мысль», был ориентирован на суждение, «работал» только в отношении суждения. Именно поэтому серьезные лингвистические занятия после Аристотеля становятся возможными только в отношении суждения, которому на уровне «языка» соответствует повествовательное предложение и все, что к нему сводится. Последующее научное языкознание (стоики и др.) возникает, таким образом, из невозможности теоретизировать языковой материал иным, не объектным, аппаратом. Другими словами, невозможность иного пути после Аристотеля была обусловлена тем самым фактическим изгнанием субъекта, который с очевидностью производил не только суждения, но и задавал вопросы, приказывал и т. д., однако, будучи субъектом, не вписывался в созданную объектную схему. Отныне деятельность говорящего (пишущего) стала сводиться к произнесению слов, которые, с одной стороны, были общезначимы, обладали правильностью и самостоятельными сущностями, с другой — выстраивались в правильную логическую последовательность и непременно выражали законченную мысль. Так, предметные элементы речи, имеющие самостоятельные значения уже для Платона, обусловили логичную последовательность и возымили логическое аристотелевское продолжение: слова (смыслообразующие единицы речи, имеющие значение уже сами по себе)

сообща выражают мысль, мысль есть суждение, грамматика занимается словами, следовательно, она занимается мыслью, следовательно, она занимается суждением, состоящим из отдельных слов. Грамматика как наука о словах получила, таким образом, санкцию логики и причастность ее авторитету. На практике это означало то, что в каждом элементе речи — взятом как отдельно, так и в рамках целостности — подразумевались присущие ему актуальные или потенциальные логические смыслы и связи, которые исследователь должен установить и описать. Говорящий с его субъектными действиями и смыслами стал еще менее «вхож» в пословную и логическую языковую теорию.

1.3. Стоики: принцип системности

Логос — значит, система и связь элементов

Центральное значение в философии Стои приобретает именно Логос — одновременно «смысл», «слово», «связность», «речь», «предложение». Стоицизм как синтез философской теории и философской практики в своем основании имел убеждение, что достойная и счастливая жизнь в этом мире возможна для человека именно потому, что мир устроен разумно. Мир есть единое органическое целое, все части которого мудро согласованы между собой, соответственно, все существующее разумно, и даже если принцип связи непонятен, то его можно извлечь из явлений при правильном их истолковании.

Констатируя принцип разумности и связности, обожествляя его, а также полагая задачу философа (исследователя) в том, чтобы его, Логос, обнаружить и им руководствоваться, стоики фактически возвели принцип

системности (все-связности) в ранг необходимого условия научного познания. Для языкового материала это обернулось наиболее подробным поиском связей между очевидными объектами лингвистического исследования — звуками и словами, составляющими предложения (суждения), с использованием попутно развиваемого и совершенствуемого аристотелевского аппарата логики. Идею о всеобщей связи, т. е. о Логосе, присутствующем в каждом отдельно взятом и во всех совокупно элементах речи, следует, по-видимому, считать столь же естественной, как и признание того, что речь состоит из слов, а слова имеют значения, слагающие общий смысл языковой структуры.

Логос — значит, ПРЕДМЕТНОЕ СЛОВО

На месте аналитики Аристотеля, в русле которой Стагирит затрагивал вопросы языка, у стоиков появляется собственно логика — составная часть их общей доктрины, наряду с физикой и этикой. При этом всецело в духе Аристотеля и всей предшествующей античной науки логика, по мнению стоиков, изучает не только понятия, суждения, умозаключения, но и словесные способы их выражения. Другими словами, идея о тесной взаимосвязи речи и мысли, практическом их тождестве остается нерушимой и даже, по-видимому, становится еще определеннее и прочнее. Так, учение о собственно языковых явлениях, несмотря на значительные достижения в данной области, не только не было у стоиков самостоятельной научной дисциплиной, но даже не составляло специального раздела их логики, некоторые аспекты языка принадлежали компетенции одной отрасли логической науки, другие — другой, тесно вплетаясь в их гносеологическую доктрину и образуя основу их эклектичной (на современный взгляд) философии.

Как известно, современное понятие о логике как науке, скорее, не соответствует стоическому. Точнее, современная логика составляет лишь часть логики Стои. В этом выделении и сужении предмета по мере эволюционирования научного знания сказывается не только общая тенденция к партикуляризации античной цельнофилософской картины, но и постепенное, вероятно, неизбежное забвение всеобщности — принципа, проводимого в философии Стои со всей определенностью. Признание единства мышления и словесных способов его выражения было одним из проявлений целокупности античной науки и открывало перспективы исследования одного через другое, т. е. обретение собственно связующего всепроникающего Логоса (так, например, учение стоиков об этимологии позволяло им производить изыскания во всех областях знания, в т.ч. в физике и этике).

ГРАММАТИКА И РИТОРИКА

Стоическую логику представляли две ее главные части: диалектика (наука о правильном рассуждении, ἐπιστήμη τοῦ ὀρθῶ διαλέγεσθαι, *SVF*⁷ II, p. 18, fr. 48 = Diog. Laert. VII, 42) и риторика (наука об умении красиво говорить, ἐπιστήμη τοῦ εὖ διαλέγεσθαι, *ibid*). Обе части, собственно τὰ λογικά, предполагают единство материала, поскольку и в том, и в другом случае речь идет об использовании естественного языка: «умозакljučают» словами, красиво говорят тоже словами. Причина же разделения диалектики и риторики у стоиков, с одной стороны, унаследована как традиция античной школы, в которой грамматика —

⁷ *SVF* здесь и далее: Stoicorum veterum fragmenta. Coll. J. V. Arnim. Vol. I. Lipsiae, 1905; vol. II. Lipsiae, 1903; vol. III, Lipsiae, 1903; vol. IV. Lipsiae, 1924.

это наука об истолковании письменных текстов, а риторика — наука о способах произнесения устных речей; с другой стороны, это разделение продолжает академическую аристотелевскую традицию соединения грамматики с логикой и по мере того — разъединения грамматики и риторики: из грамматики, которая постепенно сливается с аналитикой и становится «аналитической грамматикой», возникает стоическая, окончательно «логическая» диалектика, а риторика, к которой не приложимы логические («аналитические») принципы, остается более практической дисциплиной, имеющей отношение к действенной силе слова.

Отделение грамматики от риторики, само подразумеваемое различие в проблематике этих наук следует из античной культурной практики. Основных умений в области слова, свойственных образованному жителю полиса, было два: умение *понимать* написанные тексты (тексты древних авторов) и умение произносить речи, или *заставлять понимать* собственные речи, необходимые в различных сферах социальной жизни. Другими словами, понимать древних и убеждать слушателей-современников воспринимались как две разные задачи, для решения которых необходимы разные искусства. Так, признавалось совершенно естественным, что учить грамматике родного языка, на котором происходило повседневное общение, не было никакой надобности: в диалоге «Протагор» об учителе грамматики родного языка говорится как о смехотворном явлении. Но обучить искусству производить воздействие теми самыми словами — понятными и «неграмматичными» — было уже необходимо.

Такая постановка вопроса, или, точнее, данное требование жизни, означало, что грамматика, родившись как

искусство чтения и истолкования древних авторов, изначально не распространила своих полномочий на факты общепонятного языка: общепонятные речи, произносимые перед слушателями-современниками, в грамматике не нуждались, они воспринимались вне всякой грамматики, нуждались не в истолковании, а в убедительности, действенности, что и составляло предмет риторики, уже другой науки. *Так факты языка древних авторов и факты родного общепонятного языка стали различными фактами:* язык древних авторов оказался последовательностью слов, не обладающих действенностью, но представляющих логические категории мысли; современная же устная речь оказалась неграмматичной, нетеоретизируемой, поскольку в ней не усматривалось проблемы смыслообразования, она была понятна по определению как родная речь. В результате теория языка (собственно «грамматика») оставляет за собой в качестве предмета написанные тексты, якобы лишенные риторичности, т. е. актуальности, действенности и коммуникативности, но зато исполненные каноничности, предметной определенности и нуждающиеся в истолковании; риторика же, в свою очередь, заключает в свои пределы всю стихию коммуникативного взаимодействия, тем самым, скрывая от грамматики, т. е. от теории языка, подлинные основания речемыслительного процесса: все те же актуальность, действенность и коммуникативность.

За этими оппозициями, между тем, нельзя видеть различий в отношении этих наук к главному предмету — слову. Притом что и грамматика (впоследствии «аналитическая грамматика», а затем — стоическая «диалектика»), и риторика имели дело со «словами», т. е. речами, состоящими из слов, — проблематика первой состояла в том, «из чего это

стоит?», а второй — *«как этим пользоваться?»* И в том, и в другом вопросе «это» было заранее известно: оно было вполне предметно, наблюдаемо. Даже когда речь шла о не наблюдаемом непосредственно процессе мышления (что неизбежно в рассуждениях о языке), даже тогда античная наука преодолевала это неудобство констатацией, что *невидимое* в естественном языке адекватно представлено его предметными элементами: словами и предложениями, и таким образом, в общей теоретической схеме описания объектность сохраняла свои фундаментальные позиции.

ОБОЗНАЧАЕМОЕ И ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ: ВСЕ СЛОВЕСНО

Как и логика, стоическая диалектика, в свою очередь, тоже состояла из двух частей: учения об обозначаемом и учения об обозначаемом (περὶ σημαίνοντα καὶ σημαίνόμενα, *SVF* II, p. 38, fr. 122 = *Diog. Laert.* VII, 62). По вопросу о том, что составляло конкретное содержательное отличие этих разделов диалектики, не существует единства мнений у исследователей. При этом не вызывает сомнений тот факт, что «учение об обозначаемом» рассматривало не только звуковой строй языка, но и некоторые грамматические — в современном понимании — явления, «учение об обозначаемом» включало наряду с суждениями и умозаключениями также многие явления, относящиеся к предмету современного языкознания⁸. Так, И.М. Тронский полагал, что «учение о частях речи стоики относили к области «обозначаемого», формального, средств речи, а грамматические категории принадлежали уже к сфере

⁸ *Перельмутер И.А.* Философские школы эпохи эллинизма // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980. С. 181.

«обозначаемого», т. е. мыслимого»⁹. Аналогичного мнения придерживается Я. Пинборг¹⁰.

По поводу этой оппозиции, как будто разделяющей гносеологическую и лингвистическую проблематику, следует заметить, что в действительности стоическое учение об означающем и обозначаемом не принимало характера оппозиции «мысль vs слово», а, скорее, составляло две стороны одного и того же феномена — мысли. Словомыслительное единство было краеугольным основанием их общего учения и обеспечивало возможность вовлечения языкового материала — столь наглядного — в философские схемы.

Как и у Гераклита, у стоиков высшим организующим началом бытия, высшим моральным принципом, самим божеством был Логос (*SVF I*, p. 110, fr. 493=Diog. Laert. VII, 134). Божественному Логосу причастен человеческий разум (*SVF II*, p. 228, fr. 840). Логос является тем законом, который правит миром и предписывает каждому отдельному существу должный образ действия и поведения. В человеке развитый разум тождествен с разумом божественным. При этом внутренний логос человека — его разум (λόγος ἐνδιάθετος) — находит точное и адекватное выражение в речи — во внешнем, произносимом, выражаемом в словах логосе (λόγος προφορικός). Поэтому Логос является одним и тем же, независимо от того, заключен ли он внутри сознания или обнаруживается как внешнее словесное выражение¹¹. Таким образом, изучение речи —

⁹ Тронский И.М. Проблемы языка в античной науке// Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936. С. 26.

¹⁰ Pinborg J. Classical antiquity: Greece// Current Trends in Linguistics / Ed. Th. A. Sebeok La Haye-Paris, 1975. P. 79.

¹¹ Dahlmann H. Varro und die hellenistische Sprachtheorie. Berlin, 1932. S. 154; Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 470.

объекта, в наибольшей мере доступного наблюдению, — может привести к постижению человеческого разума, а в силу причастности человеческого разума разуму божественному изучение речи приводит и к постижению законов бытия. Тронский пишет об этом:

«Доверяя языку как обнаружению разума, а человеческому разуму как частице всеобщего и всепроникающего природного разума, стоик строит параллельные ряды — физический, логический и грамматический, различая, но не отрывая друг от друга предмет, мышление и язык; затем, двигаясь в обратном направлении — от наружного к скрытому, он со всей античной прямолинейностью будет искать в строевании предложения непосредственных отражений структуры самой реальности, а в выделяемых при анализе предложения классах слов столь же непосредственного отражения предметных категорий действительного мира»¹².

В отличие от Аристотеля, различавшего три начала: 1) звучание слова, 2) представление в душе, 3) предмет, которому соответствует представление в душе, стоики усматривают наряду с этими тремя еще четвертое начало — смысловую, содержательную сторону речи, которую они называют *λεκτόν* — «высказываемое». Смысловая сторона речи, «высказываемое», не есть просто представление в душе. Психические представления могут быть у животных и у младенцев, даже у взрослых разумных людей могут быть некие смутные психические представления, которые человек не в состоянии выразить словами. Но *λεκτόν* — это особым образом организованная мысль, это такая мысль, которая находит выражение в речи. «Разумные

¹² Тронский И.М. Основы стоической грамматики // Романо-германская филология. Сб. статей в честь В.Ф. Шишмарева. Л., 1957. С. 302, 303.

представления» (φαντασίαι λογικαί) могут быть только у разумных существ (*SVF* II, р. 24, fr. 61), «высказываемое» находится в соответствии с «разумными представлениями» (*SVF* II, р. 58, fr. 181), разумным же является такое представление, которое может быть выражено в речи (*SVF* II, р. 61, fr. 187).

«Высказываемое», таким образом, есть то содержание, которое непосредственно заключено в речи, выражается ею, но оно отлично от того представления (εἰκοναί), которое вещь создает в нашем сознании»¹³.

«Между мыслью и звуком лежит “обозначаемое”, “высказываемое”, т. е. отвлеченное содержание речи в его неразрывном единстве с звуковой формой»¹⁴.

В наиболее ясной форме учение стоиков об «обозначающем» и «обозначаемом», столь послужившее последующему языкознанию, изложено в одном из сочинений представителя позднего скептицизма Секста Эмпирика (начало III в. н. э.). И.М. Тронский передает и комментирует рассуждение Секста Эмпирика следующим образом:

«Согласно Сексту Эмпирику (*SVF* II, р. 48, fr. 166), стоики считали “сопряженными между собой три вещи — обозначаемое, обозначающее и предмет”. “Обозначающее”, согласно его разъяснению, “есть звук, например, “Дион”; предмет — это “внешний субстрат, например, сам Дион”». К сожалению, Секст не иллюстрирует примером “обозначаемого” и только разъясняет, что это есть некое выражаемое звуком “дело” (πραγμα), которое “мы умственно постигаем, а варвары не воспринимают, хотя и слышат звук”. Далее мы узнаем, что “звук” и “предмет” телесны,

¹³ *Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. 2. Aufl. Berlin, 1890. T. 1. S. 288.*

¹⁴ *Ibid. S. 288.*

между тем как “обозначаемое дело” (τὸ σημαίνόμενον πράγμα) бестелесно, и что эта бестелесная вещь есть “высказываемое”, которое бывает истинным или ложным»¹⁵.

Как видно, «обозначаемое», «высказываемое» представляет собой нечто специфически языковое, причем различающееся от языка к языку, в то время как представления в душе одинаковы для всех людей вне зависимости от языка, на котором они говорят, а звуки речи, взятые в отрыве от смысловой стороны высказывания, доступны для восприятия любого человека, в том числе и такого, который не владеет соответствующим языком. Таким образом, видно, что понятие обозначаемого, или высказываемого, является словесным, более того, оно очень походит на «мыслимое повествовательное предложение», поскольку бывает истинным или ложным и имеет субъектно-предикатное строение.

Звуки коммуникативного процесса

Констатация тесной взаимообусловленности двух сторон речемыслительного единства, «обозначающего» и «обозначаемого», оборачивается у стоиков признанием особого статуса звуков речи. «Обозначающее» есть звук (ἡ φωνή — *SVF* II, p. 48, fr. 166), но это не тот звук, который могут производить, например, неодушевленные предметы, животные и лишенные разума младенцы. Даже звуки, произносимые взрослыми людьми, не всегда есть звуки речи. Звуки речи — это особым образом организованные «членораздельные звуки» (φωνῆ ἑναρθρος — *SVF* III, p. 213, fr. 20), «звуки, могущие быть записанными» (φωνῆ ἐγγράμματος — *ibid*). Сочетание таких звуков составляет

¹⁵ Тронский И.М. Указ. соч. С. 304.

λέξις — звуковую сторону высказывания, образованную в соответствии с фонетическими правилами языка. Настаивая на существовании принципиального различия между просто звуком и звуком речи, стоики тем самым развивают — на несколько ином уровне абстракции — идею об осмысленности звучания, подобно тому как Платон некогда указывал на возможность смыслообразования в звуках и слогах. Подобно тому как для Платона особый статус звука заключался в возможности передавать смыслы («мягкость», «плавность» и др.), так для стоиков особый статус звука заключается в том, что они образуют осмысленную речь. В отличие от Платона, однако, в суждениях стоиков есть интуиция (не получившая в их системе дальнейшего развития), суть которой состоит в том, что даже звуки речи в области теории выделяются на основании устанавливаемого синтаксического критерия: прежде чем быть выделенными в качестве звуков речи, они должны быть синтаксичны, т. е. *составлять* ту самую речь, данную в звуковом нерасчлененном единстве.

ЭТИМОЛОГИЯ: ИГРА В СМЫСЛОЗВУКИ НА ПОЛЕ КОММУНИКАЦИИ

Признаваемое стоиками соединение слова и смысла находит вполне адекватное выражение в учении об этимологии. Если Логос произнесенный (λόγος προφορικός) практически идентичен Логосу внутреннему (λόγος ἐνδιάθετος), и эти логосы состоят из слов, составляющих логические структуры, то через слова естественного языка могут быть обнаружены скрытые логосы, прямо соответствующие видимым, открытым. Иначе говоря, между словом естественного языка и «обозначаемым» им предметом (явлением) существует внутренняя, органическая,

«природная» связь, и, таким образом, анализ слова должен приводить к постижению сущности соответствующего предмета или явления. Именно поэтому исключительное место в философских исследованиях стоиков занимает этимологизирование (термин «этимология» впервые вводится одним из наиболее видных стоиков Хрисиппом, который написал ряд книг об этимологиях)¹⁶. Метод нахождения смысла через анализ внешней формы слова использовался стоиками во всех областях знания, для обоснования их воззрений в физике и космологии, в этике и теологии¹⁷.

Устанавливая статус внешней формы слова, стоики, как и Платон в «Кратиле», проводили различие между «первыми словами» (πρωτάι φωναί) и словами позднейшими, возникшими из первых в результате изменений значения, изменений звуковой формы, а также в результате словосложения. Подлинная, ничем не замутненная связь между звучанием и значением характерна только для «первых слов», созданных древнейшими людьми, которые, по мнению стоиков, превосходили их современников не только по своим нравственным качествам, но и в духовном, интеллектуальном отношении. Выявить связь между звучанием и значением у слов позднейших можно только в результате тщательного анализа¹⁸. Примеры такого анализа не оставляют сомнений в том, что этимология стоиков осуществлялась всецело в духе «Кратила», однако в ней уже

¹⁶ Pfeiffer R. Geschichte der klassischen Philologie. Von den Anfängen bis zum Ende des Hellenismus. Hamburg, 1970. S. 315; Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik. Berlin, 1957. S. 60.

¹⁷ Gentinetta P.M. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten und in der stoisch-hellenistischen Zeit. Winterthur, 1961. S. 111.

¹⁸ Lohmann J. Über die stoische Sprachphilosophie // Studium Generale, 1968. Vol. 21. Fasc. 3. S. 257.

не осталось платоновской иронии и неоднозначности: стоики изъяли из метода сомнения полушутливый тон Сократа и оставили Сократа-аналитика, всерьез обнаруживающего правильность имен. Так, Хрисипп полагал, что центр духовной жизни человека, его ведущее начало (ἡγεμονικόν) находится не в голове, а в сердце, и в качестве аргумента, подтверждающего это положение, приводил тот факт, что при произнесении последнего слога слова ἐγώ «я» подбородок, опускаясь, приближается к груди, к сердцу и указывает тем самым на место, где находится подлинное «я» человека (*SVF* II, p. 245, fr. 895)¹⁹. Стремясь доказать, что центральным органом духовной жизни является сердце, Хрисипп указывал на близость по звучанию между словом καρδία «сердце», с одной стороны, и словами κράτος «сила, мощь», κύριος «повелитель, владыка» — с другой (*SVF* II, p. 245, fr. 896)²⁰. О том, что Зевс — верховное божество, полагает Хрисипп, свидетельствует его имя, поскольку Δία (форма винительного падежа от Ζεύς) совпадает по звучанию с διά — предлогом, означающим «из-за», «по причине»; одинаковое звучание этих слов служит основанием для вывода о том, что Зевс есть причина всего сущего (*SVF* II, p. 312, fr. 1063)²¹.

Именно в этимологии наиболее рельефно проявляется вполне естественное первоначальное воззрение, согласно которому слово воспринимается как смысло-формальное единство (оно столь же естественно и «очевидно», как и идея о том, что слово, взятое само по себе, что-то значит). Только при условии прочной связи внешнего облика и внутреннего содержания, их взаимообусловленности

¹⁹ *Dahlmann H.* Op. cit. S. 8, 9.

²⁰ *Ibid.* S. 9.

²¹ *Ibid.* S. 21.

возможны рассуждения об отдельно взятом слове, указывающем на какой-то смысл, искомый и находимый в этимологической процедуре. К этой точке зрения склонялся и Платон, который, однако, в финале «Кратила» устами Сократа подвел, скорее, неопределенный итог, состоящий в том, что для знания сущности вещи оказывается недостаточным самого слова, необходимо знать что-то еще (439a). Аристотель, по-видимому, относился отрицательно к образчикам этимологизирования, содержащимся в «Кратиле», и, говоря об имени, замечал, что отдельная часть его звукового облика ничего не обозначает, что, например, в (имени) Каллипп («красиво-лошадь») «лошадь» само по себе ничего не значит, не так, как в предложении «красивая лошадь». Но несмотря на мнения предшественников, стоики предпочитают преодолеть (или не заметить) как платоновскую амбивалентность, так и аристотелевскую определенность в этом вопросе, и используют любые приемы в игре с предметным обликом слова, чтобы получить необходимые свидетельства о его заранее известном коммуникативном значении, как, например, в приведенных этимологиях Хрисиппа.

Части речи: коммуникативные критерии выделения

Стоическое учение о частях речи, ставшее одним из величайших вкладов в дело построения системы «языка», продолжает уже существующую традицию античного языкознания — от Платона, постулировавшего делимость речи на части и знавшего, по меньшей мере, из этих частей имя и глагол, и Аристотеля, выделявшего элемент, слог, союз, имя, глагол, член, падеж и предложение в качестве частей речи. Причем, как и в случае со звуками речи, выделение частей речи (уже целых «слов») происходит у стоиков при

неосознанном использовании дектико-синтаксических (об этом см. п. 2.7 и Приложение 1) критериев, а также смешении дектико-синтаксических и предметно-вербальных признаков. Так, Диоген Вавилонский дает следующие характерные определения (*SVF* III, p. 213, fr. 22 = Diog. Laert. VII, 58):

«Нарицание — часть речи, означающая общее качество, например: человек, конь. Имя — часть речи, показывающая единичное качество, например: Диоген, Сократ».

«Глагол есть часть речи, означающая несоставной предикат».

Очевидно, что и нарицание, и имя (собственное) мыслятся «означающим» в пределах определенной (наиболее распространенной) коммуникативной ситуации, которая и служит основанием для определения. При этом определение глагола имеет в виду «составленность» из нескольких «слов», что отсылает к предметной стороне речи и не может служить достаточным признаком. Так или иначе, Хрисипп установил пять частей речи (*SVF* II, p. 44, fr. 147 = Diog. Laert. VII, 57): имя собственное (ὄνομα), имя нарицательное (προσηγορία), глагол (ῥήμα), союз (σύνδεσμος) член (ἄρθρον). Впоследствии Антипатр Тарсский присоединил к пяти частям речи Хрисиппа и Диогена Вавилонского шестую часть — наречие, которую он назвал μεσότης «середина» (*SVF* III, p. 247, fr. 22 = Diog. Laert. VII, 57), по-видимому, ввиду того, что по своей синтаксической функции оно тяготеет к глаголу (=синтаксический критерий), а с морфологической стороны (=предметный критерий) ближе к имени.

УЧЕНИЕ О ПАДЕЖАХ И ВРЕМЕНАХ: ЗАБВЕНИЕ УСЛОВНОСТИ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

Учение стоиков о падежах и временах глаголов стало, в свою очередь, первым, возможно, самым большим шагом на пути создания современной морфологии в европейской, в частности, русской традиции. Разрабатывая философские аспекты речемыслительного процесса, они создали теоретическую сетку, которую предстояло заполнить материалом описываемых текстов и языков. Разработка учения о падежах и временах глаголов велась почти исключительно в области смысловых отношений. Судя по имеющимся источникам, стоиков не интересовала языковая конкретика в данной области. Так, не существует данных, которые свидетельствовали бы о том, что они проявляли интерес к формальным способам выражения падежных значений и спряжения, к падежным окончаниям, к парадигмам склонения и спряжения. Отсутствие таких данных едва ли может быть результатом случайной утраты соответствующих материалов, для этого оно слишком хорошо согласуется со всем тем, что известно о характере языковых занятий стоиков. При этом материалом теоретического осмысления, единицей лингвистических «теорем», идеальным объектом неизменно оставалось слово. Именно в отношении слова разрабатывалась терминология и выстраивались концепции. Поэтому учение о падеже и временах глаголов — это учение о соответствующих параметрах лексем, признанных существительными, прилагательными и глаголами.

Термин $\pi\tau\omega\sigma\iota\varsigma$, «падеж», стоики заимствовали у Аристотеля, но придали ему иное значение. Если Стагирит называл падежом любое изменение формы слова, в т. ч. глагола, то стоики стали использовать его только по

отношению к склоняемым — в современном смысле — словам. При этом в число падежей была включена (также в отличие от Аристотеля) и исходная назывная форма имени — форма именительного падежа.

Для уяснения лингвистической проблематики, которая занимала исследователей, интересен эпизод полемики по вопросу об именительном падеже. Комментатор Аристотеля Аммоний (V в. н. э.) сообщает, что перипатетики, последователи Стагирита, возражали против того применения, которое термин $\pi\tau\omega\sigma\iota\varsigma$ получил у стоиков (*SVF* II, p. 47, fr.164):

«Перипатетики говорят стоикам, что прочие падежи справедливо называются падежами, так как они упали с прямого; но на каком основании можно называть падежом прямой, как будто он откуда-то упал? Стоики отвечают, что и он упал с душевного представления: желая выразить имеющиеся у нас представления о Сократе, мы произносим имя *Сократ*. И как о пущенном сверху и вертикально вонзившемся в землю грифеле говорят, что он упал и имел прямое падение, таким же образом, считаем мы, прямой (падеж) упал с представления и является прямым как первообраз звукового выражения».

Судя по этой полемике, как перипатетики, так и стоики как будто сознавали условность термина «падеж»: его использование не очевидно, а выясняется. Спор ведется о возможности применения условной категории к материалу, свойства которого могут более или менее отвечать избранной схеме описания, содержащейся в самой категории. Понятие падежа, говорят перипатетики, не отвечает свойствам того, что представляет собой «прямое» употребление слова, поскольку оно не «упало», а осталось на месте, — наоборот, все остальные употребления «упали» именно в сравнении с ним. Стоики в ответ на это вводят

в схему новое условие («душевное представление»), которое позволяет им не разрушать имеющуюся терминологию (т. е. оставить «образ падения», и соответственно, сам термин «падеж») и при этом представить «прямой» как тоже «падеж»: он тоже «упал», только из другого места. Иными словами, существующая схема («отпадение» словоформ от какой-то начальной) при всей сознаваемой условности начинает свою собственную жизнь, и соответствие материала выбранной схеме становится главным интересом исследователей. Заметно при этом, что условная схема, избранная для описания, начинает воспроизводить саму себя и влиять на видение материала. В процессе приписывания грамматическим категориям новых условий причинности условность самой схемы постепенно исчезает, как бы забывается — получается так, как будто перед исследователем не актуальный языковой материал, а некие «падения» и «падежи», которые в действительности не мыслятся ни одним говорящим на родном языке. Языковой реальности в итоге нет, но лингвистический вопрос оказывается решенным: «прямой» — это тоже «падеж».

Как и в случае со звуками речи, выделение падежей и глагольных времен происходит на основании дектико-синтаксических критериев, которые, однако, не попадают в область рефлексии, не присутствуют в поле исследовательского внимания, и потому на их место сразу встает схема, оправданная всем подобранным ходом доказательства. Последовательность рассуждения, в котором уже изъятые «когнитивные» звенья, по-видимому, такова: речь состоит из слов, слова выражают смысл речи, одновременно в словах присутствуют «падежи» и времена, значит, слова выражают смысл речи посредством падежей и времен. Так, в названиях падежей запечатлены те мыслимые

типологические коммуникативные ситуации, в которых часто встречаются данные словоформы: указание на родовое происхождение («родительный» падеж), адресат давания («дательный» падеж), обвинение или обнаружение в чем-то или в ком-то причины («винительный» падеж). Соответственно, можно говорить о коммуникативной реальности, послужившей основанием для выделения падежа в качестве грамматической категории. Но затем в области теории падеж приобретает автономию, он теряет свою условность, зависимость от ситуации и уже самостоятельно строит систему языка. В итоге получается, что не коммуникация и ее типология лежат в основании упорядоченности лингвистического материала, а сама независимая вербально представленная система падежей, якобы, присущая «языку» изначально (ведь «язык состоит из слов, в словах присутствует весь язык»). Эта самостоятельность приписывается затем не только падежам, но и всему языковому «механизму», собственно «языку», который уже рассматривается как автономная система. Таким образом, лингвистический материал лишается подлинной этиологии, его теоретизирование строится на фиктивных основаниях, принимаемых за его аутентичные свойства. Так, когда коммуникативная реальность вступает в свои права и обходится без падежей или нарушает их прежнюю «системность», то, согласно логике стоиков и соответствии с любыми вербально ориентированными способами теоретизирования материала, становится необходимым объяснение в духе вербально представленной системности, а не реального главенства невербальной коммуникативной ситуации, забытой по причине того, что она не отрешена как главная составляющая в механизме речевого и мыслительного процесса.

Те же причинно-следственные связи имеют место и при конструировании временной системы греческого глагола, которая состояла у стойков из презенса, имперфекта, аориста, перфекта, плюсквамперфекта и футурума. Саму категорию времени стойки не изобрели, но, по-видимому, следовали за Аристотелем, который отмечает обозначение времени как наиболее важную особенность глагола, однако нигде не делает попытки описать разновидности времен как целостную систему. Стойки конструируют ее на основании дектико-синтаксических критериев, а именно, на основании типологии коммуникативных ситуаций, осознанных говорящим, не вводя при этом реальные причины классификации в область теории. Четыре основных времени глагола устанавливаются, с одной стороны, по признаку того, относится ли действие к настоящему или прошедшему, и с другой — по признаку того, является ли действие законченным или продолжающимся: *praesens* — ἐνίσως παρτατικός «настоящее продолжающееся (длительное)»; *imperfectum* — παρωχημένος παρτατικός «прошедшее продолжающееся (длительное)» (имперфект обозначает действие, происходившее в прошлом, но не законченное и могущее продолжаться в настоящем); *perfectum* — ἐνεστὼς συντελικός «настоящее законченное» (перфект обозначает состояние в настоящем, возникшее как результат предшествующего, законченного действия); *plusquamperfectum* — παρωχημένος συντελικός «прошедшее законченное» (плюсквамперфект обозначает состояние в прошлом, следовавшее за законченным действием как его результат). Легко заметить, что время и вид по сути определяют «положение» действия по отношению к моменту речи или к избранной говорящим точке отсчета, следовательно, процедура создания данной лингвистической категории

выстраивается на основании коммуникативной (невербальной) типологии. Именно это отмечает и схолиаст (*SVF* II, p. 48, fr. 165):

«Настоящее (время) стоики определяли как настоящее продолжающееся, так как оно распространяется и на будущее; ибо говорящий “я делаю” показывает, что “он делал” и что “он будет делать”».

Та же субъектная точка зрения имеется в виду при создании дефиниции определенных и неопределенных времен. Так, схолиаст, объясняя, как возникли названия *παρωχημένος ἀόριστος* («неопределенное прошедшее») и *μέλων ἀόριστος* («неопределенное будущее»), говорит, что для аориста, как и для будущего времени, характерна неопределенность: когда кто-либо говорит *ποιήσω* («я буду делать»), то остается неясным, произойдет это в ближайшем или в далеком будущем. Точно так же, когда кто-то говорит *ἔποίησα* (аорист «я сделал»), то остается невыясненным, произошло ли это действие в недалеком или в отдаленном прошедшем, тогда как перфект означает, по мнению схолиаста, действие, совершенное в недавнем прошлом, а плюсквамперфект — действие, совершенное в отдаленном прошлом. Естественно, что понятия «давнего прошедшего», «недавнего», «недалекого» и «отдаленного» имеют смысл только по отношению к говорящему, к мыслимой типологии коммуникативных ситуаций, в которых он себя осознает.

Однако затем коммуникативное происхождение «глагольной системы» утрачивается (точно так же, как в упомянутой полемике перипатетиков со стоиками забывается условность введенной категории «падеж»). Это происходит ввиду упрощенного взгляда на феномены языка: «язык — это слова, имеющие смысл». В результате

происходит опредмечивание глагольных значений: элементам морфологического уровня приписываются соответствующие функции, и уже морфологические признаки становятся носителями глагольных значений, несмотря на то, что последние были выделены на основании коммуникативных, а не предметных, критериев. Со стоической глагольной системой этот процесс происходит отчасти у самих стоиков, отчасти в русле практической филологической работы александрийской грамматической школы (см. п. 1.4.).

Синтаксис: экспансия логики суждений

Логический подход к феноменам естественного языка, инициированный Аристотелем, продолжается и развивается стоиками по преимуществу в учении о синтаксисе. Насколько можно судить, стоики впервые ввели самый термин «синтаксис» в античную грамматику. Он представлял собой скорее логическую, чем собственно грамматическую дисциплину, что отмечали уже античные авторы. Так, Дионисий Галикарнасский (вторая половина I в. до н. э.) сообщает (*SVF* II, р. 67, fr. 206a), что книги Хрисиппа о синтаксисе посвящены логическим проблемам. О том, что синтаксические изыскания стоиков целиком и полностью подчинены задачам разработки логической теории суждения, пишут и современные исследователи²². Разрабатывая логическую проблематику, стоики, тем не менее, оставались в рамках предметного взгляда на феномены языка. Все логические элементы пропозиции находят соответствие в вербальных элементах речевой структуры.

²² *Steinthal H.* Op. cit. S. 307; *Gudemán A.* *Grammatik* // *Paulys Real-Encyclopaedie der Classischen Altertumswissenschaft* / *Bearb. von G. Wissowa und W. Kroll.* Stuttgart, 1912. Bd 7. S. 1789; *Pinborg J.* Op. cit. P. 102.

Между категориями мысли и категориями языка стоики практически ставили знак равенства.

Предложение рассматривается ими как «полное (самодовлеющее) высказывание» (λεκτὸν αὐτοτελές). Помимо этого, у стоиков существует также понятие «неполного высказываемого» (λεκτὸν ἐλλιπέος). Относительно того, что понимали стоики под «неполным высказываемым», у современных исследователей нет достаточной ясности, однако выбирать приходится всего из двух возможностей: либо «неполным высказываемым» было для стоиков значение отдельного слова, либо термин «неполное высказываемое» соответствовал значению предиката — сказуемого. В пользу первого понимания свидетельствует, например, Августин (*О диалектике*, 5):

«То, что из слова (ex verbo) воспринимает не ухо, а дух, и что содержится заключенным в духе, называется высказываемым».

В пользу второго, более вероятного, свидетельствует Диоген Лаэртский (*SVF II*, p. 58, fr. 181=Diog. Laert. VII, 63):

«Одни из высказываемых стоики называют полными, другие — неполными. Неполные заключают в себе незаконченные выражения, например, “пишет”; остается неизвестным “кто?”. Полные высказываемые соответствуют завершенным выражениям, например, “пишет Сократ”». «Сказуемые (κατηγορήματα) заключены в неполных высказываемых».

А также (*SVF I*, p. 109, fr. 488):

«Высказываемыми (λεκτά) Клеанф и Архедем называют сказуемые (κατηγορήματα)».

Логический подход, как уже в трудах Аристотеля, обогатился исследованием по преимуществу суждений.

Стойки разработали разнообразные классификации предложений-суждений, причем большей частью эти классификации были основаны на разграничении между различными типами предикатов. В основу классификации суждений ложится классификация предложений по характеру их глагольного сказуемого как наиболее существенного момента, создающего «высказываемое». По всей вероятности, осознание предиката как наиболее значимого элемента «высказываемого» и было причиной того, что «неполным высказываемым» представители древней Стои называли только предикат суждения-предложения, но не его субъект. По-видимому, позиция стоиков по вопросу о соотношении субъекта и предиката в предложении-суждении была прямо противоположна позиции Аристотеля, для которого именной компонент, выступающий в функции подлежащего, составлял наиболее важную, наиболее существенную часть предложения.

В этой явной и неявной полемике относительно важности вербально засвидетельствованных элементов предложения ощущается полное забвение коммуникативной сущности языкового феномена: как Аристотелем, так и стоиками предложение рассматривается как «голая» структура, лишенная коммуникативной актуальности, в то время как именно коммуникативная актуальность не позволяет говорить о преимущественной важности какого-то из этих элементов — субъекта или предиката. Так, в актуальном языковом процессе место субъекта и предиката, понимаемых предметно, занимают в современной теории коммуникативно определяемые тема и рема, причем далеко не всегда тема соответствует субъекту, а рема — глаголу, как, например, в оппозиции «дети поют» — «поют дети» в соответствующих контекстах. Реальные субъект и

предикат, свойственные естественной речи (т. е. тема и рема — «то, что осуществляет связь с контекстом», и «новая информация»), становятся неопределимыми, если критерием определения выступают аристотелевские или стоические имена-субъекты или предикаты-глаголы. Другими словами, языковой материал, взятый в актуальном употреблении (а другого употребления естественного языка не существует), обнаруживает не вербальные, а когнитивные (коммуникативные) принципы организации, которые логический (аристотелевский и стоический) подход изгоняет из процедуры описания.

В том же духе вербальной предметности стоики различают четыре типа предложений-суждений, которые выделяются на основании формальных свойств слов, входящих в их состав: в зависимости от того, какую грамматическую форму субъекта требует предикат (форму прямого или косвенного падежа), и, во-вторых, в зависимости от того, нуждается ли предикат в дополнении (т. е. является ли он переходным) или не нуждается. Основной тип предиката для стоиков — это сказуемое, выраженное непереходным глаголом и сочетающееся с подлежащим, выступающим в форме именительного падежа (например: «Сократ гуляет»), такой предикат стоики называют категорема (*κατηγορημα*). Если предикат, не нуждающийся в дополнении, сочетается в предложении с субъектом, выступающим в форме косвенного падежа (например: «Сократу грустно»), то такой предикат называется паракатегорема (*παρακατηγορημα* «околопредикат»). Если в качестве сказуемого выступает глагол, сочетающийся с подлежащим в форме именительного падежа, но нуждающийся в дополнении для полноты высказывания (например: «Платон любит», полным было бы высказывание

«Платон любит Диона»), то такое сказуемое называется неполным предикатом (ἔλαττον ἢ κατηγορήμα букв. «менее, чем категорема»). И, наконец, если сказуемое сочетается с субъектом, выступающим в форме косвенного падежа, и, кроме того, оно еще требует дополнения для полноты высказывания (например: «Платону жаль», полным было бы высказывание «Платону жаль Диона»), то такое сказуемое называется неполным околопредикатом (ἔλαττον ἢ παρακατηγόρημα букв. «менее, чем паракатегорема»)²³.

Кроме того, в суждениях стоики выделяли четыре типа глагольных предикатов по признаку активности/пассивности, где также имели место вербально-логические единицы: предикаты 1) образованные переходным глаголом в активе; 2) образованные непереходным глаголом; 3) образованные глаголом, выступающим в пассивной («на-взничной») форме и с пассивным значением; 4) образованные глаголом, выступающим в пассивной («на-взничной») форме, но с возвратным значением²⁴.

Интерес стоиков к суждению (ἀξιωμα), в ущерб остальным типам предложений, объясняется логическим подходом к языку, который был инициирован Аристотелем. Повествовательные предложения непременно должны быть либо истинными, либо ложными (*SVF* II, p. 61, fr. 186):

«Аксиома... есть то, что может быть либо истинным, либо ложным».

²³ Комментарии Аммония к трактату Аристотеля «Об истолковании». Текст оригинала приведен у Штейнталя — *Steinthal H.* Op. cit. S. 305, 306; русский перевод в кн. *Античные теории языка и стиля.* М.:Л., 1936. С. 71, 72.

²⁴ *Перельмутер И.А.* Указ. соч. // Там же. С. 201.

Именно такой тип предложения представлял собой подходящий материал для логического аппарата, который и создавался Аристотелем и стоиками на основании суждения. Другие типы предложений не могли интересовать исследователей-философов, устанавливавших правильный Логос на основании предметного материала.

Те же задачи логического порядка побуждали стоиков анализировать виды сложного предложения, классифицировать их по характеру связи между отдельными частями, эти же задачи стимулировали пристальное внимание к семантике различных сочинительных и подчинительных союзов, которые, в основном, рассматривались как средство представить сложное предложение в категориях, соответствующих простому предложению.

Кроме повествовательных предложений, стоиками выделены и другие типы, не получившие значительной теоретической разработки: вопросительные предложения, где главным признаком было наличие вопросительного слова (*SVF* II, р. 60, 61, fr. 186, 187; II, р. 62, fr. 190), повелительные предложения, заключающие в себе *форму императива* (*SVF* II, р. 60, fr. 186; р. 61, fr. 187), предложения, выражающие желание, мольбу, представленные соответствующими *лексемами* (*SVF* II, с. 61, fr. 187), предложения, заключающие в себе *заклинания* (*SVF* II, р. 61, fr. 187), предложения, заключающие в себе *клятву* (*SVF* II, р. 58, fr. 182; р. 61, fr. 186). Данная классификация предложений, как видно, была основана на неосознанном смешении «когнитивных» и предметных критериев. Так, например, с одной стороны, констатируется некая «цель высказывания» (коммуникативный критерий), с другой стороны, для определения цели нужны соответствующие слова (предметный критерий).

АНОМАЛИЯ: ТЕСНОТА ПРЕДМЕТНЫХ РАМОК

Разрабатывая системный подход к лингвистическому материалу на предметных основаниях («речь состоит из слов, состоящих из звуков; слова и звуки имеют свои значения, из которых складывается осмысленная речь») и принципах логичности («вербальные элементы речи отражают законы мышления; речь есть вербализованное мышление»), стоики, тем не менее, не могли отрицать, что актуальная речь на естественном языке не поддается строгому вписыванию в эти рамки. Исходя из идеи параллелизма между мыслью и языковым выражением, они все же вынуждены были констатировать, что этот параллелизм нарушается. Так, например, было замечено, что существуют такие слова, предметное значение которых находится в противоречии с тем значением, на которое указывает их грамматическая форма: названия городов Афины (Ἀθῆναι), Фивы (Θῆβαι) имеют форму множественного числа, но каждое из этих названий указывает на один город, однако такие слова, как δῆμος «народ» или χορός «хор», обозначают множество лиц, хотя имеют форму единственного числа; названия живых существ, оформленные как существительные мужского рода, означают как самца, так и самку, и, наоборот, на живые существа обоего пола могут указывать существительные, представляющие по своей форме женский род; некоторые глаголы, имеющие форму пассивного залога, означают активное действие (так называемые отложительные глаголы). Эти явления стоики стали рассматривать как случаи «отклонения» (ἀνωμαλία «отклонение») грамматической формы слова от его предметного значения и сформулировали идею об аномалии, которая затем в школьной грамматике приобрела вид «исключений из правила».

Как видно, процесс трансформирования лингвистического феномена и возникновения искусственного объекта, отвечающего мыслимой модели описания (т. е. сведение феномена естественного языка к предметности и логичности), уже у самих стоиков обернулся косвенным признанием недостаточности такого подхода. В некотором смысле учение об аномалии уподобилось той платоновской самоиронии из финала «Кратила», которая в не слишком определенных выражениях отрицала смысл возведенного лингвистического здания, не предлагая, правда, взамен ничего иного.

В действительности этиология феноменов естественного языка, не имеющая под собой предметности и логичности, требовала коммуникативных, а не структурных, когнитивных, а не предметных подходов, которые, надо признать, использовались стоиками, но не замечались и не выделялись в качестве обязательной стадии исследовательской процедуры. Ощущаемая недостаточность «объектно-ориентированной», «слово-ориентированной» схемы, обнаруживаемая учением об аномалии, формулировала вопрос, который надолго остался без ответа в русле европейской традиции языкознания (и потому сам собой отходил в тень): если естественный язык представляет собой систему предметных слов, обладающих смыслом и понимаемых благодаря четкой организованности этой предметно-словесной системы, — как понимаются в тождестве языковые факты, изъятые из организованной правильности этой системы? Как аномальные феномены языка могут «работать» в языке, если за ними по определению не стоит то, что обеспечивает возможность этой «работы» — системной организации предметного уровня?

1.4. АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ГРАММАТИКИ: ПРЕДМЕТНОЕ ОПИСАНИЕ «ЯЗЫКА»

Александрийская грамматическая школа в соперничестве с пергамской окончательно формирует образ предметной дескриптивной модели, или «слово-ориентированной» парадигмы описания лингвистического материала, которой суждено было стать единственной в европейской традиции и на века зафиксировать принципы описательной процедуры языкового факта. Лингвистический материал, переживший в руках философов стадии абстрагирования от субъекта, от актуальности и от коммуникации, и сам собою ставший предметным, логичным и системным, оказался в руках собственно языковедов, которых вопросы философии языка вовсе не интересовали. Весь философский опыт в области лингвистических фактов, по-видимому, пригодился античным лингвистам ровно настолько, насколько мог быть привлечен к решению конкретных задач. Тем более что этот опыт не противоречил той очевидности, которую языковеды видели перед собой. А видели они прежде всего — и, по-видимому, исключительно — тексты, состоящие из слов. В этих условиях европейская грамматика оформляется в самостоятельную дисциплину со своим объектом, специфическим методом исследования, собственной терминологией и становится автономной отраслью науки.

Среди центральных воззрений на язык, или мыслимых подлежащих, которые в основополагающих чертах определяют способ видения лингвистических фактов, александрийские грамматики вполне традиционно исповедывали следующие: (1) принцип предметности лингвистического материала, (2) принцип речемыслительного

единства (логичности), (3) принцип системности предметных фактов языка. Эти принципы были настолько основны, что уже не прояснялись в специальных обсуждениях, — они просто считались само собой разумеющимися, прямо и косвенно сказываясь в способе концептуализации тех или иных лингвистических феноменов.

ПРЕДМЕТНОСТЬ МАТЕРИАЛА И ТЕОРИИ

Перед александрийскими учеными стояла задача адекватного описания всего того, что встречается у древних авторов, в особенности произведений Гомера, которые к эллинистической эпохе окончательно утратили общедоступность и самоочевидную понятность. Соответственно, речь шла о конкретных фактах языка и о самом языке. Что такое язык древних текстов, ко времени александрийцев было доподлинно известно как из всей предшествующей философской традиции, так и из очевидного материала, доступного исследователям: язык — это все слова, состоящие из звуков, имеющие значения, соединенные в высказывания и составляющие своими значениями их общий смысл. Описать этот комплекс — значит, представить слова в реальных и возможных связях, т.е. изобразить их как систему, организованную согласно аутентичным свойствам этих слов. Эта система слов и составила понятие языка.

Такая специфика работы александрийских филологов еще далее продвинула их точку зрения — и вместе с ними точку зрения всего будущего европейского языкознания — в область предметности. Так, от платоновских сомнений в источнике «правильности имен» и аристотелевского субъекта речи («говорящего») не остается и следа. Осознание того, что вся типология в предметной области

строится на непредметных внеязыковых фактах и на невербальном осознании реальности тем самым «говорящим», у александрийских филологов не было повода, не мыслилось актуальным в их работе: перед ними простирались древние тексты, состоящие из очевидных слов. Как и другие хранители культурных ценностей, они переводили не вполне явное прошлое в формы вполне явного настоящего — восстанавливали соответствие между непонятными языковыми моделями древнего текста и явной для современников коммуникативной реальностью, в которой уже использовались понятные привычные языковые модели. В этой работе стадия сопоставления с невербальной, непредметной мыслимой действительностью, ее решающее значение в процессе обретения коммуникативного тождества не подвергалась рефлексии, не имела шансов быть замеченной и введенной в теорию описания — она была просто теоретически не нужна для истолкования, которое осуществлялось как бы само собой, объектно и четко: слово (выражение) Гомера — перевод и комментарий истолкователя.

Аналоги́сты и аномали́сты

Воссоздание закономерностей словесной системы, использованной древними авторами, оказывалось невозможным вне принципа аналогии — логоса, воплощенного в словесном материале, созерцание которого позволяло обретать единство в разрозненных предметных фактах и выстраивать их типологию. Аналогии был противопоставлен стоический принцип аномалии, который с той же степенью очевидности невозможно было игнорировать, наблюдая словесный материал. Учение об аналогии и аномалии разделило греческих грамматиков эллинистического

периода на два антагонистических лагеря. Как известно, центром аналогистов была Александрия, аномалистов — Пергам.

Александрийские филологи, и в частности Аристарх, один из основоположников учения об аналогии, пытались создать критерии, при помощи которых можно было бы оценивать грамматические явления. По их представлению, аналогия означала полную симметрию, сходство языковых явлений, которое они считали критерием истины при исследовании грамматической системы греческого языка.

Аномалисты, в свою очередь, утверждали, что среди языковых явлений нет полной схожести, что в языке существуют непоследовательность и неупорядоченность. Вместе с тем представители стоико-пергамской школы не отрицали правил о языке, т. е. фактов аналогии, и не требовали подчинения только «обычаю». Выступления аномалистов против Аристарха касались в основном чрезмерной и часто необоснованной унификации текста гомеровских поэм, на которой настаивали александрийские грамматики. Другим предметом дискуссии были правила склонения и спряжения, которые хотел унифицировать Аристарх.

ПОБЕДА АНАЛОГИИ

В этом споре победила сторона, теоретический вектор которой более вписывался в уже существующую парадигму описания языковых фактов, более отвечал исходным постулатам теоретизирования. Очевидно, что узус, которым руководствовались потерпевшие поражение аномалисты, невозможно было представить в систематическом виде на основании лингвистического материала, который был для античного языкознания единственным: предметные

слова. Именно эти предметные слова и свидетельствовали о нерегулярности, обнаруживали различные вариации, и, соответственно, любое теоретизирование узуса на основании слов в лучшем случае само собой распадалось на несистематические соответствия, обнаруживало всего лишь раздробленные части какого-то, возможно, не существующего целого. Закономерность, т. е. искомое в любой теоретической схеме, не могла быть констатирована непосредственно — а именно этого требовала презумпция узуса. Так, например, чтобы объяснить, почему греческий глагол εἶμι столь не похож по форме на, скажем, роίεων, хотя оба представляют собой формы 1-го л. ед.ч., в области языковой предметности невозможно было найти подходящих аргументов: эти глаголы не начинаются на одинаковые «буквы», не заканчиваются на одинаковые «буквы» и т. д. Сам узус, который необходимо здесь констатировать, не объясняет ничего, поскольку дальше констатации того, что «эти глаголы так говорят», продвинуться в поиске закономерностей оказывалось невозможным. Другими словами, отвечая на вопрос «почему?» в отношении каждого языкового явления, аномалист мог сослаться на «узус», но далее поиск причинности сам собою прекращался, поскольку для его продолжения были необходимы уже не предметные, а когнитивные критерии, от которых античное языкознание однозначно отказывалось. Поэтому в принятой модели описания узус как теоретическая абстракция не обладал достаточной объяснительной силой, в нем не было эвристического потенциала.

Совсем иное дело в случае аналогического подхода. Если признать, что все факты, засвидетельствованные текстами, правильные, и что понимаются они благодаря тому, что имеется присущая им системность, взаимоувязанность,

то остается только найти (или сконструировать) эту правильность и системность. Естественно, в синхроническом измерении сделать это часто оказывалось невозможным (на это указывали аномалисты), но в таких случаях предметный материал давал огромный набор возможностей для установления связей, т. е. вписывания в систему. Так, введение современных, очевидно не коррелирующих фактов языка к единообразным исчезнувшим формам, свойственным далекому прошлому, стало одним из главных средств обретения системности. В этом реализовался объяснительный потенциал аналогической модели. В случае указанных глаголов процедура могла быть, например, такой: эти глаголы только в настоящий момент столь различаются по своей форме, но на самом деле по своему происхождению представляют собой единую парадигму; в определенный момент развития языка для глаголов типа πορεύω стало использоваться окончание -ω, а тип εἰμί сохранил древнее окончание -μι. В ходе такого рассуждения системность языка как взаимозависимость предметных элементов воссоздается вполне отчетливо. При этом явно то, что эти формы в современном «узусе» (или в «узусе» Гомера) очевидно не коррелируют по своим предметным свойствам и что ни один реально произносящий или произносивший эти формы никакого предметного соответствия в них не видел и вообще их не сравнивал по этим признакам. Но признание того, что они имеют общее происхождение, строит искомую системность, вносит правильность (закономерность) в казалось бы бессистемное. Естественным образом, поиск в области древних форм — это уже не бесплодная констатация «узуса», а обнаружение всепроникающей связи слов между собой, в т. ч. связи слов во времени в едином организме языка. Так,

Дионисий Фракийский придерживался взгляда, что в языке существует определенный порядок, отдельные языковые формы складываются в сходные между собой группы. Он утверждал, что схожесть в языке отображает идеальное состояние, которое когда-то существовало.

ГРАММАТИКА ДИОНИСИЯ ФРАКИЙСКОГО

Дионисию Фракийскому, наиболее полно представляющему александрийскую грамматическую школу, принадлежит сочинение Τέχνη γραμματικῆ («Грамматическое искусство», или «Грамматика»), которое послужило образцом для многих последующих грамматик и стало одним из архетипов описательной модели для европейской традиции.

В первом разделе Дионисий пишет:

«Грамматика — это практическое знание (эмпирия) главным образом того, что говорится у поэтов и прозаиков»²⁵.

Грамматика, по мнению Дионисия, должна состоять из шести частей и преследовать такие цели: 1) умелое чтение согласно просодии; 2) объяснение поэтических тропов; 3) толкование трудных слов и выражений; 4) исследование этимологии слов; 5) подбор аналогий; 6) эстетическая оценка поэтических произведений. В духе той же практической направленности первым шагом описания в «Грамматике» Дионисия является изложение правил чтения, требований к чтению, понятия об ударении, пунктуации, классификация гласных и согласных, характеристика слогов. Аналитическая процедура, к которой прибегает Дионисий, отработана в своих формах.

²⁵ *Dionysii Thracis. Ars grammatica* / Ed. G.Uhlig. Lipsiae, 1883. P. 23.

Так, если Платон приходит к звукам и слогам в результате рассмотрения слов, то схема, которой следует «Грамматика», предполагает вполне закономерным восхождение от звуков к большим выделяемым единицам.

Вполне традиционно для античного языкознания принимаются Дионисием положения о членимости письменной речи на элементы, о слове как минимальной значащей части предложения и речи, об автономной способности слова образовывать связи в рамках предложения. В результате Дионисий дает определения, которые отличаются от стоических отсутствием логической проблематики, но оказываются столь же предметными в видении языкового объекта:

«Слово — это наименьшая часть связного предложения»;

«Предложение — соединение слов, выражающее законченную мысль»²⁶.

Таким образом, слово рассматривается как составная часть предложения, а предложение — как соединение слов, которые, обладая собственными свойствами и вступая в определенные отношения друг с другом, образуют законченные единства (см. ниже). При этом слово — столь же традиционно — является самостоятельным, т. е. имеет определенное значение вне предложения, и характеризуется Дионисием на основании присущих ему признаков. Так, например, имя для Дионисия — это

«склоняемая часть речи, обозначающая тело или вещь (бестелесную), например: “камень”, “воспитание”»²⁷.

²⁶ *Dionysii Thracis* Op. cit. P. 24.

²⁷ *Ibid.* P. 25.

В этом ключе наиболее значительное место в «Грамматике» отводится изложению учения о «частях» речи, которых Дионисий насчитывает восемь: имя (ὄνομα), глагол (ῥήμα), причастие (μετοχή), артикль (ἄρθρον), местоимение (ἀντωνυμία), предлог (πρόθεσις), наречие (ἐπίρρημα), союз (σύνδεσμος). Каждая из них обладает определенным набором акциденций, или признаков, которые отличают одну от другой. Так, акциденций имени пять: род (γένος), вид (εἶδος), образ при словообразовании (σχημα), число (ἀριθμός), падеж (πτῶσις), а у глагола — восемь: наклонения (ἐγκλίσεις), залого (διαθέσεις), виды (εἶδη), формы словообразования (σχήματα), числа (ἀριθμοί), лица (πρόσωπα), времена (χρόνοι), спряжения, глагольные классы (συζυγίαι).

Как и в случае многих стоических определений, в определениях Дионисия смешиваются предметный и когнитивный критерии. Это смешение делает приводимые классификации причудливее и расширяет возможности классифицирования. Так, в его грамматике выделяются два вида имен по их происхождению: первичные и производные²⁸ (формальный предметный критерий). Далее приводятся семь видов производных имен (когнитивный критерий): патронимическое в собственном значении образовано от имени отца, в несобственном — от имени предков; притяжательное — относится к понятию «владеть» и включает в себе имя владельца; имя в сравнительной степени — включает в себе сравнение одного «предмета» с другим однородным или же сравнение одного со многими разнородными; имя в превосходной степени —

²⁸ *Dionysii Thracis Op. cit P. 25.*

обозначает превосходство одного при сравнении со многими; ласкательное — указывает на особый оттенок основного имени при отсутствии сравнения; отыменное — образовано от имени; отглагольное — от глагола.

Одновременно Дионисий разрабатывает и другую классификацию имен по видам, в основе которой лежат как формальные, так и когнитивные признаки. Он насчитывает двадцать четыре вида имен и дает им определения: собственное — обозначает единичное существо; нарицательное — общее существо; прилагательное — одинаково присоединяется к собственным и нарицательным именам и обозначает похвалу или порицание; имя, имеющее отношение к чему-либо, т. е. находящееся в какой-то причинной связи с другим предметом или явлением, например: «отец — сын»; имя, якобы имеющее отношение к чему-либо, например: «ночь — день», «смерть — жизнь»; равноименное — одинаково употребляется при многих предметах (речь идет об именах, которые одинаковы по звуковому составу, но различаются по значению); соименное (синонимическое) — разными именами обозначается одно и то же понятие; имяносное — данное на основании какого-либо события, например: «Тисамен» (букв.: мститель); двуименное — два имени, предназначенные для одного собственного; наименное — прозвище (стоящее рядом с другим именем собственным и относящееся к тому же лицу); племенное — обозначает племя; вопросительное — употребляется в вопросах; неопределенное — употребляется в значении, противоположном вопросительному, например: «кто-то», «какой-нибудь» и др.; относительное (называется еще уподобляющим, указательным, соотносительным, соответствующим), например: «такой», «такой величины»; собирательное — обозначает

множество форм единственного числа; распределяемое — например: «каждый из двух»; объемлющее — обозначает определенное помещение или территорию, например: «роща», «партедон»; звукоподражательное — возникшее посредством подражания природному звучанию обозначаемого предмета; родовое — может разделяться на много видов, например: «животное», «растение»; видовое — называет понятие, выделенное из рода, например: «конь», «маслина»; порядковое — указывает на порядок (последовательность), например: «первый», «второй»; количественное — обозначает количество, например: «один», «два» и т. п.; абсолютное — называет понятие, само собой разумеющееся, например: «слово»; причастное — обозначает отношение к какому-либо предмету, например: «огненный», «дубовый».

В свою очередь, глагол определяется у Дионисия как «беспадежная часть речи, которая может принимать времена, лица, числа, выражает действие или страдание»²⁹. К акциденциям глагола он относит восемь признаков (см. выше). Выделенные Дионисием наклонения глагола (ἐγκλίσεις) не потеряли своей теоретической значимости и в современных грамматиках: изъявительное (ὀριστική), повелительное (προστακτική), желательное (εὐκτική), сослагательное (ὑποτακτική), неопределенное (ἀπαρέμφατος). То же следует сказать и о залогах: действие (ἐνέργεια), страдание (πάθος), середина (μεσότης) (последнее, по мнению грамматика, — это «залог, иногда выражающий действие, иногда — страдание»). Как и при рассмотрении имени, грамматик говорит о трех формах глаголов (простой, сложной и образованной от сложной) и трех числах (единственном, двойственном и множественном).

²⁹ *Dionysii Thracis. Op. cit. P. 31.*

Глагольные лица определяются так: первое лицо — от кого речь, второе — к кому речь, третье — о ком речь. Говоря о временах, Дионисий сначала называет три времени: настоящее (*ἐνεστώς*), прошедшее (*παρεληλυθώς*), будущее (*μέλλων*). Далее он выделяет четыре разновидности прошедшего времени: несовершенного вида (*παρατατικός*), совершенного вида (*παρακείμενος*), преждепрошедшее (*ὑπερσυντελικός*), неопределенное (*ἀόριστος*).

ФОРМАЛЬНЫЕ СХОДСТВА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТИПОЛОГИИ

Как видно, описательная процедура представляла собой поиск формального сходства в словах. Сходства объединялись в группы по тождеству значения, которое незаметно для исследователя определялось в ходе когнитивной процедуры, на основании существующей заранее известной коммуникативной типологии. Формальные признаки, констатируемые в предметном материале, обретали способность обозначать нечто только в том случае, если санкционировались невербальным значением. Так, сочетания букв *-ω*, *-εις*, *-ει*, подмеченные в конце слова, только тогда могли быть признаны окончаниями соответствующих форм глагола (те же буквосочетания встречаются, к примеру, и в словоформах существительных), когда на это указывали совпадения прочих обстоятельств, которые непосредственно в анализируемой форме не присутствовали, но присутствовали «по умолчанию» в поле зрения исследователя. В конечном счете отождествление данных буквосочетаний с окончаниями глагола становилось возможным на основании комплекса данных — мыслимых, но не отраженных в вербальном материале — которые, составляя всякий раз когнитивную систему координат

исследователя, давали ему возможность приписывать значения предметным элементам, выделяемым в целостном речемыслеительном процессе. В конечном счете, любой исследователь опирался на собственный коммуникативный опыт, достоянием которого было, в частности, владение современными ему вербальными моделями, их соотнесение с соответствующими невербальными ситуациями. Возведение к этим мыслимым ситуациям давало возможность истолковывать и систематизировать совершенно понятный, полупонятный и совершенно непонятный (с первого прочтения) вербальный материал древнего текста. Не последнюю роль в этом играло то обстоятельство, что александрийские филологи не выходили за рамки единой традиции и единой эволюционирующей культурной общности, в русле которой многое было самоочевидным и не нуждалось в теоретических обоснованиях.

Иную — наиболее чистую, несмешанную — ситуацию можно наблюдать в случае, когда исследователь приступает к описанию языка, который вовсе ему не знаком, так же как и вся культура, которую создают и в которую погружены говорящие на этом языке (нечто подобное видели перед собой создатели дистрибутивных описаний языков индейцев в начале XX-го в.). В таком положении исследователь находит для своей работы единственную опорную точку — видимую ситуацию и сопряженные с ней вербальные действия носителя языка. Значение звукокомплекса, произносимого говорящим, становится понятно исследователю только при установлении тождества между мыслимыми им, исследователем, типологическими коммуникативными ситуациями и теми ситуациями, в которых пребывает говорящий, наблюдаемый исследователем. Так, указание говорящего на самого себя является такой ситуацией. Это

действие, производимое посредством произнесения некоего звука, есть типологическое коммуникативное поведение, свойственное говорящему на любом языке. Только после установления тождества ситуаций — той, которая известна исследователю, и той, которую он наблюдает перед собой, — становится возможной констатация, что звукокомплекс, принятый для данного действия в языковом сообществе исследователя, соответствует звукокомплексу, принятому в языковом сообществе говорящего. Именно такая процедура, восходящая к тождеству невербальной ситуации, ведет затем к установлению тождества между предметными словами, например, [ja] и [aj] в английском и русском «языках». Соответственно, не само сочетание звуков (тем более графическое его отражение) становится понятным исследователю, а типология использования данного звукокомплекса, которая так или иначе — осознанно или неосознанно для исследователя — лежит в основании любой классификации языкового материала, в т. ч. словесного, сугубо предметного.

В том же смысле александрийские филологи, видя не вполне понятное слово древнего автора, неизбежно воссоздавали коммуникативную ситуацию произнесения (написания) этого слова и по мере того понимали и истолковывали данный не вполне понятный предметный феномен текста. В рамках единой культурной традиции определять тождество ситуаций для понимания слов было настолько естественно и просто, что этот процесс вовсе не замечался, вся невербальная часть понимания выносилась за скобки, и, соответственно, не возникало никакой необходимости вводить невербальные элементы смыслообразования в теоретическую схему. При этом именно она — невербальная типология — служила основанием для

понимания и, соответственно, для классификации. Заметить (вернее, *не заметить*) когнитивные основания — означало для европейской языковедческой традиции осознать (вернее, *не осознать*), насколько создаваемая модель описания языковых явлений может соответствовать (и в каких своих параметрах) описанию любого языка, — насколько она универсальна, является ли действительно типологической для «языка», в чем состоит принципиальное тождество всех языков, попадающих или имеющих попасть в поле зрения лингвистов.

Так или иначе, использование когнитивных и предметных критериев в их недифференцированном сочетании, незамечание подлинной этиологии вербальных фактов вели к тому, что грамматика, с одной стороны, становилась практическим руководством для подстрочного перевода, с другой, выстраивала приблизительную коммуникативную типологию, которая в некоторых своих чертах уже могла служить основанием для сопоставления языков. Так, с одной стороны, система падежей, т.е. система видоизменения предметных имен, созданная на основании греческого лингвистического материала, могла пригодиться в случае сопоставления только тех языков, которые имели частично похожее видоизменение имен. В то же время систему падежей следовало бы исключить из списка критериев корреляции, если бы сравнение производилось, скажем, между греческим и китайским языковым материалом. С другой стороны, такой критерий, как лицо глагола, уже гораздо более типологичен и универсален, поскольку для его конституирования используется типологическая коммуникативная ситуация: субъект речи говорит о себе, обращается к «тебе» или говорит о третьем лице. Такой коммуникативно-типологический критерий,

очевидно, уже мог быть использован в процедуре сопоставления греческого и китайского языкового материала. Возможно, если бы такое сопоставление было актуальным для александрийских грамматиков и в ходе этого сопоставления проверка на применимость подверглись бы как предметные, так и коммуникативные критерии, то античная грамматика была бы гораздо ближе к подлинным языковым универсалиям, объединяющим греческий и китайский «языки» (равно как и все остальные), т. е. к *когнитивной невербальной типологии коммуникации*.

ГРЕЧЕСКАЯ ГРАММАТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА

Вполне естественно, что контуры возводимой словесной системы определил греческий предметный материал, сообщивший ей свой характер и придавший свои предметные формы. В результате падежи, наклонения, рода, виды и пр. обрели статус механизмов языка, образуя вместе его систему. Другой — не предметной — организации словесного материала античное языкознание не знало. Даже когда впоследствии созданная схема была спроецирована на латинский языковой материал, она обрела лишь подтверждения своей правоты ввиду того, что последний в большинстве случаев прямо коррелировал с греческим. Отлитая в греческие формы модель описания языковых фактов сама собой должна была распространиться на любой материал, вовлекаемый в сферу рассмотрения европейской науки о языке, поскольку другой модели просто не было. Так, предметная сетка, набрасываемая впоследствии на языковые факты, чуждые греческой предметности, требовала (и до сих пор зачастую требует) суждений типа «В китайском языке нет времен» или даже «В китайском языке нет грамматики». Выход за пределы этой модели, поиск подлинных

универсалий растянулся на века. Наряду с явной практической ценностью этой схемы ее теоретическая значимость реализовывалась по мере того, насколько отчетливо и несмешанно проявлялась в ней когнитивная типология. Однако когнитивные ценности теории языка пришлось долго отвоевывать у предметности, собственно у словоориентированной грамматики.

Выход за пределы предметной схемы теоретически был более возможен в сфере синтаксиса. Так, еще Аристотель указывал на явное различие между двумя позициями слова — 1) в соединении и разъединении (т. е. в мыслимой им синтагме в составе предложения), и 2) в изолированном положении («само по себе»). Для Аристотеля эта констатация означала наличие «истинности или ложности» в первом случае и полное отсутствие истинности или ложности во втором. Следуя такому рассуждению, можно было заметить, что истинность и ложность, по крайней мере некоторых (частных) суждений, зависят от положения дел в сфере мыслимой кем-то невербальной реальности. Так, если допустить, что суждения могут быть истинными и ложными, то предложение «этот человек — Сократ» будет истинным или ложным в зависимости от того, что имеет в виду тот, кто его произносит. Соответственно, истинность или ложность лингвистического материала (т. е. суждения, которое, как уже было отмечено, после Аристотеля стало полноправным представителем лингвистических фактов) весьма тесно связаны с невербальной лично воспринятой действительностью. Отсюда оставался один шаг до констатации действий говорящего и лично мыслимых ситуаций, в которых коммуниканты задают (определяют) свойства лингвистических феноменов, — т. е. до признания коммуникативной типологии, или дектического

синтаксиса, в котором вербальность — «сама по себе» бессмысленная — приобретает значение. Однако, констатируя различие слова в предложении и слова самого по себе, сам Аристотель тотчас признавал, что «слово само по себе» тоже «обозначает нечто». При признании того «очевидного» факта, что речь состоит из слов, невозможно было тотчас не признать и то, что этими значениями, этим «нечто», заключенным в словах, и создаются предложения. Таким образом, получилось так, что учение о синтаксисе игнорировало два факта, а именно — что лингвистический материал зависит и связан с некой внешней для него реальностью и что эта реальность мыслимая. Источником любой устанавливаемой причинности оставался единственный лингвистический объект — слово. Вполне естественно, что античный синтаксис оказался *учением о связи слов между собой* и не стал мыслимым, ситуационным, дектическим — причиной смыслообразования и организации вербального материала.

Словесный синтаксис Аполлония Дискола

Аполлоний начинает свое изложение с определения предмета синтаксиса. Главной задачей он считает объяснение того, как отдельные слова объединяются в предложение.

Сначала Аполлоний перечисляет части речи в определенной последовательности, указывая, что эта последовательность не случайна. Далее он объясняет, что как буквы делятся на произносящиеся самостоятельно (гласные) и несамостоятельно (согласные), так и части речи делятся на самостоятельные и несамостоятельные³⁰. Самостоятельными он называет прежде всего имя и глагол,

³⁰ *Apollonii Dyscoli. De constructione libri quattuor. Rec. G. Uhlig. Lipsiae, 1910. P. 17.*

а затем — местоимение, употребляющееся вместо имени. Первое место отводится имени, глагол ставится на второе место, так как действие может происходить только тогда, когда есть действующее лицо. Подчеркивается, что местоимение, хотя и употребляется при глаголе вместо имени, однако не может занять второе место. Далее он рассматривает причастие как часть речи, имеющую свойства имени и глагола. На четвертом месте указывается артикль, поскольку он примыкает к трем предыдущим частям речи. На пятом месте — местоимение, на шестом — предлог. Последний может выступать и при именах, и при глаголах (как приставка). Наречию отводится место после предлога, потому что предлог относится к имени и глаголу, а наречие — только к глаголу. Союз занимает последнее, восьмое место, так как он только соединяет предыдущие части речи.

Приведя части, на которые делится речь, первую книгу Аполлоний посвящает в основном артиклю и его сочетаниям с именами. Объектом второй книги являются местоимения, их сочетаемость с другими частями речи. Третья книга начинается с учения о солецизмах (синтаксических ошибках). Далее речь идет об инфинитиве, глагольных наклонениях, залогах, о сочетаемости глаголов с другими частями речи, о синтаксических функциях косвенных падежей и др. Четвертая книга посвящена главным образом предлогам, их сочетаемости с другими частями речи, наречиям, а также некоторым другим вопросам.

Термин *σύνταξις* Аполлоний употребляет как для обозначения связи слов в предложении, так и для обозначения сочетания букв, слогов, связи отдельных слов путем словосложения. В первом случае имеются в виду отношения между словами, принадлежащими к различным частям речи: именами, глаголами, артиклями, наречиями и др.

Имя и глагол Аполлоний считает наиболее самостоятельными, жизнеспособными, употребительными. Все остальные части речи связаны с именем и глаголом. Он указывает, что артикли ставятся при именах, наречия выступают при глаголах, предлоги имеют отношение к именам и глаголам (как приставки). Далее, имена относятся к глаголам, глаголы — к именам и местоимениям, заменяющим имена. В другом месте Аполлоний подчеркивает, что местоимения употребляются вместо имен и с именами, причастия — вместо глаголов, вместе с глаголами и при других частях речи.

Таким образом, речь идет о связях, имеющих непосредственное отношение к его трактовке понятия *καταλληλότης*. Грамматик утверждает, что как соединение букв в слоги и слогов в слова не происходит случайно, а по определенным законам, так и слова соединяются в предложение на основе определенных закономерных связей, неправильности в связях слов обозначаются терминами *ἀκαταλληλότης* и *ἀκαταλληλία*.

Учение о сочетаемости слов является фундаментальным основанием синтаксической системы Аполлония. Он указывает на свойства слов присоединяться к другим рядам слов и вместе с ними создавать самостоятельное предложение. Вместе с тем все части речи делятся на слова с самостоятельным значением и слова, которые приобретают определенный смысл в сочетании с другими частями речи³¹. В центре внимания Аполлония все время остаются свойства и функции самих частей речи.

³¹ *Apollonii Dyscoli. De constructione libri quattuor. Rec. G. Uhlig. Lipsiae, 1910. P. 13, 4 sqq.*

ЗДАНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: КТО СТРОИТ?

Таким образом, первая очевидность («речь состоит из слов, обладающих своими значениями») приводит античных языковедов к созданию по-своему целостной модели описания языковых фактов. Действительно, если уподобить речь зданию, а слова — разнородному строительному материалу, использованному для его возведения, то окажется, что архитектурные формы здания целиком определяются свойствами и отношениями элементов (материала): камни, приблизительно равные по размеру и лежащие один на другом и рядом друг с другом, *создают* стены, отсутствие камней *образует* нишу, окно, внутреннее пространство и т.д. Однако эта схема может быть приемлемой только до тех пор, пока не станет, наконец, очевидным, что она явилась в результате недоговоренности: языковед только из стремления к простоте, вынужденно признал за камнями способность *самостоятельно действовать* — создавать порядок, структуру. В действительности не сам материал строит, не сам обтесывается, не сам складывается в арки и колонны — не сам создает конструкцию.

Для античного языкознания эта условная схема, признающая за материалом автономию, была достаточной, по-видимому, вследствие неполноты наблюдаемого языкового процесса: объектом для античных языковедов был уже созданный древний текст — «здание» уже существовало. Оставалось описать видимую связь элементов, ставших зданием, найти семантику употребленных в строительстве «камней». Именно этим занималась грамматика, отправляясь, как видно, в свое исследование с середины пути: созданию текста, который препарировался античными грамматистами, предшествовала намного более важная стадия, в которой содержалась (и содержится) вся истинная

причинность получаемого на выходе вербального феномена, и она с очевидностью состоит не в самостоятельных действиях строящих здание «каменной», а в свободных когнитивных процессах «строителей». Но этой стадией — стадией создания («порождения») текстов — занималась уже совершенно другая наука, риторика. Именно она невольно покрывала первую часть пути исследования языкового материала, видя перед собой как будто другой, «неграмматический», объект — действенность словесного текста, его влияние, актуальность, коммуникативную задачу, реализуемые любым «строителем» вербальной структуры, без которых в действительности никакие связи в вербальном материале сами собой не образуются.

ЦИЦЕРОН ОБ УМЕСТНОСТИ ВЕРБАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

Так, нехватка риторики в традиционной области грамматики ощутима в высказываниях Цицерона, на фоне разгоревшейся в Риме полемики между аналогистами и аномалистами. Замечательно, что именно оратор, непосредственно наблюдающий речь в действии, склоняется к аномалистической точке зрения. Так, в трактате «Об ораторе» (55 г. до н. э.) он защищал свое убеждение в том, что правильность латинской речи, различные пути к которой отстаивали спорящие стороны,

«приобретается научением в детстве... практикой живого разговора в обществе и семье, а закрепляется работой над книгами и чтением древних ораторов и поэтов» (III, 13, 48)³².

³² Цитаты из Цицерона приводятся по изданию: *Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве* / Пер. с латинского Ф.А. Петровского, И.П. Стрельниковой, М.Л. Гаспарова. М., 1972.

Из высказываний Цицерона недвусмысленно вытекало, что для овладения правильной речью совершенно не требуется какой-то особой грамматической учености — суждение, отстаиваемое аномалистами. Кроме того, Цицерон утверждал принцип уместности речи, принцип соответствия средств выражения задачам, содержанию и условиям общения:

«Ибо совершенно очевидно, что одного и того же рода речь не годится для любого дела, любого слушателя, любого лица, любого времени. Потому что особого звучания требуют дела уголовные и особого — дела гражданские и заурядные; и особого рода способ выражения нужен для речей совещательных, особый для хвалебных, особый для судебных, особый для собеседования, особый для утешения, особый для обличения, особый для рассуждения, особый для изложения событий. Существенно также и то, перед кем ты выступаешь: перед сенатом или перед народом, или перед судьями; много ли слушателей, или их мало, или их всего несколько человек, и каковы они. Ораторам надо принимать во внимание и свой собственный возраст, должность и положение; и, наконец, помнить, мирное ли время или военное, есть ли досуг или же надо торопиться» (III, 55, 210—212).

В данном случае Цицерон говорит об осознанных условиях появления вербального текста, из которых любой актуальный языковой материал вырастает и которые оратор (а равно и любой говорящий или пишущий) должен учитывать для успешности речевого акта, т. е. для адекватности вербального действия. Принцип уместности речи не только оправдывал, но и требовал привлечения самых разнообразных средств, известных Цицерону, включая синонимы и дублеты, архаизмы и неологизмы. В другом трактате «Оратор», который был написан в 46 г. до н. э., он

выступил против аналогизма еще более открыто и энергично. Критерию аналогии он противопоставил аномалистические критерии употребительности и благозвучия. Защищая правомерность использования дублетов, Цицерон, например, писал:

«И можно ли запрещать нам говорить *nosse, iudicasse* и требовать только *novisse, iudicavisse*, словно мы и не знаем, что в этом случае полная форма будет правильнее, а сокращенная употребительнее... Я не могу осудить и слов *scripsere alii rem*, я чувствую, что *scripserunt* — правильнее, но охотно следую обычаю, более приятному для слуха» (47, 157).

Интересно следующее признание Цицерона:

«Я и сам, зная, что наши предки употребляли в своей речи придыхания только при гласных, говорил, например, *pulcer, Cetegeus, triumphus, Carthago*; но потом, хотя и запоздало, требования слуха заставили меня отбросить правильность, и я уступил общему обыновению в разговоре, оставив свое знание при себе» (48, 160).

Но грамматика как наука о «словах» древних текстов не могла создаваться на основаниях, которые были изначально не грамматичны — «не писательны», не буквенны и не словесны. Соответственно, в грамматике, которая не могла поглотить риторику, но и не могла осознать «риторические» (т. е. дискурсивные, коммуникативные, когнитивные) основания организации любой вербальной структуры, принцип аналогии получил безраздельное господство. Для осознания аномалии и ее этиологии в области вербального материала у античного языкознания не было теоретических инструментов.

ГРАММАТИКИ-ЭПИГОНЫ

В результате на основе греческих александрийских грамматик в Риме создаются аналогические описания латинского языка, которым, вкупе со многими другими культурными фактами, суждено было сыграть роль образца для европейской традиции. Так, «Грамматическое руководство» Элия Доната более тысячи лет (до начала XV-го в.) служило основным учебником латинского языка в школах Европы. Переработанные издания Доната широко использовались и позже, до конца XVIII-го века.

Труд Доната сыграл основополагающую роль в процессе формирования школьных описаний и грамматической терминологии современных европейских языков. Его грамматика состояла из двух частей, первая из которых (*Arg̃s minor*) предназначалась для начального обучения, а вторая (*Arg̃s maior*) — для более углубленного. Последняя представляла собой полный курс грамматики и включала сведения не только по фонетике, письму, стихосложению и частям речи, но и стилистику — вынужденную уступку риторике, сделанную грамматикой.

Кроме того, среди более поздних трудов особое место занимают *Institutiones grammaticae* («Курс грамматики») Присциана (начало IV века). Это описание также создано на основе греческих грамматик, в особенности трудов Аполлония Дискола. В «Курсе» Присциана было восемнадцать книг. Более пяти книг посвящено имени, три — глаголу, две — местоимению, по одной книге — причастию, предлогу и союзу, одна книга — наречию и междометию. В отличие от традиционных римских руководств по грамматике, у Присциана уже нет стилистики, но зато в качестве самостоятельного раздела у него выделен синтаксис, который занимает две последние книги.

В определении предложения, как и во всех остальных вопросах грамматики, Присциан строго предметен:

«Предложение есть надлежащая упорядоченность слов, выражающая законченную мысль» (GL II, p. 53).

Описание структуры предложения дается в терминах частей речи. Следуя Аполлонию, Присциан считает имя и глагол главными частями речи, потому что только они, по его мнению, необходимы в завершенном предложении. Вопрос об иерархии имени и глагола решается им в пользу имени,

«потому что действовать и страдать свойственно субстанции, которую обозначают имена, а ими порождается свойство глагола, т. е. действие и страдание» (GL II, p. 53).

В Средние века «Курс» Присциана был после грамматики Доната самым распространенным учебником латинского языка. Около восьми веков (до XIV в.) он служил основой лингвистической теории в странах Западной Европы. Влияние Присциана на разработку грамматических вопросов было значительным еще в XVIII веке.

В целом Средние века в Европе знаменуются теоретическим застоєм в области языкознания³³. Латинская грамматика и грамматика вообще превратились в синонимы, поскольку единственным языком, который изучался в этот период, был латинский. Ввиду того, что этот язык был «мертвым» и стимула к развитию его «нормы» в культурной действительности, совмещенной с языковой, не наблюдалось, но при этом существовала потребность во

³³ Звегинцев В.А. Очерк истории языкознания до XIX-го в. // История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 1–2. М., 1964–65. Ч. 1. С. 22.

владении совершенным инструментом мысли и логики (латынь была универсальным языком науки и только практическое владение им открывало доступ к духовному или светскому образованию), грамматика этого языка воспринималась не столько в качестве «описывающей» (описательной), сколько «предписывающей». Этот характер грамматики подчеркивает и ее определение, обычное для латинских руководств: грамматика — «искусство правильно говорить и писать». Подобные же нормативные принципы лежали и в основе словарей.

Доминирующее положение латыни в средневековой науке о языке оказало сильное и длительное влияние на общий подход к изучению языков. Это влияние осуществлялось по трем линиям.

1. Латинский язык использовался главным образом для письменного общения (в XVI в. ученые Франции и Англии уже не понимали друг друга при устном общении на латинском языке)³⁴. Это обстоятельство привело к тому, что звуковая сторона языка (как естественный объект языкознания) оказалась в полном пренебрежении: изучались буквы, а не звуки.

2. Совмещение понятий латинской грамматики и грамматики вообще обусловило то обстоятельство, что при изучении других языков (и, в частности, живых языков крупных национальных образований Европы) на них стали механически переноситься нормы латинской грамматики. В результате этого установилась своеобразная слепота к специфическим особенностям конкретных и часто очень несхожих друг с другом языков.

3. Изучение латинского языка рассматривалось как

³⁴ *Звегинцев В.А.* Указ. соч. // Там же. С. 22.

логическая школа мышления. В более широком плане этот тезис привел к тому, что правильность грамматических явлений стала устанавливаться логическими критериями.

Наряду с развитием философии рационализма это создало предпосылки для возникновения так называемых универсальных или логических («философских») грамматик, которые стремились свести смысловую сторону различных языков к единому логическому знаменателю, полагая, что у всех языков должна быть общая логическая основа. Немалую роль при этом продолжал играть авторитет Аристотеля. Это привело к установлению общих для всех языков положений, окончательному подчинению грамматики логике и выделяемому под логическим углом зрения принципу целесообразности, истолкованию слова как внешнего (и только в своей звуковой форме варьирующего от языка к языку) знака понятия, единого в своей сущности для всех языков, отождествлению членов предложения с логическими категориями субъекта и предиката, а суждения с предложением и т. д. Образцом грамматики, построенной на этих предметных принципах, как известно, явилась знаменитая «Грамматика универсальная и рациональная», составленная в 1660 г. Клодом Лансло и Арно в аббатстве Пор-Рояль (известная под названием грамматики Пор-Рояля). Грамматика Пор-Рояля, ставившая своей целью установить «естественные основы искусства речи» и «принципы, общие всем языкам», вызвала многочисленные подражания.

1.5. Ф. ДЕ СОССЮР:

SUMMA LINGUISTICAE ANTIQUAE

Модель описания лингвистических фактов, предложенная Фердинандом де Соссюром и переданная его учениками в знаменитом «Курсе общей лингвистики», оказала наиболее заметное влияние на языкознание прошлого века. Несмотря на внешнюю новизну некоторых его позиций в отношении к предшествующей научной традиции, его взгляды нельзя в полном смысле именовать революционными, поскольку их внутренняя конструкция, или их основополагающие «мыслимые подлежащие», не претерпели никаких изменений по сравнению с античными. Можно сказать, что соссюрианская схема была действительной и в значительной степени «очевидной» по мере того, насколько предложенные швейцарским лингвистом положения совпадали с «естественной» моделью, созданной античным языкознанием. Скорее, взгляды Соссюра следует признать обновлением и суммированием античных представлений о языке, выведением на новый терминологический уровень прежних неточностей и недоговоренностей, которые были вполне свойственны традиционной модели. Новое звучание в его схеме приобретают старые мотивы: предметность элементарного состава «языка», логичность механизма смыслопорождения в процессе взаимодействия предметных элементов, системность их отношений в «языке».

ПРЕДМЕТНОЕ СЛОВО — ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ

Прежде всего, как и в случае античной модели, в основании схемы Соссюра лежит главный объект — слово, альфа и омега традиционной лингвистической дескрипции:

«Слово, несмотря на трудность определить это понятие, есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто центральное во всем механизме языка»³⁵.

Во всех рассуждениях, поясняющих элементарный уровень «языка», основополагающие методы и подходы (язык, диахрония—синхрония, означающее—означаемое, знак, его произвольность и множественность, изменчивость и стабильность и др.), — везде слово используется в качестве естественного образца всей номенклатуры, выделенной в науке о языке:

«Слово может выражать идеи довольно далекие, и вместе с тем его тождество не оказывается серьезно нарушенным (ср. «принимать гостя» и «принимать участие», «цвет яблони» и «цвет аристократии» и т. д.)»³⁶;

«Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна, или, иначе говоря, поскольку под знаком мы разумеем целое, вытекающее из ассоциации означающего и означаемого, мы можем сказать проще: языковой знак произволен. Так, идея «сестра» никаким внутренним отношением не связана со сменной звуков s-б-г (*soeur*), служащей во французском языке ее «означающим»; она могла бы быть выражена любым другим сочетанием звуков; это может быть доказано различиями между языками и самым фактом существования различных языков»³⁷.

«Значимость любого термина определяется его окружением; даже в отношении такого слова, которое означает «солнце», нельзя непосредственно установить его значимость, если не обозреть того, что его

³⁵ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Пер. А.М. Сухотина. Цит. по изд.: История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях., Ч. 1—2. М., 1964—65. Ч. 2 С. 395.

³⁶ Там же. С. 393.

³⁷ Там же. С. 372.

окружает; есть такие языки, в которых немислимо выражение «сидеть на солнце»³⁸.

«Мы называем знаком комбинацию понятия и акустического образа, но в расхожем употреблении этот термин обычно обозначает только акустический образ, например, слово (дерево и т. д.). Забывают, что если дерево называется знаком, то лишь постольку, поскольку в него включено понятие «дерево»³⁹.

«Такие понятия, как «дом», «белый», «видеть» и т. п., рассматриваемые сами в себе, относятся к психологии; они становятся языковыми сущностями лишь при ассоциации с акустическими образами; в языке понятие есть качество звуковой субстанции, а определенное звучание есть качество понятия»⁴⁰.

Предметность представляет для Соссюра аутентичный признак лингвистического материала:

«Входящие в состав языка знаки суть не абстракции, но реальные объекты; их именно и их взаимоотношения изучает лингвистика; их можно назвать конкретными сущностями этой науки»⁴¹.

«Языковая сущность (языковой факт) определяется полностью лишь тогда, когда она отграничена, отделена от всего, что ее окружает в звуковой цепи. Эти-то отграниченные сущности, или единицы, и противоплагаются друг другу в механизме языка»⁴².

«Языковая единица не обладает никаким специальным звуковым характером, и единственным ее определением может быть следующее: отрезок звучания, являющийся, с исключением того, что ему предшествует, и того, что за ним следует, в речевой цепи «означающим» некое понятие»⁴³.

³⁸ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 400.

³⁹ Там же. С. 371.

⁴⁰ Там же. С. 391.

⁴¹ Там же. С. 390.

⁴² Там же. С. 391.

⁴³ Там же. С. 392.

Единицы смыслообразования предметны

По уже известной в античности схеме смыслообразование в речи происходит, согласно Соссюру, благодаря словам (или «языковым единицам»), в которых представлены понятия. Одновременно они, слова, — это знаки, представляющие единство обозначаемого и обозначающего, тождественные и обязательные для всего языкового коллектива:

«Языковая единица... — отрезок звучания, являющийся, с исключением того, что ему предшествует, и того, что за ним следует, в речевой цепи «означающим» некое понятие»⁴⁴.

«О принципе линейности сплошь и рядом не упоминают вовсе, по-видимому, именно потому, что считают его чересчур простым; между тем это принцип основной, и последствия его неисчислимы. От него зависит весь механизм языка. В противность зрительным (визуальным) означающим (морские сигналы и т. п.), которые могут одновременно состоять из комбинаций в нескольких измерениях, акустические означающие располагают лишь линией времени; их элементы следуют один за другим, образуя цепь»⁴⁵.

«Мы предлагаем сохранить слово *знак* для обозначения целого [«слова»] и заменить термины *понятие* и *акустический образ* соответственно терминами *означаемое* и *означающее*; эти последние два термина имеют то преимущество, что отмечают противопоставление, существующее как между ними, так и между целым и ими как частями этого целого. Что же касается термина *знак*, то мы довольствуемся им, не зная, чем его заменить, так как обиходный язык не дает никакого иного возможного термина»⁴⁶.

⁴⁴ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 392.

⁴⁵ Там же. С. 374.

⁴⁶ Там же. С. 372.

«Если по отношению к изображаемой им идее означающее представляется свободно выбранным, то, наоборот, по отношению к языковому коллективу, который им пользуется, оно не свободно, оно навязано. У общественной массы мнения не спрашивают, и выбранное языком означающее не может быть заменено другим»⁴⁷.

СЛОВЕСНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ, ЯЗЫКОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

Вместе с учением об обозначаемом и обозначающем Соссюр исповедует и другой основополагающий тезис античной языковой теории: *мышление вербально*, более того, язык является средством, без которого мысль не может быть различена и оформлена:

«В психологическом отношении наше мышление, если отвлечься от его выражения словами, представляет собою бесформенную и смутную массу. Философы и лингвисты всегда сходились в том, что без помощи знаков мы не умели бы с достаточной ясностью и постоянством отличать одно понятие от другого. Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто не разграничено. Нет установленных идей, и нет никаких различений до появления языка»⁴⁸.

Как видно, речь идет о том, что язык помогает мышлению обрести форму, прийти из состояния хаоса, бесформенности и смутности к дискретности, точности, оформлению. Языку, таким образом, Соссюр отводит едва ли не основную роль в процессах мышления, восприятия, т.е. в разумности человека: после воздействия языка на сознание (последовательность, само собой, условна) сознание и язык обретают самоидентичность, будучи не в состоянии добиться тождества по одиночке:

⁴⁷ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 374.

⁴⁸ Там же С. 396.

«Характерная роль языка в отношении мысли не заключается в создании материального звукового средства для выражения идей, но в том, что он служит посредником между мышлением и звуком, и притом таким образом, что их объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц. Мышление, хаотичное по природе, принуждено уточняться, разлагаясь. Нет, таким образом, ни материализации мыслей, ни спиритуализации звуков, а все сводится к тому в некотором роде таинственному явлению, что «мысль-звук» требует наличия делений и что язык вырабатывает свои единицы, оформляясь между двумя бесформенными массами»⁴⁹.

По-видимому, в такой трактовке язык подобен стоическому логосу, который все приводит к сочетанию и тождеству, если это «все» локализовать в сознании человека. И сам язык при этом становится тем, что доступно наблюдению и анализу. Такое понимание языка, едва ли не означающее его фетишизацию, со всей очевидностью встает в один ряд с речемыслительным единством стоиков, которые ставили знак равенства между мышлением и словом, считая возможным изучать мышление по вербальным структурам — т. е. также мыслили «язык» и мышление неразделимыми. По-видимому, Соссюр, утверждая закрепленность понятий за словами и обязательность этого закрепления для членов языкового коллектива, не видел никаких поводов к тому, чтобы разрушать традиционный альянс между словом и мышлением: слова являются единицами языка, за ними закреплены понятия, понятия — это то, чем ползуется в качестве единиц мышление. Соответственно, единицы языка есть единицы мышления, язык (почти) идентичен мышлению.

⁴⁹ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 396.

СИСТЕМНОСТЬ «ЯЗЫКА»

В понятии «язык» центральное значение имеет системность, понимаемая как регулярные отношения между знаками:

«Язык образует систему... Эта система представляет собой сложный механизм»⁵⁰.

«Язык есть система знаков, выражающих идеи, а следовательно, его можно сравнивать с письмом, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т.д. Он только наиважнейшая из этих систем»⁵¹.

«Хотя каждый отдельный язык образует замкнутую систему, все они предполагают наличие некоторых постоянных принципов, с которыми мы неизменно сталкиваемся, переходя от одного языка к другому»⁵².

«Язык является системой, исключительно основанной на противопоставлении его конкретных единиц»⁵³.

Языковой знак — единство означающего и означаемого

Знак, или «единица языка», элемент системы, представляет собой единство обозначающего и обозначаемого, или понятия и акустического образа, причем для членов языкового коллектива их связь является обязательной:

«Языковой знак связывает не вещь и имя, но понятие и акустический образ»⁵⁴.

«Мы называем знаком комбинацию понятия и акустического образа»⁵⁵.

⁵⁰ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 37.

⁵¹ Там же С. 365.

⁵² Там же С. 389.

⁵³ Там же. С. 392.

⁵⁴ Там же. С. 371.

⁵⁵ Там же. С. 371.

«Язык [представляет собой] систему отдельных знаков, соответствующих отдельным понятиям»⁵⁶.

«Мы предлагаем сохранить слово «знак» для обозначения целого и заменить термины «понятие» и «акустический образ» соответственно терминами «означаемое» и «означающее»; эти последние два термина имеют то преимущество, что отмечают противопоставление, существующее как между ними, так и между целым и ими как частями этого целого»⁵⁷.

[Слово «произвольный» по отношению к знаку] не должно пониматься в том смысле, что означающее зависит от свободного выбора говорящего... Индивид не властен внести и малейшее изменение в знак, уже установившийся в языковом коллективе»⁵⁸.

Античный лингвистический объект

Таким образом, Соссюр фактически видит перед собой тот же лингвистический объект, что и его древние предшественники: слово как основную единицу языка, его конкретный предметный облик, тесную связь конкретного «языка» и мышления, слова и понятия, две стороны единиц языка («знаков») — означающее и означаемое, центральную роль слова в смыслопорождении, регулярную взаимосвязь единиц («системность» их отношений), стабильность отношений элементов в системе, т. е. отношений между различными сущностями в «языке», в т. ч. словами, и др. Как видно, данные принципиальные позиции Соссюра были общепризнанными для европейской модели «языка», по крайней мере, со времен стоиков, и эти «очевидные» положения вполне удовлетворили швейцарского лингвиста в трактовке древних. Именно эти позиции

⁵⁶ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 363.

⁵⁷ Там же. С. 372.

⁵⁸ Там же. С. 372.

составляют его «мыслимые подлежащие», интегрирующие затем новую часть его теоретической конструкции, которая, в свою очередь, создается как ответ на столь же очевидные — ко времени Соссюра — теоретические вопросы. Его схема, по существу, представляет собой последнюю значительную попытку приспособить античные априорные взгляды на вербальный материал к противоречащей им реальности речемыслительного процесса. В то же время возникающие перед Соссюром вопросы свидетельствуют о встрече европейского языкознания со второй очевидностью, которая впоследствии радикально изменит модель описания, в том числе сами априорные подходы к материалу.

ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА: ПРИСПОСОБИТЬ МАТЕРИАЛ К ИНСТРУМЕНТАРИЮ

Итак, первая проблема, которую Соссюр, оставаясь на античных позициях, пытается разрешить, состоит в том, что словесный материал естественного речемыслительного процесса всегда сопряжен с целым комплексом явлений и поэтому входит в компетенцию различных наук. В этом связанном состоянии, в единстве с чем-то «неязыковым», он не имеет, как считает Соссюр, собственно лингвистической специфики, становится неудобным для исследования, не имеет в себе единства и цельности:

«Взятая в целом, речевая деятельность многоформенна и разносистемна; вторгаясь в несколько областей, в области физики, физиологии и психики, она, кроме того, относится и к индивидуальной, и к социальной сфере; ее нельзя отнести ни к одной из категорий явлений человеческой жизни, так как она сама по себе не представляет ничего единого»⁵⁹.

⁵⁹ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 362.

«Если изучать явления речи одновременно с нескольких сторон, объект лингвистики выступает перед нами как беспорядочное нагромождение разнородных, ничем между собою не связанных явлений. Так поступать — значит распахивать двери перед целым рядом наук: психологией, антропологией, нормативной грамматикой, филологией и др., которые мы строго отграничиваем от лингвистики, но которые в результате методологической ошибки могли бы включить речевую деятельность в сферу своей компетенции»⁶⁰.

«...Речевая деятельность в целом имеет характер разнородный»⁶¹.

Другими словами, если под объектом лингвистики понимать все то, что действительно говорится и пишется (а это всегда и везде имеет «комплексный» характер), то такой объект, согласно Соссюру, оказывается лингвисту не нужным. Как видно, реальность речемыслительного процесса — а именно ее, оторвавшись от древних текстов, вдруг заметил исследователь — изначально не укладывается в априорные понятия о предмете языкознания, существующие со времен античности. И наоборот, вербальный материал, всегда и исключительно составлявший предмет языкознания, оказался чем-то иным по отношению к речемыслительной реальности.

PRIMUS EX MACHINA DEUS: «ЯЗЫК»

В этой ситуации Соссюр предпочитает выбрать сторону традиции, т.е. пойти вопреки второй очевидности, — он постулирует идеальный объект «язык», онтология и оправдание которого целиком содержатся не в реальности, а в античной схеме описания языкового феномена — только

⁶⁰ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 362.

⁶¹ Там же. С. 364.

там словесный материал рассматривался как нечто само-
довлеющее и автономное:

«По нашему мнению, есть только один выход из
всех этих затруднений: надо с самого начала встать на
почву “языка” и его считать нормой для всех прочих
проявлений речевой деятельности»⁶².

«Единственным и истинным объектом лингвистики
является язык, рассматриваемый в самом себе и для
себя»⁶³.

Эта констатация, как видно, следует вполне бездока-
зательно, скорее, из необходимости разом разрешить все
неудобные для исследователя коллизии, подобно тому как
появлялся на сцене античный *deus ex machina* с тем, чтобы
снять все неразрешимые конфликты, возникшие в ходе
драмы. Но в некотором смысле доказательств этого поло-
жения и не требовалось, поскольку понятие «язык» было
очевидно всем — древним и новым — предшественникам
Соссюра. Действительно, если слова имеют свои значения,
индивидуальные представители языкового коллектива
пользуются этими словами и понимают при этом друг дру-
га, то сложно не признать, что они пользуются каким-то
особым ни на что не похожим словесным инструментом,
чуждым любой иной области, — «языком»:

«В доказательство разумности изучения речевой дея-
тельности, начиная именно с категории языка, можно
привести тот аргумент, что способность — безразлич-
но, природная она или нет — артикулировать слова
осуществляется лишь с помощью орудия, созданно-
го и предоставляемого коллективом; поэтому-то и
можно утверждать, что единство явлений речи дано
в языке»⁶⁴.

⁶² Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 362.

⁶³ Там же. С. 410.

⁶⁴ Там же. С. 364.

Говорить и понимать невозможно, считает Соссюр, если между говорящими не существует чего-то единого. А говорят и понимают они словами. Соответственно, в словах должна содержаться причина искомой самождественности — главного условия понимания. Так, если один член языкового коллектива понимает слово иначе, нежели другой, то пользоваться словами для понимания с очевидностью становится невозможно, поэтому следует признать, что в словах, которыми говорят, содержится самождественная система, одна и та же для всех членов языкового коллектива, т. е. «язык»:

«Язык необходим, чтобы речь была понятна и производила все свое действие»⁶⁵.

Кроме того, если нет какой-то самождественной одинаковой для всех системы предметных элементов, то исследователю попросту нечего изучать: он в таком случае становится созерцателем миражей собственного, но не общего сознания, своих, но не общезначимых понятий. Поэтому при отделении языка от речи («язык есть речевая деятельность минус речь») вопрос о самой возможности описания и об удобстве этой процедуры представлялся Соссюру немаловажным:

«По нашему мнению, есть только один выход из всех этих затруднений: надо с самого начала встать на почву «языка» и его считать нормой для всех прочих проявлений речевой деятельности. В самом деле, среди прочих двойственных понятий только одно понятие языка, по-видимому, допускает самодовлеющее определение и дает надежную опору для развития исследовательской мысли»⁶⁶.

⁶⁵ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 368.

⁶⁶ Там же. С. 362.

«Язык, наоборот [*в отличие от разнородной речевой деятельности* — А. В.], есть замкнутое целое и дает базу для классификации. Отводя ему первое место среди всех и всяких явлений речевой деятельности, мы тем самым вносим естественный порядок в такую область, которая иначе разграничена быть не может»⁶⁷.

«Язык, обособленный от речи, составляет предмет, доступный обособленному же изучению. Мы не говорим на мертвых языках, но мы отлично можем овладеть их языковым организмом. Не только наука о языке может обойтись без прочих элементов речевой деятельности, но она вообще возможна лишь, если эти прочие элементы к ней не примешаны»⁶⁸.

Таким образом, путем введения абстракции «язык», его своеобразной деификации, Соссюр утверждает — с новой силой после античных учений о логосе, синтаксисе, правильности и др. — самотождественный лингвистический объект, всецело искусственный и удобный для исследователя по мере своей искусственности. Он целиком предметен, конкретен и системен. Именно поэтому его изучение целиком совпадает с античной (и вполне тождественной ей средневековой, а также современной для Соссюра) практикой — т.е. входит в компетенцию науки *грамматики*, которая занимается конкретными сущностями и определяет свой предмет в зависимости от причастности вербальному элементу «языка»:

«В самом деле, если отвлечься от множества отдельных движений, необходимых для реализации речи, всякий акустический образ оказывается... суммой ограниченного числа элементов или фонем, могущих в свою очередь быть изображенными на письме

⁶⁷ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 363.

⁶⁸ Там же. С. 364.

при помощи соответственного числа знаков. Вот эта самая возможность фиксировать относящиеся к языку явления и приводит к тому, что верным его изображением могут служить словарь и грамматика, ибо язык есть склад акустических образов, а письмо — осязаемая их форма»⁶⁹.

«Как поступали те, кто изучал язык до основания лингвистической науки, т.е. «грамматики», вдохновлявшиеся традиционными методами? Любопытно отметить, что их точка зрения по занимающему нас вопросу абсолютно безупречна. Их работы ясно нам показывают, что в их намерении было описывать состояния; их программа строго синхронична. Например, так называемая грамматика Пор-Рояля пытается описать состояние французского языка при Людовике XIV и определить составляющие его элементы. Ей для этого не требуется средневековый язык; она строго следует горизонтальной оси и никогда от нее не отклоняется. Такой метод верен...»⁷⁰.

Итак, проблему комплексности речемыслительного процесса Соссюр снимает решительно и бескомпромиссно: он признает лингвистическую нереальность этого процесса, его никчемность для науки о языковых явлениях, утверждаясь на почве античных представлений о языке как о всецело системном и предметном феномене.

ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА: ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИЗМЕНЧИВОСТИ «ЯЗЫКА»

Вторая проблема, которую с позиций античных априорных установок пытается разрешить Соссюр, осознается, по-видимому, как противоречие в сказанном: если язык представляет собой систему предметных элементов, а они, как известно, постоянно и повсеместно изменяют свой

⁶⁹ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 365.

⁷⁰ Там же. С. 383.

облик и способ связывания друг с другом — во времени, пространстве, среди различных говорящих, групп, в различных ситуациях и т. п., — то рассуждать о них как о самоидентифицируемых феноменах становится в принципе невозможным. Так, например, изучать древнегреческий язык, который использовался в письменной и устной формах на протяжении многих сотен лет, означает воссоздавать все что угодно, но только не единую систему слов и их связей: они будут все время разными, словарь и комбинаторные вариации единиц будут едва ли не бесконечными и уж наверняка не составят четкой симметричной структуры. То же самое следует признать и в отношении менее протяженных периодов, произвольно выделяемых в качестве границ рассматриваемых феноменов. Соответственно, говорить о едином языке как об эволюционирующей во времени системе оказывается невозможным: рассматриваемое состояние «языка» никогда не образует стабильной системы и всегда выглядит деформированным в сравнении с его идеальным системным обликом, каким бы он ни был и на каких бы стадиях ни констатировался, будь то два века или два дня назад, отсчитывая от момента процедуры исследования. Именно поэтому в истории языкового материала, где можно обнаружить лишь процесс постоянного видоизменения, Соссюр констатирует разрозненность и хаос, и именно поэтому весь вербальный материал, представленный текстами на протяжении, скажем, от Гомера до Платона, — это не соссюровский «язык»:

«Если он [лингвист] примет диахроническую перспективу, то увидит отнюдь не язык, а только ряд видоизменяющих его явлений»⁷¹.

⁷¹ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 384.

«Так, например, производя синхроническое исследование старофранцузского языка, лингвист оперирует такими фактами и принципами, которые ничего не имеют общего с теми, которые ему открыла бы история этого же языка с XIII до XX в.; зато они сравнимы с теми фактами и принципами, которые обнаружались бы при описании одного из нынешних языков банту, греческого аттического языка за 400 лет до н. э. или, наконец, современного французского»⁷².

Таким образом, получается, что 1) «языка» в диахроническом измерении обнаружить невозможно, и одновременно 2) любой «язык» находится в диахроническом измерении, или измерен диахронией: так, например, в процедуре установления системности тот или иной лингвистический факт сравнивается с параллельным ему феноменом — уже известным, т. е. уже существующим на диахронической оси, — и на основании этого сравнения исследователь констатирует видоизменения или, наоборот, *status quo* в системе «языка» в определенной точке диахронической оси. Вполне очевидно, что само состояние системы «языка» (ее стабильность или видоизменения) определяется диахронически, на каком-то временном отрезке существования системы, в постоянно длящемся процессе. Другими словами, если диахронического измерения нет, то данный рассматриваемый феномен исследователю не с чем сравнивать и, соответственно, невозможно вынести суждение о том, видоизменяет он систему или, наоборот, вполне безобиден для ее спокойствия и цельности. Если же не с чем сравнивать (т. е. если полностью изгнать диахронический подход), то, выражаясь в терминах Соссюра, окажется, что любой факт «речи» автоматически становится

⁷² Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 389.

фактом «языка»: если нечто было произнесено (написано) и понято в языковом коллективе — каким бы оно ни было, то это «нечто» — системно и правильно, т. е. принадлежит «языку».

Таким образом, системность «языка», с одной стороны, и фактор времени, с другой, явно конфликтуют в рамках единой описательной схемы. Как же спасти незбылемый очевидный «язык», ту самую античную систему слов, якобы, благодаря которой говорящие говорят и понимают друг друга, но которая не может быть констатирована во времени? Другими словами, что делать с постоянно длящимся во времени видоизменением предметного элемента языка — процессом, который не позволяет говорить о какой-то единой самотождественной в своем предметном облике системе?

EX MACHINA DEUS SECUNDUS: ДИАХРОНИЯ И СИНХРОНИЯ

В ответ на это в схеме Соссюра появляется другой *deus ex machina*, новый абстрактный принцип, а именно — непроходимое различие между диахронией и синхронией, что позволяет полностью снять вопросы времени, а следовательно, изъять диахронию как главный фактор, перечеркивающий системность вербального материала:

«Синхроническая лингвистика займется логическими и психологическими отношениями, связывающими сосуществующие элементы и образующими систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием.

Диахроническая лингвистика, напротив, будет изучать отношения, связывающие элементы в порядке последовательности, не воспринимаемой одним и тем

же коллективным сознанием, — элементы, заменяющиеся одни другими, но не образующие системы»⁷³.

«Противопоставление двух точек зрения — синхронической и диахронической — совершенно абсолютно и не терпит компромисса»⁷⁴.

«Синхронический «феномен» ничего общего не имеет с диахроническим; первый есть отношение между существующими одновременно элементами, второй — смена во времени одного элемента другим...»⁷⁵

Таким небезупречным способом Соссюр достигает сохранения главного постулата античной лингвистики («автономные слова благодаря своим свойствам образуют автономную систему, которую можно изучать, констатируя значения предметных элементов этой системы»), когда фактор времени, т. е. изменчивости предметного элемента языкового процесса, ставит под сомнение постулат системности, а следовательно, и сам «язык».

ТРЕТЬЯ ПРОБЛЕМА: РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЯМИ — СОБСТВЕННЫМ И СВЯЗАННЫМ

Опираясь на понятие «языка» и, соответственно, системности, швейцарский лингвист, тем самым, констатирует стабильность связей между предметными элементами в структуре «языка». В то же время невозможно не заметить, что значение элемента в системе неидентично какому-то собственному его значению. Более того, для некоторых элементов «языка» какое-то самостоятельное значение просто невозможно представить, несмотря на то, что элемент явно использован как строительный материал «языка». Так, до тех пор пока, например, звук [a]

⁷³ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 389.

⁷⁴ Там же. С. 384.

⁷⁵ Там же. С. 386.

рассматривается в качестве автономной единицы, исследование этого элемента самого по себе может привести только к заключению, в котором уже Платон подозревал смехотворность: звук [а] непременно стал бы обозначать «открытость», «красность», «белость», «круглость», «квадратность» и т.п.; следовало бы признавать, что «открытости» и «круглости» вместе с другими звуками, несущими в себе «закрытости», «напряженности», «спокойствия», «тонкости», «проходимости» и пр., образуют слова-понятия, в которых представлен весь набор «свойств», по числу звуков в этих словах. Ввиду полной абсурдности такого заключения сам Соссюр констатирует произвольность знака, т. е. утверждает несвязность звука [а] с «открытостями» и «квадратностями» и, соответственно, не наделяет звуки никакими положительными свойствами. Нечто подобное происходит и со словами, что замечал уже Аристотель. В том же смысле Соссюр констатирует, что значение слова есть не то же самое, что их место в системе — т. е. позиция (сочетаемость) с другими словами:

«Этот принцип [принцип различия — *A.V.*] носит столь существенный характер, что он действует в отношении всех материальных элементов языка, включая фонемы. Каждый язык образует слова на базе своей системы звучащих элементов, из коих каждый является четко отграниченной единицей и число коих точно определено. И каждый из них характеризуется не свойственным ему положительным качеством, как можно было бы предположить, но исключительно тем, что он не смешивается с другими»⁷⁶.

Таким образом, признание стабильности связей в системе и нетождественность значения («понятия») этим

⁷⁶ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 402.

связям создают теоретическую ситуацию, которая снова грозит обернуться противоречием: с одной стороны, в соссюрской схеме «языка» основную роль играют «знаки» — единства «обозначаемых» и «обозначающих», обязательные для членов языкового коллектива, или «конкретные» сущности языка, *имеющие значения* и составляющие систему (в качестве примеров знаков у Соссюра фигурируют слова и фонемы, см. цитаты выше), с другой стороны, эти элементы, подобно звуку (фонеме) [a], *не могут иметь положительного значения или, подобно слову, имеют не то же значение, что в системе* и, соответственно, ни первое, ни второе не могут что бы то ни было однозначно («механически») составлять. Совершенно явно, что в теоретической схеме с таким набором изначальных подлежащих, приводящих к необходимости нарушить закон исключенного третьего, не обойтись без вмешательства силы, посторонней для созданной схемы.

Такой «силой» в коммуникативной действительности, нужно признать, является набор факторов, которые не входят в соссюрское понятие «языка», но совершенно необходимы для более адекватной теории речевого процесса, в т. ч. для объяснения составляющих речь элементов в отдельности и совокупности, — т. е. весь когнитивный комплекс невербальной дектической типологии, в которой вербальные модели реализуют действия субъекта — говорящего или пишущего. Однако для Соссюра, как и для любого его древнего и нового единомышленника, нигде, кроме как в языковой предметности, наличие лингвистического объекта не предполагалось. Соответственно, задача свелась к тому, чтобы заставить «конкретные» знаки (а не что-то еще) приобрести значения *из себя самих* и *не из себя самих* одновременно.

**EX MACHINA TERTIUS DEUS:
ЗНАЧЕНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ**

Вследствие острой необходимости снять указанную апорию появляется «диакритическая» теория языковой значимости, представляющая собой попытку завуалировать противоречивость вопроса о смыслообразовании в естественном лингвистическом материале.

Каждому элементу Соссюр приписывает конкретный набор валентностей, которые и составляют значимость выделенного элемента:

«Входя в состав системы, слово облечено не только значением, но еще главным образом значимостью, а это уже совсем другое.

Для подтверждения этого достаточно немногих примеров. Французское слово «mouton» может совпадать по значению с русским словом «баран», но оно не имеет одинаковой с ним значимости, и это по многим основаниям, между прочим, потому, что, говоря о приготовленном и поданном на стол куске мяса, русский скажет «баранина», а не «баран». Различие в значимости между *баран* и *mouton* связано с тем, что у русского слова есть наряду с ним другой термин, соответствующего которому нет во французском языке»⁷⁷.

Наличием определенного числа таких валентностей каждый элемент отличается от другого и по мере того определяется как нечто особое, не похожее на другие:

«Материальная сторона значимости образуется исключительно из отношений и различий с прочими элементами языка. Важен в слове не звук сам по себе, но те звуковые различия, которые позволяют отличать это слово ото всех прочих, так как они-то и являются носителем значения. Подобное

⁷⁷ Соссюр Ф. де. Там же. С. 399.

утверждение способно породить недоумение, но это так в действительности, и иного и быть не может. Поскольку нет звукового образа, отвечающего лучше других тому, что он должен выразить, постольку очевидно а priori, что никогда никакой фрагмент языка не может в конечном счете основываться ни на чем другом, кроме как на своем несовпадении со всем прочим»⁷⁸.

«Важен в слове не звук сам по себе, но те звуковые различия, которые позволяют отличать это слово ото всех прочих, так как они-то и являются носителем значения»⁷⁹.

«Каждый язык образует слова на базе своей системы звучащих элементов, из коих каждый является четко отграниченной единицей и число коих точно определено. И каждый из них характеризуется не свойственным ему положительным качеством, как можно было бы предположить, но исключительно тем, что он не смешивается с другими. Фонемы прежде всего характеризуются тем, что они взаимно противопоставлены, взаимно относительны и взаимно отрицательны»⁸⁰.

По-видимому, язык представляется в такой интерпретации как картина, составленная из сочетающихся фрагментов, каждый из которых не имеет значения сам по себе, но вместе с другими образует целостность и, соответственно, значащее изображение, — т. е. «язык» представляет собой некий «пазл» (впрочем, сложно найти хотя бы одного знатока *всех сочетаний*, о котором можно было бы сказать, что он знает «язык» — т. е. имеет в своем сознании сразу весь «пазл» собранным — и который по этой причине может пользоваться этим «языком», говорить и понимать. В реальности все носители демонстрируют

⁷⁸ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 401.

⁷⁹ Там же. С. 401.

⁸⁰ Там же. С. 402.

различное знание «языка», но почему-то без труда словесно взаимодействуют в актуальных ситуациях).

ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Понятно, что заставить лингвистический материал обрести значение из себя самого и не из себя самого одновременно можно только путем запутывающей казуистики. Противоречие, снятие которого составляло цель Соссюра, в рамках предметного подхода к «языку» могло быть преодолено только риторически, путем разнесения противоречивых позиций в различные части изложения. Однако они остались в общей теоретической конструкции, сотканной из традиционных заблуждений.

Так, с одной стороны, *любые предметные сущности* языка являются, согласно Соссюру, знаками (звуки, фонемы, слова) — *в них есть означающее и означаемое* (например, знаком является уже приведенное слово «mouton», имеющее свое значение), с другой стороны, Соссюр вынужден констатировать, что такой знак, как, например, звук (фонема) [a], *не имеет никакого положительного значения*. Из каких же знаков, в таком случае, состоит система «языка» — из *имеющих* или *не имеющих значения*? И что же является его элементарным составом?

С одной стороны, значимость и значение — *два совершенно разных понятия*, с другой стороны, «отличительные свойства единицы сливаются с самой единицей», «то, чем знак отличается, и есть все то, что его составляет», «различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу». Другими словами, значение и значимость — *совершенно идентичные понятия*, соответственно, что же выбрать для понимания всех утверждений, включающих в себя эти термины?

С одной стороны, Соссюр утверждает, что язык — это *система знаков*, т. е. единств обозначаемого и обозначающего, с другой стороны, что язык — это *система значимостей*, т. е. отношений знаков между собой. При этом значимость, как уже было отмечено, — «совершенно другое», нежели значение, или «совершенно то же самое»? Чем же тогда является «язык» — системой знаков (с их собственными значениями) или системой «совершенно другого»?

Как видно, в «диакритической» теории языкового значения Соссюр пытается объяснить процесс смыслопорождения в произносимых словах не из соотнесения этих слов с мыслимой говорящим действительностью и субъектного восстановления смысла вербальных действий в условиях, мыслимых говорящим (это была бы субъектная когнитивная схема, изначально отвергнутая Соссюром), а из соотнесенности («отношений») элементов между собой — т. е. из себя самих, и не из себя самих (т. е. из *отношений*) одновременно. При анализе конкретного материала теоретическая невнятность этой схемы и соответствующей терминологии «значимость—значение» становится вполне наглядной (комментарий дается сразу в квадратных скобках):

«Внутри одного языка слова, выражающие смежные понятия, взаимно друг друга отграничивают [*sic* — слова выражают понятия, т. е. имеют значения, и тем самым друг друга отграничивают, определяют, т. е. создают друг другу значимости]: синонимы, как, например, *страшиться*, *бояться*, *опасаться*, *остерегаться*, обладают значимостью лишь в меру обоюдного противопоставления [*sic* — значимость — это со- или противопоставленность слов, имеющих значения]; если бы слово «*страшиться*» не существовало, все бы его содержание перешло к его конкурентам.

Наоборот, бывают слова, обогащающиеся от взаимного соприкосновения; например, новый элемент, приводящий в значимость [=значение?] слова *décéripit* («*un vieillard décéripit*»), проистекает от сосуществования [=расположения среди других слов] слова *décéripé* («*un mug décéripé*»). Итак, значимость любого термина определяется его окружением; даже в отношении такого слова, которое означает «солнце» [=имеющего само по себе значение «солнце»], нельзя непосредственно установить его значимость [=значение?], если не обозреть того, что его окружает; есть такие языки, в которых немислимо выражение «сидеть на солнце» [Иначе говоря, слово, например, «*soleil*» имеет значение само по себе, но не имеет значимости до тех пор, пока не сопоставлено с другими словами французского языка; однако, ввиду того, что значение и есть сопоставленность с другими словами языка («в языке, как и во всякой семиологической системе, то, чем знак отличается, и есть все то, что его составляет»), тогда как же слово «солнце» может иметь какое-то значение само по себе?]⁸¹.

После того как Соссюр утвердил — или, скорее, подтвердил античное — понятие «язык», избавил материал естественного языка от комплексности и временности (последнее вводило фактор несамостоятельности вербального материала и ставило под сомнение предметно понимаемую «системность»), а также снабдил элементы языка значимостями — фиксированным перечнем отношений с другими предметными элементами системы, — лингвистическая наука получила одновременно все и ничего. Первое — ввиду того, что для исследователя лингвистического материала были созданы исключительно благоприятные условия работы: под системность «языка», понимаемого вне фактора изменчивости и

⁸¹ Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 399.

комплексности, легко подводятся разнообразные значимости — *любые* связи, находимые *любыми* методами и способами в предметном элементе (в звуках, фонемах, морфемах, словах, словосочетаниях и т. д.); любая предметная сущность, произвольно выделяемая в материале, обретает какое-то значение и говорит о соответствующем месте в «системе языка». Второе же («ничего») — ввиду того, что посредством античного предметного «языка» подлинная реальность речемыслительного процесса, в основе которой в действительности лежит субъектность, когнитивность, коммуникативность, ситуативность, действительность, — была надежно укрыта от взоров исследователей.

ГЛАВА 2.

КОММУНИКАТИВНАЯ (ДИСКУРСИВНАЯ) ПАРАДИГМА. ВТОРАЯ ОЧЕВИДНОСТЬ

Если первая очевидность, начиная с античных лингвистических воззрений, заключалась в том, что естественная речь состоит из предметных слов, каждое из которых имеет значение, и все вместе слова образуют самоидентифицирующийся инструмент передачи мысли, системный язык, знание которого необходимо для говорения и понимания, то вторая, — не менее «очевидная» и отменяющая прежнюю, — состоит в том, что процесс коммуникации, в котором может быть использован вербальный материал, осуществляется не словами, а деклическими синтагмами, в состав которых входят несамозначительные бессмысленные вне синтагм модели — отдельные слова и их сочетания; естественный речевой процесс представляет собой не «передачу мыслей», а действие (утверждение, вопрос, восклицание, предположение, совет, список, инструкция и т. д.), осуществляемое коммуникантом в осознанном коммуникативном пространстве; коммуникант согласует свое действие с мыслимыми условиями его совершения, преследует определенные цели и пользуется для их осуществления не системой языка, а известными ему моделями. Иначе говоря, с некоторых пор понятие «язык», в котором как Соссюр, так и ряд лингвистов, согласных с ним, видели главный автономный объект

лингвистического исследования, становится ощутимо чуждым самому речемыслительному процессу и по мере того — основным препятствием для создания более адекватной модели естественного речевого процесса, поскольку именно концепция «языка» не учитывает главных аутентичных свойств естественного лингвистического материала — коммуникативности, когнитивности, ситуативности, действительности, актуальности. Постепенный отказ от первого «главного объекта» лингвистики и замена его другим, комплексным, не-«предметно-системным», представляет собой путь к новой, более адекватной этиологии смыслопорождения и смысловосприятия в естественной речи. Так, если прежнюю античную парадигму характеризуют позиции:

«Язык представляет собой систему слов»;

«Слова имеют значения и составляют ими смысл высказываний»;

«Предметные элементы, выделяемые в языке, являются носителями соответствующих значений и определяют строй языка», —

то для новой постепенно возникающей парадигмы характерны совершенно иные:

«Язык, понимаемый как система слов, неэффективен для моделирования естественного коммуникативного процесса»;

«Слово, взятое в обособленности, само по себе, не имеет никакого значения», другими словами, вербальный материал не обладает самоидентичностью и не может служить твердым основанием науки об осмысленном актуальном речевом процессе — устном или письменном;

«Любой элемент, искусственно выделяемый при исследовании естественного речевого процесса,

в действительности представляет собой функцию осознанной коммуникативной ситуации и не может рассматриваться сам по себе».

Новые позиции проявляются с большей или меньшей степенью определенности в ряде исследований, образуя концептуальное ядро новой парадигмы, или новой модели, описания лингвистического материала. Постепенное преодоление предметного «языка» и предметного слова как главных «мыслимых подлежащих» лингвистической теории составляет смысл эволюции философии языка в новейшее время, т. е. начиная с конца XIX-го века. В этом подрыве и разрушении прежних оснований лингвистического знания решающее значение, по-видимому, имеют две взаимосвязанные магистральные тенденции — разработка теории знака (знаковых систем) и введение субъекта речи («говорящего») в этиологию языкового материала.

2.1. ИССЛЕДОВАНИЯ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ

ФАКТОР СОЗНАНИЯ В ТЕОРИИ ЗНАКА

Основные положения учения о знаках, как известно, были сформулированы стоиками задолго до времени Ч.С. Пирса и Ф. де Соссюра. От понятия фиксированной связи означающего и означаемого до признания того, что в действительности никакой «фиксированной связи» нет, всегда оставался один шаг — констатация того, что (1) наблюдаемое соединение одного мыслимого (воспринятого означающего) с другим мыслимым (означаемым) происходит в сознании, которое опосредует эту связь, и вне сознания эта связь вовсе не существует, и что (2) индивидуальные сознания, в которых эти связи устанавливаются,

не тождественны между собой, — соответственно, и сами связи в сознаниях не тождественны и, значит, тождественных знаков («связей-единств») нет. Стоики были как будто готовы сделать этот шаг, (1) различая *представление в душе*, помимо звучания слова и самого предмета, которому соответствует душевное представление, а также (2) определяя «обозначаемое» как некое «дело» (*πραγμα*), которое „мы умственно постигаем, а *варвары* не воспринимают, хотя и слышат звук»⁸² (как видно, и опосредованность (1), и нетождественность воссозданной связи в различных сознаниях (2) — для данного случая в сознании эллина, знающего эллинский «язык», и в сознании варвара, не говорящего по-эллини — очевидны для Секста, комментирующего стоические понятия означающего и означаемого). Однако дать реализоваться субъектному индивидуально-сознательному принципу, т.е. прийти к выводам о несамотождественности самих знаков, стоическая теория не могла, поскольку прежде всего видела перед собой главный объект, который отрицать и отменять было заведомо невозможно — предметные слова, явно что-то значащие («если бы они были не тождественны в своих значениях для всех, то не было бы ни понимания, ни говорения, — а они с очевидностью есть»). Отмена самотождественности слова провоцировала теоретическую деструкцию и/или реконструкцию таких масштабов, решиться на которые у античной науки не было ни теоретических возможностей, ни необходимости. Поэтому теория знаковости слов в итоге игнорирует второе обстоятельство («нетождественность»), а первое, благодаря игнорированию второго, само собой теряет актуальный смысл: зачем упоминать об

⁸² Секст Эмпирик. *Против ученых* // Соч.: В 2-х т. Т.1. — М., 1975. С. 349.

опосредующем сознании, если фактор сознания не вводит никакой дополнительной переменной в описание процесса означивания? В итоге античная семиотика оставляет нерушимым «единство» означающего и означаемого, так как будто оно существует независимо ни от чего и так как будто их связанность имеет объективный, автономный от сознания характер. В проекции на языковой материал стоическое понимание знака означало то, что связь предметного элемента (слова, части слова, сочетания слов и т. д.) и его означаемого закреплена, и что отдельные слова, их части и сочетания сами по себе что-то определенно значат. Как известно, на этом основании не только стоики, но и Ф. де Соссюр воздвигал свою модель лингвистической дескрипции (попутно следует заметить, что признание объективности языковых знаков по преимуществу было спровоцировано платоновским учением об идеях, которое представляло, по сути, попытку обретения тождества в очевидно нетождественных индивидуальных сознаниях, см. Приложение).

Аналогия с кубиками

Другими словами, стоическую (и затем соссюровскую) теорию знаковости, примененную к лингвистическому материалу, можно сравнить с игрой в раскрашенные кубики или с собиранием «пазла»: изображение, нанесенное на предмет, является закрепленным за предметом свойством, соответственно, «язык» состоит из множества кубиков-«означающих», сопряженных с изображениями-«означаемыми». Исследователь берет кубик — и одновременно берет нанесенное на него изображение, исследователь выбирает нужное ему «изображение» — и одновременно в руках у него оказывается кубик. Посредством смысло-

формального единства, постулированного для процесса означивания, семантическая доктрина стоиков и Соссюра стремится к той же мере закреплённости означаемого за означающим, в какой изображение на кубике закреплёно за самим кубиком. Однако подходить к «языку» как к «пазлу» или набору кубиков с нанесёнными на них изображениями (связь кубика и нанесённого на него изображения однозначна, фиксирована) в действительности с очевидностью невозможно: между языковой предметностью и тем, что она означает, связь устанавливается субъектным сознанием, а не фактом механической предметной соположенности «означающего» и «означаемого». Эта опосредованность всегда была тем, что грозило разрушить тождество предметного материала, или античное двухчастное единство «слово—значение», а это, в свою очередь, приводило предметно-ориентированную теорию в концептуальный тупик. Тот самый варвар, который не распознавал эллинское означаемое посредством слышимого и видимого означающего, по-видимому, все же не держал в руках кубик с изображением (т. е. одновременно означающее и означаемое) — иначе их единство было бы понятно ему с той же определенностью, с какой понятен любому, даже несмышленому, тот факт, что он, держа кубик, держит в руках предмет определенного цвета, с определенным изображением. Не понимая эллинских слов, он, упомянутый Секстом варвар, явно нарушал условия стоической схемы, которая требовала определенности в вопросе о связи слова и значения. С учетом «варварского» мнения стоическая теория о знаках не строилась. Поэтому фактор сознания — «варварского» или какого-то еще — сам собою уходил в тень, выносился за скобки теории, а в скобках оставались эллины с их заведомым — теоретически

невнятным, но будто бы единым — знанием значений эллинических слов-«кубиков». Эту постоянную величину («знание *всеми* эллинами *всех* слов») можно было изъять из уравнения, описывающего процесс семиозиса, и отвести сознанию (поскольку оно будто бы едино у всех эллинов) роль статиста. «Стройная» теория возникает, таким образом, вследствие недосказанности, умалчивания шаткости ее оснований: стоики признают, что процесс семиозиса обеспечивается — вспомним «кубики» — фиксированной связью между означаемым и означающим, хотя фиксированной (самотождественной, предметной) связи между означаемым и означающим с очевидностью — вспомним «варвара» — нет.

АНАЛОГИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

Неудивительно, что подробные исследования в области знаков, вновь после стоиков инициированные в науке о языке, так или иначе должны были привести к признанию опосредованности и субъектности знака, т.е. к отмене стоическо-соссуоровских «кубиков» лингвистической теории. Само развитие семиотики неизбежно вело к тому, что предметные элементы, выделяемые в речи (слова, слово- сочетания, морфемы, звуки, предложения и пр.), должны были когда-нибудь потерять свою знаковую (понимаемую как *единство* обозначающего и обозначаемого) и потребовать вписывания в более сложные теоретические схемы, в которых не сами предметные элементы что-то значат и образуют, а субъектное сознание их означает и выстраивает в актуальный порядок.

Так, фотографическое изображение, понимаемое в духе античной знаковости, устанавливает связь с реальным человеком (скажем, с тем самым Дионом, о котором говорил

Секст Эмпирик), оно является означающим для соответствующего означаемого. Установление их связи — изображения (означающего) и понятия о самом Дионе — и есть семиозис, процесс означивания. Однако что же представляет собой фотография Диона для того, кто никогда не видел живого Диона и ничего о нем не знает? По-видимому, для такого человека — и это уже не античная, а новая знаковость — фотография будет означать *нечто иное*, нежели для того, кто узнает по изображению своего знакомого. Таким образом, является ли фотография (иконическим, по Пирсу) знаком? По-видимому, для приятеля Диона — да, а для «варвара», не имевшего чести знать Диона, — нет. Так знак ли фотография Диона или не знак? И в чем же дело? Почему один и тот же предметный элемент (фотография) не представляет собой самотождественного единства означаемого и означающего? По-видимому, все дело в опосредовании семиозиса сознанием, вне которого рассуждения о знаковости данной фотографии (и знаковости фотографии вообще) будут бессмысленны: если в сознании еще до взгляда на фотографию нет понятия о Дионе (или это понятие — «слишком личное», а других, заметим, просто нет), то никакого общезначимого знака — ни иконического, ни какого-либо другого — фотография в себе не несет.

Подобно тому, как фотография не является фиксированным единством, образующим «знак», не несет в себе никакой знаковости и предметный лингвистический материал, в т. ч. (и прежде всего) — отдельное слово. Взятое в качестве носителя «значения», слово, как и «вообще-фотография», тем самым облекается невозможными для него полномочиями, поскольку для того, чтобы быть означающим, ему всегда необходимо опосредование — актуальный,

индивидуальный, интегрирующий конкретную ситуацию *процесс в сознании*. Само же по себе слово представляет собой ничуть не более, чем последовательность гласных, шипящих и пр. звуков, имеющих физическую и физиологическую природу и не имеющих никакого отношения к процессу семиозиса: в самом деле, если исключить опосредующее сознание из схемы связи означающего и означаемого, то именно означаемому не найдется места в этой схеме, поскольку именно оно с очевидностью «помещается» в сознании (связь означаемого и означающего — это не связь субстрата и слова, а связь *мыслимого образа* субстрата и (мыслимого) слова, как учили сами же стоики).

**Исходная позиция: «кубики языка»
в семиотическом процессе**

Итак, в приложении к лингвистическому материалу стоическое (и соссюроевское) учение о связи между означающим и означаемым, вполне соответствующее образу кубиков («слов») с нанесенными на них изображениями («значениями»), игнорировало или умалчивало полнейшую очевидность — сознающего субъекта, и по мере того стоическое (соссюроевское) учение в области лингвистической и вообще знаковой дескрипции было теоретически недостаточным. По-видимому, первым шагом в отказе от кубиков должно было стать введение субъекта в теоретическую схему семиозиса. Этот шаг совершался едва ли не в течение всего XX-го века.

Так, вначале семиотическая доктрина, еще стоящая, по существу, на античных позициях, в лице своих главных представителей отстаивает принцип объективной значимости знаков и знаковых систем. Именно в этом смысле Соссюр постулирует идеальный объективный «язык»,

изгоняя личностный принцип из процедуры описания, Ч.С. Пирс даже не замечает существования вопроса, наблюдая разновидности знаков (для него знаки — просто существуют, они объективны и сами собой интегрированы в действительность), а Ч. Моррис (в 1938 г.) открыто отстаивает возможность исключить субъектную проблематику из семиотических исследований:

«Непосредственное восприятие в опыте ситуации значения u_1 и u_2 может быть различным, но, тем не менее, оба они могут иметь одно и то же общее понятие и, как правило, в состоянии решить, что хочет сказать другой посредством знака и в какой степени эти два значения одинаковы или различны. Для того чтобы определить, какое значение имеет S_1 (то есть — знаковое средство) для u_1 , исследователю совершенно не нужно становиться u_1 или иметь такое же восприятие S_1 , как u_1 — (1) *достаточно определить, как S_1 связано с другими знаками, употребляемыми u_1 , в каких ситуациях u_1 использует S_1 для целей означения и каковы ожидания u_1 , когда он заставляет реагировать на S_1 (курсив и цифры в скобках здесь и далее в цитате мои — А. В.)*. В той мере, в какой указанные отношения оказываются одинаковыми для u_2 , как и для u_1 , S_1 имеет для них одинаковое значение; в той мере, в какой эти отношения для u_1 и u_2 различны, различается значение S_1 .

Итак, поскольку (2) *значение знака исчерпывающе характеризуется установлением для него правил употребления, значение любого знака может быть в принципе определено с помощью объективного исследования*. А поскольку таким образом можно (если это целесообразно) стандартизировать такое употребление, то результатом является (3) *потенциальная интерсубъективность значения любого знака*. Даже тогда, когда знаковое средство субъективно по своим внутренним свойствам, существование его с тем или иным значением может быть подтверждено опосредованно. Верно, что на практике определение значения

сопряжено с трудностями и что различия в употреблении знаков даже членами одной социальной группы очень велики. Однако, (4) *с точки зрения теории, важно понять, что субъективный характер некоторых данных опыта и даже восприятий в опыте знакового процесса совместим с возможностью объективного и исчерпывающего определения любого значения*⁸³.

Как видно, объективность знака является для классического семиотического исследования главным условием (2), нарушение которого провоцирует отмену всего воздвигнутого теоретического здания: представим себе, что для одного интерпретанта нечто представляется знаком, а для другого — нет. О каком знаке, в таком случае, толкует теория — о том, который существует, или о том, которого не существует? При этом основными чертами позиции Морриса нужно признать, во-первых, то, что субъект не отрицается и не исключается с определенностью стоиков и Соссюра (так, объективность, согласно Моррису, уже является интерсубъективностью (3), (4) — субъект не умалчивается); во-вторых, в связи с первым обстоятельством, признается, что

«на практике определение значения сопряжено с трудностями и что различия в употреблении знаков даже членами одной социальной группы очень велики»⁸⁴; —

и, в-третьих, — что процесс достижения искомой объективности истолковывается Моррисом как субъектный процесс, имеющий место в субъектном сознании (1). Несмотря на эти уступки очевидному, смысл приведенной

⁸³ Моррис, Ч. Основания теории знаков / *Семиотика: антология*, сост. Ю.С. Степанов, М., 2001. С. 59.

⁸⁴ Там же. С. 54.

цитаты Морриса, как и вообще всего вектора классической семиотики, сводится к доказательству реальности знаков, их самоидентификации, т. е. собственно *объективности*. Применительно к языковому материалу такая позиция, по-видимому, вводится прежними — античными — мыслимыми подлежащими. Так, Моррис с полной определенностью считает отдельные слова естественного языка знаками, видит в них самостоятельную возможность иметь десигнат, язык определяется им как набор таких знаков, центральная роль в их восприятии и использовании отводится «правилам употребления» — т. е. по-видимому, чему-то такому, что подобно знанию сосюрювского «языка». По крайней мере, язык — не только «естественный», а любой — определяется Моррисом так:

«Язык в полном семиотическом смысле этого термина есть любая intersубъектная совокупность знаковых средств, употребление которых определено синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами»⁸⁵.

За этим определением следует замечание уже о знаках «языка», о «словесном» языке:

«Интерпретация становится особенно сложной, а индивидуальные и социальные результаты особенно важными в случае знаков языковых. С точки зрения прагматики, языковой знак употребляется в сочетании с другими знаками — членами некоторой социальной группы; язык — это социальная система знаков, опосредующая реакцию членов коллектива по отношению друг к другу и к их окружению. Понимать язык — значит употреблять только те сочетания и преобразования знаков, которые не запрещаются употреблением, приняты в данной социальной группе,

⁸⁵ Моррис, Ч. Указ. соч. С. 60.

обозначать объекты и ситуации так, как это делают члены этой группы, иметь, когда используются определенные знаковые средства, те же ожидания, что и у других членов, и выражать свои собственные состояния так, как это делают другие — короче говоря, понимать язык или правильно его использовать — значит следовать *правилам употребления* (синтаксическим, семантическим и прагматическим), принятым в данной социальной общности людей»⁸⁶.

В формулировании этой «естественной семиотической» позиции, кроме предметности и системности, составляющих классическое учение о знаках вообще и в т.ч. языковых знаках, не последнюю роль играет и другое мыслимое подлежащее античного языкознания — логичность, т. е. априорное признание того, что роль «языка» состоит в *назывании* (правильном обозначении) объектов и ситуаций и что, более того, сам «язык» есть совершенный способ правильного называния-обозначения (так, у Морриса знать язык значит «обозначать объекты и ситуации», «выражать состояния», у стоиков — выражать обозначаемое, мысли, уметь формулировать правильные, в т.ч. истинные, суждения). Соответственно, если роль языка состоит в том, чтобы называть-*обозначать*, и если каждое слово и есть то, что называет и обозначает (именно это признает за словом Моррис), получается, что пользователи языка только и делают, что без цели и смысла *называют* объекты-ситуации-состояния, как бы играя в игру. Или, прибегая к уже приведенной аналогии — пользователи «языка» всякий раз показывают фотографию Диона, когда думают о нем, и всякий раз думают о нем, когда видят его фотографию. Однако можно ли найти смысл в такой игре? Не обесмысливают ли речевой

⁸⁶ Моррис, Ч. Указ. соч. С. 61.

процесс заданные пределы *объективного*, где с определенностью констатируется, что каждое слово имеет означаемое, связь между словом и значением регламентирована правилами, а пользование языком есть соблюдение этих правил? В чем же состоит цель этого всеозначивания, полностью детерминированного «языком» и по мере того полностью бессмысленного? Нужно признать, что в классической семиотической системе кроме самого означивания (называния), более ничего не возможно концептуализовать, поскольку рамки принятой описательной схемы более ничего не вмещают. Зачем же тогда говорящему говорить и писать, если выйти за пределы уже существующего «языка» все равно невозможно? Другими словами — если вербальные элементы одни и те же, и значения у них одни и те же, и правила употребления у них одни и те же (всё вместе — это «язык»), то не ведет ли такое «объектно-семиотическое» понимание естественного языка к абсурдному заключению, что говорящему в таких условиях вовсе незачем говорить, кроме как с тем, чтобы поиграть в бесполезную игру «обозначь и уходи»? Так, по-видимому, абсурдным было бы признать, что актуальные вопрос—ответ в диалоге прохожих на улице, просьба о помощи, о предоставлении кредита, требование возмещение ущерба, справка о доходах, научная статья о новом понимании античной надписи и т. д. суть какие-то названия и обозначения. Смысл их явно не в том, чтобы назвать, поименовать, обозначить, а, скорее, в том, чтобы узнать, попросить, потребовать, засвидетельствовать, убедить и т.д. Стало быть, то, что происходит в процессе речевого оформления вопроса, просьбы и т. д. — не «обозначения, названия и наименования», а актуальные необходимые коммуниканту *действия*, имеющие мыслимые условия

совершения и ожидаемые, лично актуальные результаты. По-видимому, смысл и значение вербального материала, использованного при совершении соответствующих действий, и состоит в том, чтобы производить личное актуальное результативное действие, а не просто находить соответствие между словом и денотатом, т. е. обозначать нечто.

Другими словами, античная семиотическая модель описания естественного языка, в которой «означающие» по правилам «называют-означивают» «объекты-ситуации-состояния», как раз не учитывает то, ради чего говорящий говорит — личную субъектную составляющую, в которой и заключен весь смысл — ради которого, заметим, говорящий говорит, а ищущий пишет. Именно это — новое личное действие, которого еще не было никогда в данной ситуации для данного говорящего и данного адресата — не определено правилами «языка», но именно ради этого действия говорящий и произносит свои слова (последние, заметим, определяются мыслимыми условиями действия и целями, а не системой «языка», которую ни один реальный говорящий не знает). Соответственно, то, что считается естественным «языком», немислимо вне субъектной реальности смыслообразования, которая с очевидностью состоит не в объективном означивании, а в произведении субъектного действия, осуществляемого в коммуникативном пространстве. Именно эт субъектность и изгоняется из схемы описания языкового материала античной и сосюрговской семиотикой, которой индивидуальное сознание, интегрирующее (и интегрированное в) реальный процесс смыслообразования, только мешает.

Следующий шаг: предчувствие субъекта

С этой исходной античной позиции теория семиозиса не могла не сделать шаг в сторону субъектной природы знака. Так, например, А.Н. Барулин в монографии «Основания семиотики. Знаки, знаковые системы, коммуникация», написанной в 2002 г., при определении знака уже не обходит субъектную проблематику:

«Под знаком S пока в рабочем порядке будем понимать структуру, состоящую в простейшем случае из (i) некоторого чувственно воспринимаемого объекта X (= означающему знаку S), который некоторый субъект A_n (= адресанту знака S) в конкретном (iii) контексте S_i использует как модель (ii) не обязательно чувственно воспринимаемого объекта “ s ” (=означаемому знаку S) для того, чтобы субъект A_t (=адресату знака S) благодаря умению устанавливать между X и Y необходимое отношение W (= коду или кодовому отношению между означающим и означаемым знака S) распознал по объекту X объект Y и отреагировал на него в соответствии с правилами семиотического поведения, известными $A_n t' u$ и $A_t' u$ »⁸⁷.

Более того:

«Хочу обратить внимание читателя на одну очень существенную деталь. Нечто воспринимаемое становится означающим, по которому можно распознать нечто другое только тогда, когда мы имеем дело с коммуникативной ситуацией, а с коммуникативной ситуацией мы имеем дело только тогда, когда мы имеем дело с ситуацией моделирования, а с ситуацией моделирования мы имеем дело только тогда, когда имеется наблюдатель, который по некоторой модели M пытается пострить заключение об объекте моделирования O на основании теории соответствий между

⁸⁷ Барулин А.Н. Основания семиотики. Знаки, знаковые системы, коммуникация. М., 2002. Ч. 1. С. 37—38.

элементами М и элементами О или на основании теории соответствий между элементами теорий Т(О) и Т(М). Следы на песке останутся только вмятинами на нем, а не знаками, до тех пор, пока не появится наблюдатель, который по этим вмятинам захочет понять, кто и чем их оставил. Успех в его деятельности может быть достигнут только в том случае, если у него имеется адекватная теория соответствий между элементами теории следа и теории того, кто его оставил»⁸⁸.

Итак, субъект («адресант» и «адресат», «наблюдатель») не только замечен, но определен как одно из необходимых условий существования знака. С этой точки, казалось бы, уже вполне ясна и прозрачна вся *языковая* перспектива понятия «знак»: вне субъекта с его конкретными целевыми вербальными действиями нет языкового знака (так, слово, определяемое в словаре, не следовало бы считать языковым знаком, поскольку оно изъято из актуальной, субъектной, кому-то «лично необходимой» структуры, которая и составляла систему для исчисления значения данного элемента и, соответственно, для его понимания; именно поэтому, заметим, в словаре слово имеет сразу несколько значений — а в актуальном речевом процессе оно *никогда* не имеет всего спектра словарных «значений»). Однако, по-видимому, прежние основания семиотики и «естественного языка» настолько прочны, что преодолеть их на данной «сразу-после-античной» стадии оказывается фактически невозможным: в результате, несмотря на существование субъекта, остаются самостоятельные «единицы», и «система», и «правила употребления», образуя причудливое сочетание новых теоретических возможностей и прежних схем и запретов. Так, например,

⁸⁸ Барулин А.Н. Указ. соч. С. 43.

А.Н.Барулин говорит о сообщении — одновременно языковом и семиотическом феномене — следующее:

«Частным видом знака я буду считать сообщение. Сообщению довольно трудно дать какое бы то ни было определение. Могу лишь пояснить, что сообщение — это такой тип знака, на который адресат может уже реагировать (в отличие от знака как понятия более общего: на знак в общем случае реагировать еще рано, знак может быть и незаконченным сообщением, ср. в естественном языке отдельный морф или словоформу, не совпадающие с предложением). В языке животных знаков, меньших, чем сообщение, практически не встречается. В языке человека сообщение обычно равно предложению, меньше предложения — словосочетания, грамматические слова, морфы. На отдельные морфемы (если они, конечно, в то же время не являются предложениями, как, например, междометия типа “А?” или “О-о-о!”), слова, словосочетания реагировать еще рано, необходимо дождаться конца предложения»⁸⁹.

Как видно, «отдельный морф», «словосочетание» или «грамматические слова» тоже, по мнению автора, являются знаками, они входят в систему «естественного языка», который определен «правилами», известными всем членам коммуникативного сообщества — другими словами, речь идет о прежних античных и сосюрловских «подлежащих» языковой теории, которые, несмотря на признаваемую субъектность процесса семиозиса, не претерпели соответствующей коррекции: над говорящими по-прежнему господствует языковая предметность — слова сами по себе значат нечто («кубики с изображениями разложены перед говорящим и исследующим»), «система предметных элементов» работает по заданным (кем?) законам («зубцы-

⁸⁹ Барулин А.Н. Указ. соч. С. 44.

значимости одних слов входят в пазы-значимости других слов, механизм вращается»), и ее работа заключается в «обозначении».

Искомое: СУБЪЕКТНАЯ СЕМИОТИКА

Кажется, такое положение дел составляет повод к тому, чтобы был сделан следующий — предполагаемый естественной теоретической эволюцией семиотики — шаг в понимании знаков и знаковых систем, а именно: *никаких знаковых систем не существует до тех пор, пока субъектное сознание не назначило (выделило из мыслимой панорамы) актуальную для себя целостность, в рамках которой выделяются затем и соответствующие актуальные элементы, имеющие значение постольку, поскольку входят в мысленную выделенную актуальную «систему»*. Другими словами, ни систему, ни знаки, ни семиозис невозможно непротиворечиво помыслить вне личного когнитивного процесса, т.е. вне говорящего (пишущего), действия которого *не означиваются* знаками, но он сам, из своих возможностей и целей, *означивает* мыслимое (придает ему личное актуальное значение).

Так, например, для субъекта возможно существование знаков и вне коммуникативных ситуаций, субъект не нуждается во внешней системе правил, чтобы придать значение тому или иному мыслимому факту. Сажем, для субъекта N наступление сумерек за окном (или, например, наступление шести часов вечера — «большая стрелка на 12-ти, маленькая на 6-ти») становится «знаком» того, что ему пора уходить из дома и идти в направлении назначенной цели, и т.д. Никаких систем, которые приписывали бы знаку «наступление сумерек» именно такое значение («выйти из дома и идти в соответствующем направлении»),

естественно, нет. Однако именно это «означил» для N знак «наступление сумерек». И означающее, и означаемое, и вся система были определены им вполне независимо от каких-либо известных ему правил конституирования знаковой системы — данная система вообще не существует ни для кого, кроме N. Эта назначенная система «сработала» (N пришел вовремя в запланированное место), что и было единственной онтологической целью и смыслом назначения (=«существования») этой «системы».

Вполне закономерно то, что на «языковые знаки», взятые в их античном понимании, распространяются те же условия: «языковые знаки» не существуют до и вне субъектного когнитивного процесса. Так, отдельных звуков и фонем в сознании говорящих нет. Так же как в сознании говорящих нет морфем и отдельных слов. Так же как нет в нем и «системы языка». И «звуки», и «слова», и их «системне» сочетания произносятся (пишутся) говорящими только в актуальных мыслимых ими ситуациях взаимодействия, входят в сложный комплекс личного действия, осуществляемого в осознанном коммуникативном пространстве. Все искусственно выделяемые «единицы языка» в изолированном состоянии представляют собой бессмысленные модели, которые в актуальных ситуациях коммуникативного взаимодействия могут получать от говорящих любые значения. Другими словами, в сознании говорящих присутствует типология имеющих значение действий, — и никакой «системы предметных слов», или «языковой системы». Именно эти действия (т. е. условия их совершения, цель и способы совершения) и есть то, что действительно мыслится говорящим (пишущим) — это и есть то, что образует тождественную назначенную «знаковую систему», единственно пригодную для исчисления значений

несамотождественного в себе предметного материала «языка». Мыслимая структура действия — всякий раз актуальная, субъектная, ситуативная — определяет «значение» предметных единиц, которые, заметим, нисколько не закреплены за этими действиями, не закреплены до тех пор пока сознание не произвело их «вербально-действенное» сочетание, не создало «дектическую синтагму».

Другими словами, эволюция теории знаковых систем предполагает упразднение понятия «знаковая система» в ее античном понимании: субъект отменяет античные предметные кубики как материал, из которого строится речевой процесс. Соответственно, абстракция «язык» как «система предметных единиц» — внесубъектное, вербально-предметное, социальное понятие — упраздняется семиотикой в числе прочих предметных знаковых систем. Самотождественные «единиц», по-видимому, полагаются в области мыслимых действий в коммуникативном пространстве, в их мыслимой типологии, а не в области языковой предметности.

Таким образом, исследование знаковых систем последовательно проходит несколько стадий: семиотика вне субъекта, семиотика в предчувствии субъекта, субъектная семиотика. На последней становится очевидной необходимость упразднения статических объективных знаковых систем, в т.ч. «системы языка». Принцип, недвусмысленно следующий из самых ранних семиотических исследований нового времени, а именно: «значение элемента определяется системой координат, в которую данный элемент помещен или в которой как таковой выделен», — при условии введения субъекта в схему семиозиса оборачивается отрицанием объективных античных «систем» и их «единиц»: «системы» *назначаются* субъектом, они всякий

раз актуальны, заданы возможностями и целями субъекта, их элементы имеют значение в рамках этих назначенных «систем». Соответственно, условность внесубъектного, вербально-предметного, социального «языка» становится *слишком условной* для использования в описании естественного речевого процесса. Такие исконные «знаки», как «слова», «звуки», «морфемы» и пр., вписываются (или должны быть вписаны) в *субъектную* модель речевого процесса, теряя и приобретая многое в новых теоретических условиях.

От семиотических исследований к лингвистике

Для семиотики языковой материал был излюбленным, но не единственным представителем знаков и знаковых систем. Другое направление, в русле которого античные предметность и внесубъектность оказались непригодными для описания речевого (речемыслительного) процесса, составляли собственно языковые исследования. Здесь постепенный исход из словоориентированной парадигмы также обусловлен осознанием несамостоятельности вербальных элементов, разрушением прямолинейно констатируемой связи «знак—значение» — т. е. признанием того, что античные «кубики» моделируют речемыслительный процесс неадекватно. В конечном счете — констатацией того, что концепция *языка как системы слов* и прочих предметных сущностей, теоретически недостаточна и прямо ложна для создания дееспособной эффективной схемы описания.

Эти положения не могли возникнуть в сфере конкретных языковых исследований, слишком уверенных в незыблемости античного теоретического инструментария и не подвергавших сомнению прежние «подлежащие»

лингвистической теории. Они добываются языкознанием в области *философии* языка, поскольку только последняя обеспечивает достаточный уровень абстракции для осмысления онтологических оснований речемыслительного процесса, для выхода за казавшиеся самодостаточными и всеобъемлющими пределы двухтысячелетней практики языковых описаний, дает достаточно широкие рамки для междисциплинарного синтеза — необходимого условия новой лингвистической дескрипции.

2.2. От Гумбольдта к структурализму

В. фон Гумбольдт: язык есть деятельность

В этом лингвистическом исходе центральное значение имела идея, намеченная, но не развитая еще Гумбольдтом, а именно, что

«язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia)»⁹⁰.

Сам автор этого постулата имел в виду некую «деятельность духа», которая в контексте гумбольдтовской мысли означала, скорее, историческую, понимаемую по-гегелевски, эволюцию формы языка, совершаемую в постоянном его использовании (постоянное использование некоего работоспособного механизма и есть та самая «деятельность»). Речь, таким образом, не идет о реальном процессе речемыслительной деятельности, совершаемой всегда «здесь и сейчас», во главу угла не ставился действующий

⁹⁰ Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода // История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. М., 1964. Ч. 1. С. 91.

словами говорящий, который по-прежнему, по мысли Гумбольдта, пользовался готовым самодостаточным инструментом:

«Эта деятельность осуществляется постоянным и однородным образом. Это происходит потому, что она обуславливается духовной силой, которая не может преступать определенные, и притом не очень широкие, границы, так как указанная деятельность имеет своей задачей взаимное общение. Никто не должен говорить с другим иначе, чем этот другой говорил бы при равных условиях»⁹¹.

Нужно сказать, что идея коллективной деятельности всеобщего духа при сохранении идеи объективного инструмента вела языковедение по-прежнему платоновскому пути. Указанное Гумбольдтом направление выражалось в поисках национальных особенностей языков (т. е. особенностей национального духа), в известной со времен стоиков процедуре нахождения фактов сознания по фактам языка

«Посредством описания формы следует устанавливать тот специфический путь, которым идет к выражению мысли язык и народ, говорящий на нем. Надо стремиться к тому, чтобы быть в состоянии установить, чем отличается данный язык от других как в отношении своих целей, так и по своему влиянию на духовную деятельность народа»⁹².

Понятно, что сам автор формулы «язык есть деятельность» ни о каком языковом действии хотя бы в смысле Остина не высказывался:

«Организм языка возникает из присущей человеку способности и потребности говорить; в его

⁹¹ Гумбольдт В. фон Указ. соч. // Там же. С. 91.

⁹² Там же. С. 94.

формировании участвует весь народ; культура каждого народа зависит от его способностей и судьбы, ее основой является большей частью деятельность отдельных личностей, вновь и вновь появляющихся в народе. Организм относится к психологии разумного человека, совершенствование — к особенностям исторического развития»⁹³.

«Язык невозможно было бы придумать, если бы его образ не был уже заложен в человеческом разуме. Для того чтобы человек мог понять хотя бы одно-единственное слово не просто как душевное побуждение, а как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех своих связях уже должен быть заложен в нем. В языке нет ничего единичного, каждый отдельный его элемент проявляет себя лишь как часть целого»⁹⁴.

«Язык не может возникнуть иначе как сразу и вдруг, или, точнее говоря, языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно все, что делает его единым целым. Как непосредственное проявление органической сущности в ее чувственной и духовной значимости, язык разделяет природу всего органического, где одно проявляется через другое, общее в частном, а целое обладает всепроникающей силой. Сущность языка непрерывно повторяется и концентрически проявляется в нем самом; уже в простом предложении, основанном на грамматической форме, видно ее завершенное единство, и так как соединение простейших понятий побуждает к действию всю совокупность категорий мышления, где положительное есть отрицательное, часть — целое, единичное — множественность, следствие — причина, случайное — необходимое, относительное — абсолютное, измерение в пространстве — определе-

⁹³ Гумбольдт В. фон. О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития // История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. М., 1964. Ч. 1. С. 77.

⁹⁴ Там же. С. 79.

ние во времени, где одно ощущение находит себе отклик в другом, то как только достигается ясность и определенность выражения простейшего соединения мысли, в изобилии слов оказывается представленным язык как целое. Каждое высказанное образует еще не высказанное или подготавливает его»⁹⁵.

Однако именно идея деятельности, несмотря на теоретическую неопределенность, была наиболее ценным достижением Гумбольдта, проговорившего ее вполне отчетливо для того, чтобы привлечь к ней внимание, пусть не ближайших, потомков:

«По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством письма представляет далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в живой речи. Язык есть не продукт деятельности (ἔργον), а деятельность (ἐνέργεια). Его истинное определение поэтому может быть только генетическим. Язык представляет собой непрерывную деятельность духа, стремящуюся превратить звук в выражение мысли. В строгом и ближайшем смысле это определение пригодно для всякого акта речевой деятельности, но в подлинном и действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности. В беспорядочном хаосе слов и правил, который мы обычно именуем языком, наличествуют только отдельные элементы, воспроизводимые — и притом неполно — речевой деятельностью; необходима все повторяющаяся деятельность, чтобы можно было познать сущность живой речи и создать верную картину живого языка. По разрозненным элементам нельзя познать того, что есть высшего и тончайшего в языке, это можно постичь и ощутить только в связной речи, что явля-

⁹⁵ Гумбольдт В. фон. Указ. соч. С. 74.

ется лишним доказательством в пользу того, что сущность языка заключается в его воспроизведении. Именно поэтому во всех исследованиях, стремящихся проникнуть в живую сущность языка, следует в первую очередь сосредоточивать внимание на связной речи. Расчленение языка на слова и правила — это только мертвый продукт научного анализа.

Определение языка как деятельности духа правильно и адекватно уже и потому, что бытие духа вообще может мыслиться только в деятельности. Расчленение строения языков, необходимое для их изучения, может привести к выводу, что они представляют собой некий способ достижения определенными средствами определенной цели; в соответствии с этим выводом язык превращается в создателя народа. Возможность недоразумений подобного порядка оговорена уже выше, и поэтому нет надобности их снова разьяснять.

Как я уже указывал, при изучении языков мы находимся, если так можно выразиться, на полпути их истории, и ни один из известных нам народов или языков нельзя назвать первобытным. Так как каждый язык наследует свой материал из недоступных нам периодов доистории, то духовная деятельность, направленная на выражение мысли, имеет дело уже с готовым материалом: она не создает, а преобразует.

Эта деятельность осуществляется постоянным и однородным образом. Это происходит потому, что она обуславливается духовной силой, которая не может преступать определенные, и притом не очень широкие, границы, так как указанная деятельность имеет своей задачей взаимное общение. Никто не должен говорить с другим иначе, чем этот другой говорил бы при равных условиях. Кроме того, унаследованный материал не только одинаков, но, имея единый источник, он близок и общему умонастроению. Постоянное и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей артикулированный звук до вы-

ражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет форму языка»⁹⁶.

Начало когнитивной типологии

Итак, из мыслимых подлежащих античности в гумбольдтовском определении языка остаются системность, инструментальность, всеобщий арсенал слов-понятий, единообразии формы как гарант адекватного общения. Однако наряду с этим возникают новации, еще не вовлеченные и не интегрированные в античную теоретическую схему: *деятельность и ее единообразие, относительность любого языкового описания, связная целостная речь как предшествующее звено в исследовании элементов языка, психологический подход к анализу языковых феноменов, теоретический вектор в сторону некоего целого, которое больше того, что явлено в вербальной форме*. Дальнейший путь философии языка к новой парадигме состоял в развитии этих последних идей, а именно, в ответе на вопрос, что такое эта деятельность, т. е. «кто?», «как?», «зачем?», «посредством чего?» действует. Последовательно разрешенные, эти вопросы грозили вполне радикальными — по отношению к античным — формулировками: действует говорящий, который сознает условия своего действия и добивается определенных целей; вне действия говорящего языкового материала не существует вовсе, вербальный материал есть часть, один из элементов этого общего действия; вне структуры данного конкретного действия он не имеет значения сам по себе, и даже более того, самого «языка» как системы вербальных элементов не существует ни на бумаге, ни

⁹⁶ Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков... С. 91.

в сознании, а остается только сама субъектная деятельность, когнитивный компонент которой обладает определенной типологией, знание которой, в свою очередь, позволяет говорящему производить и интерпретировать вербальные действия, достигая успеха в их порождении и понимании, а также сравнивать между собой вербальные действия на различных «языках», переводить их, систематизировать и пр. Именно он, типологический когнитивный компонент, весьма опосредованно связанный с вербальной предметностью, образует основу для истолкования и систематизации актуальных вербальных фактов, отодвигая в тень всю предметную несамостоятельную сторону «языков» — изменчивую, постоянно вовлекаемую в новые актуальные действия и только по мере того получающую «значение».

Преодоление античных априорных установок, инициированное в новое время Гумбольдтом, и, соответственно, введение действия коммуниканта в теорию лингвистического описания, забрезжившее в гумбольдтовских работах, постепенно совершается как драматическое противостояние идей, в различной мере связанных прежними «подлежащими» или свободных от них.

Недоговоренности

Попытки сочетать говорящего и «язык» в рамках единой теоретической схемы в конечном счете имели характер недоговоренности. Так, касаясь вопросов философии языка, А.А. Потебня оставлял идею языка-инструмента в неприкосновенности. Для него было вполне очевидно, что трансформация «языка» происходит постоянно, и именно это заставляло его обратиться к деятельности говорящего, в процессе которой и происходит обновление языка. С этим

связывается и его интерес, с одной стороны, к проблеме речи (в частности, смыслового его аспекта), а с другой стороны, к проблеме художественного творчества. Но и то и другое рассматривается им в отношении к языку-инструменту. Поэтому, с одной стороны, для А.А. Потебни характерно субъектное решение проблем смыслопорождения в речемыслительном процессе:

«Действительная жизнь слова... совершается в речи... Слово в речи каждый раз соответствует одному акту мысли, а не нескольким, т. е. каждый раз, как производится или понимается, имеет не более одного значения»⁹⁷.

«В действительности... есть только речь. Значение слова возможно только в речи. Вырванное из связи слово мертво...»⁹⁸.

«Общее значение слов, как формальных, так и вещественных, есть только создание личной мысли и действительно существовать в языке не может»⁹⁹.

Но с другой стороны, А.А. Потебня по-прежнему уверен, что в этой деятельности главными условиями понимания являются объектные общезначимые «слово» и «язык». Именно поэтому они не теряют своей предметной самоидентификации:

«Каждый понимает слово по-своему, но внешняя форма слова проникнута объективной мыслью, независимой от понимания отдельных лиц»¹⁰⁰.

«Образ стола может иметь много признаков, но слово

⁹⁷ Потебня А.А. Мысль и язык // История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 1–2. М., 1964–65. Ч. 1. С. 125.

⁹⁸ Там же. С. 125.

⁹⁹ Там же. С. 125.

¹⁰⁰ Там же. С. 138.

стол значит только простланное (корень *стл* тот же, что в глаголе *стлать*), и поэтому оно может одинаково обозначать всякие столы, независимо от их формы, величины, материала. Под словом *окно* мы разумеем обыкновенно раму со стеклами, тогда как, судя по сходству его со словом *око*, оно значит: то, куда смотрят или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и проч., но даже на понятие отверстия. В слове есть, следовательно, два содержания: одно, которое мы выше называли объективным, а теперь можем назвать ближайшим этимологическим значением слова, всегда заключает в себе только один признак; другое — субъективное содержание, в котором признаков может быть множество»¹⁰¹.

Это, в свою очередь, приводит к необходимости признать теснейшую связь языка и мышления, а также значения и отдельного слова:

«...Отношения понятия к слову сводятся к следующему: слово есть средство образования понятия, и притом не внешнее, не такое, каковы изобретенные человеком средства писать, рубить дрова и проч., а внушенное самой природой человека и незаменимое; характеризующая понятие «ясность» (раздельность признаков), отношение субстанции к атрибуту, необходимость в их соединении, стремление понятия занять место в системе — все это первоначально достигается в слове и преобразуется им так, как рука преобразует всевозможные машины»¹⁰².

«Показать на деле участие слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе, есть основная задача истории языка; в общих чертах мы верно поймем значение этого участия, если приняли основное положение, что язык есть средство не выражать уже

¹⁰¹ *Потебня А.А.* Указ. соч. С. 139.

¹⁰² Там же. С. 139.

готовую мысль, а создавать ее, что он не отражение сложившегося мирозерцания, а слагающая его деятельность. Чтобы уловить свои душевные движения, чтобы осмыслить свои внешние восприятия, человек должен каждое из них объективировать в слове и слово это привести в связь с другими словами. Для понимания своей и внешней природы вовсе не безразлично, как представляется нам эта природа, посредством каких именно сравнений стали ощутительны для ума отдельные ее стихи, насколько истинны для нас сами эти сравнения — одним словом, не безразличны для мысли первоначальное свойство и степень забвения внутренней формы слова»¹⁰³.

Формулировка Ф.Ф. Фортунатова представляет язык в виде набора слов с той простотой и очевидностью, на которой строили свою языковую теорию античные языковеды:

«Язык состоит из слов, а словами являются звуки речи, как знаки для нашего мышления и для выражения наших мыслей и чувствований. Отдельные слова языка в нашей речи вступают в различные сочетания между собою, а с другой стороны — в словах языка могут выделяться для сознания говорящего те или другие части слов; поэтому фактами языка являются не только отдельные слова сами по себе, но также и слова в их сочетаниях между собой и в их делимости на те или другие части»¹⁰⁴.

НЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ «ЯЗЫКА»

Возможно, наиболее зрелым плодом развития гумбольдтовских идей об акциональности и субъективности «языка» следует считать воззрения Х. Штейнталя и К. Фосслера. Последним высказан ряд замечаний, явно отступающих

¹⁰³ *Потебня А.А.* Указ. соч. С. 141.

¹⁰⁴ *Фортунатов Ф.Ф.* Сравнительное языковедение. М., 1964. С. 238.

от традиционной схемы. В частности, Фосслер признавал первичность живой индивидуальной речи, которая только для нужд описания и дидактики разбивается на категории произволом исследователя. Кроме того, та роль, которая отводится в его воззрениях индивидуальной стилистике, выдает внимание к главному предмету любого речевого процесса — личному действию.

При всем том, наряду с усилением психологизма и индивидуализма, упомянутые авторы сохраняют «язык» как теоретический объект, пытаясь согласовать целостность словесного инструмента с его очевидной изменчивостью, единичного говорящего с коллективным знанием. Эти попытки были изначально обречены на неудачу ввиду того, что в процессе коммуникации понимается не «язык», а действие, производимое в коммуникативном пространстве. Так, немец, говорящий в актуальной ситуации по-немецки, *совершает то же самое*, что англичанин, говорящий в той же ситуации по-английски. И в том, и в другом случае адресатом понимаются не слова, а сам личный акт, который благодаря тождеству действия можно переводить с «английского» на «немецкий» (так же невербально понимается, например, и несловесный знак). Разница «языков» — т.е. способов представления тождественного действия — не затрагивает смысла сказанного, который, по всей видимости, лежит за пределами вербальности. При этом, созерцая только предметную сторону «языка», нужно констатировать, что немец и англичанин *совершают разное, не то же самое*. Соответственно, попытки найти в предметном «языке» целостность или изменчивость, индивидуальное или коллективное — означает искать заведомо несуществующее: при обесмысливании элементов и признании их едиными, хотя и возникает предметная «кол-

лективность» и «целостность», но исчезает смысл, и соответственно, перед исследователем оказывается уже не естественный речемыслительный процесс; зато при оживлении предметного знака актуальным личным смыслом предметность становится не самотождественной («разное может означать одно, а одно — разное»).

Индивидуалистический субъективизм Бахтина и Волошинова

Не менее ярким проявлением гумбольдтовской традиции является критика двух направлений в развитии науки о языке — «индивидуалистического субъективизма» и «абстрактного объективизма», высказанная авторами книги «Марксизм и философия языка» (1929) — вероятно, М.М.Бахтиным и В.Н. Волошиновым. «Индивидуалистический субъективизм», по их мнению, исходит из четырех следующих «основоположений»:

- «1) язык есть деятельность, непрерывный творческий процесс созидания... осуществляемый индивидуальными речевыми актами;
- 2) законы языкового творчества суть индивидуально-психологические законы;
- 3) творчество языка — осмысленное творчество, аналогичное художественному;
- 4) язык как готовый продукт... как устойчивая система языка (словарь, грамматика, фонетика) является как бы омертвевшим отложением, застывшей лавой языкового творчества, абстрактно конструируемым лингвистикой в целях практического научения языку как готовому орудию»¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Алпатов В.М. Книга «Марксизм и философия языка» и теория языкознания // Вопросы языкознания, 1995. № 5.

В свою очередь, «абстрактный объективизм» исходит из следующих основоположений:

«1. Язык есть устойчивая неизменная система нормативно тождественных языковых форм, преднаходимая индивидуальным сознанием и непререкаемая для него.

2. Законы языка суть специфические лингвистические законы связи между языковыми знаками внутри данной замкнутой языковой системы. Эти законы объективны по отношению ко всякому субъективному сознанию.

3. Специфические языковые связи не имеют ничего общего с идеологическими ценностями (художественными, познавательными и иными). Никакие идеологические мотивы не обосновывают явления языка. Между словом и его значением нет ни естественной и понятной сознанию, ни художественной связи.

4. Индивидуальные акты говорения являются, с точки зрения языка, лишь случайными преломлениями и вариациями или просто искажениями нормативно тождественных форм; но именно эти акты индивидуального говорения объясняют историческую изменчивость языковых форм, которая как таковая с точки зрения системы языка иррациональна и бессмысленна. Между системой языка и его историей нет ни связи, ни общности мотивов. Они чужды друг другу»¹⁰⁶.

Приведенная в книге концепция имеет характер деклараций, которые опередили свое время в постановке вопросов, но не в ответах на них.

¹⁰⁶ Аллатов В.М. Указ. соч. С. 35.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ

В целом признание предметного языка в качестве основы понимания между коммуникантами и, соответственно, в качестве главного искомого в лингвистическом исследовании составляло центральный ошибочный постулат, на котором было выстроено здание объектного языкознания. Он с очевидностью противоречил идее свободного действия говорящего.

Действительно, сложно представить, что коммуникант, произносящий «слова», не прибегает при этом к готовому общезначимому «словесному» механизму, как делает он это в случае, скажем, использования молотка, топора, станка и т. д. при соответствующем виде деятельности. Возможно, именно такая аналогия — «говорение языком — работа орудием» — послужила некогда созданию формулы «язык есть инструмент передачи мысли», надолго определившей способ видения объекта языкового исследования: если посредством слов совершается «передача мысли», значит, перед нами нечто предназначенное для этого — «слова, составляющие вместе *орудие* для передачи мысли». Каждый может взять молоток или топор и пользоваться им как угодно, но вне зависимости от этого орудие сохраняет свою целостность и самоидентичность, — так же, как и «язык» при античном взгляде на проблему речемыслительного процесса. Так, любое объектно-языковое исследование сводилось (и зачастую сводится) к открытию новой закономерности, формулируемой по типу: «в (таком-то) *языке* наблюдается, есть, имеется нечто», — что, в свою очередь, предполагает, что данный исследуемый *язык* устроен именно так, а не иначе, по аналогии с суждением «(такой-то) инструмент состоит из таких-то частей». Соответственно, при таком подходе действие коммуниканта всецело

выносятся за скобки исследования: действие совершается инструментом, свойства и конструкция которого независимы от говорящего в момент говорения или написания. Сама формула «в (таком-то) языке имеется ...» изгоняет говорящего, утверждая, что он, говорящий, всегда действует так, как предписывает ему язык, т. е. совершенно бездумно и рабски. В таком случае и получается, что «язык (слово) говорит в нас»¹⁰⁷, «как “голос мира”, “голос события”, избирающий конкретного человека или конкретную нацию... чтобы донести до людей весть о правде бытия»¹⁰⁸, а не говорящий разумно и свободно говорит словом. Однако тотчас возникает вопрос, зачем же тогда вообще говорящему говорить, ответить на который, не вводя личное действие говорящего (пишущего), оказывается невозможным. А, кроме того, если заметить, что словесный язык постоянно изменяется, его строй и элементы трансформируются, заимствуются, понимаются по-разному, более того, языка в чистом словесном виде не известно никому, — то исследователь встает перед необходимостью признать, что вербальный инструмент, который был определен в качестве объекта описания и исследования, все же нельзя уподоблять «молотку»: в отличие от последнего, язык-инструмент в его словесной форме прямо рассыпается в руке — он несамотождествен, изменчив, у него нет постоянной формы, свойств «пазла» — по крайней мере, в словах его как систему наблюдать невозможно. При этом как бы в насмешку над рассыпающейся системностью, в реальном речемыслительном процессе говорящий, тем не менее, успешно

¹⁰⁷ Напр., *Булгаков С.Н.* Философия имени. Париж, 1953. С. 23.

¹⁰⁸ *Бибихин В.В.* Язык философии. М., 1993. С. 46 и дал. Критический отзыв о таком восприятии фактов языка, см.: *Нарумов Б.П.* «Язык» лингвистики и «язык» философии. *Contra Бибихин // Логос* 1999, № 1. С. 214-221.

пользуется всем тем, что называли «языком» — он действует словами разумно и свободно, способный к продуктивному генерированию словесных действий и восприятию действий других коммуникантов.

Итак, идея осмысленного свободного действия идея языка-инструмента явно противоречила. Поэтому любые поиски «языка» (а его невозможно было отбросить ввиду традиционности) при признании говорящего (а его невозможно было долее игнорировать) содержат в себе противоречие, не разрешимое до полного изгнания идеи «языка» в его античном (и одновременно сосюроевском) понимании. Выход за пределы античной схемы стал возможен тогда, когда наука о «языке», наконец, оставила античный материал — распростертые перед исследователем тексты, написанные, зафиксированные, заведомо правильные и нормативные, содержащие ограниченное количество сводимых к правилам фактов. Стихия коммуникативного взаимодействия, в которой с гораздо большей определенностью можно наблюдать все аутентичные свойства речемыслительного процесса, вводила мысль исследователей в новую систему координат. В ней вербальный материал уже не выглядел самодостаточным, однозначным, теряя самоидентичность на глазах исследователя.

Младограмматики: назад, к звукам

Младограмматики являют собой поле противостояния конфликтующих идей. Внимание к «живому» языку, проявленное Гумбольдтом, приводит их к признанию, что язык сводится к индивидуальной психофизической (психофизиологической) деятельности, т. е. деятельности говорящего. Отсюда возникает и постулируется требование обратиться к изучению в первую очередь живых языков,

которые легче, чем мертвые древние языки, поддаются наблюдению и, следовательно, дают больше материала для раскрытия закономерностей развития. Однако всецело в духе прежней сохраняющей силу парадигмы это требование, как известно, не было исполнено ими самими последовательно. Так, изучение живых языков с их главным источником — говорящим — оборачивается у младограмматиков изучением *истории* этих языков, соответственно, речь идет о прежнем объекте — едином развивающемся организме, который терпит от говорящих многое, изменяется, но остается самим собой. Младограмматическая попытка примирить идею предметного языка и идею говорящего (в действительности свободно действующего и ничего не знающего о «языке») выразилась в признании непреложности фонетических законов, которые действуют в речевом общении на конкретном языке: получается, что говорящий говорит свободно, но при этом непреложные законы все же проявляются в его речи. Надеяться найти их с наибольшей вероятностью можно было только в самом физическом (физиологическом) процессе говорения, оставив все остальные языковые явления и уровни за пределами доступных факторов детерминирования. Крах этой попытки точного описания состоял в невозможности свести все фонетические явления к действию постулируемых законов (Б. Дельбрюк, в конце концов, вообще отказывает в закономерности процессам звуковых изменений, поскольку «язык слагается из человеческих действий и поступков, которые, по-видимому, произвольны»¹⁰⁹), а также в том, что другие области

¹⁰⁹ Звегинцев В.А. Младограмматическое направление. // История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 1. М., 1964. Ч. 1. С. 185.

«языка» — традиционные синтаксис и морфология — не поддавались физикализации и были просто оставлены младограмматиками без сколько-нибудь заметного внимания.

Так, на новом витке теории предметный подход к феноменам языка приводит исследователей, занятых поисками закономерностей в «кубиках», к звукам, как некогда Платона уверенность в том, что в языке слова значат нечто, привела к поиску смыслов в «ро», «мю» и прочих буквах, из которых состояли слова. Однако едва ли не тотчас становится очевидным и то, что «язык» — это не только звуки и буквы: «язык слагается из человеческих действий и поступков, которые, по-видимому, произвольны», — что, в свою очередь, и разбивает рассуждения о языке как о механистическом явлении и вместе с ними — надежду обнаружить строго детерминированную систему в предметном элементе наблюдаемого речемыслительного процесса.

Интересно, что сам императив поиска фонетической языковой системы выразился у младограмматиков в нахождении по возможности полного списка условий и ограничений, при которых новооткрытые фонетические законы являются законами, — при этом чем дальше простирается языковое исследование в область истории, тем менее стесняют исследователя эти условия и ограничения, ускользающие от взгляда и теряющиеся в дали веков, тем свободнее чувствует себя исследователь и тем более глобальными и генеральными становятся его формулировки. Такое положение дел было прямым следствием казуистики, рожденной вследствие необходимости примирить прежнюю идею самотождественного инструмента и новую идею говорящего, у которого инструмент явно рассыпался в руках. Возникал парадокс: говорящий действует,

а инструмента не наблюдается. В этой теоретической ситуации исследователи, не допускающие очевидно крайней мысли, что «языка-инструмента» попросту нет, пробовали иные возможности: если инструмента нет сейчас, может статься, он был самоидентифицирующимся за несколько мгновений до акта речи? Или, может быть, просто недостаточен список категорий, в которых можно представить этот инструмент целостным? Такой теоретический вектор до сего дня устремляет сравнительно-историческое языкознание в область глобального, в поисках общезначимых объективных законов и свободы от говорящего: первые сводятся, как правило, к фонетическим закономерностям, а последний просто игнорируется, «выносится за скобки».

2.3. КРИЗИС ПРЕДМЕТНОЙ МОДЕЛИ:

СТРУКТУРАЛИЗМ, ДЕСКРИПТИВИЗМ, ГЕНЕРАТИВИЗМ

СТРУКТУРАЛИСТСКИЙ КРИЗИС АНТИЧНОЙ МОДЕЛИ

Разработка формального метода, которому, казалось бы, должна была поддаваться языковая предметность, завершилась кризисом, который выразился в крайних формах европейского структурализма и американского дескриптивизма еще более отчетливо, чем у вышеназванных последователей Гумбольдта и младограмматиков. Оснащенное новыми формулировками Соссюра, но так и не выведенное за пределы традиционных теоретических «подлежащих», структурное языкознание в Европе и Америке по-прежнему пыталось следовать одному из главных постулатов античной науки о языке, — прямой корреляции «знак—значение», которая устанавливалась по наблюдаемому «очевидному» положению вещей: значение

устанавливается по вербальной форме на основании общепринятых правил организации вербальной системы. На этом тупиковом пути структурные исследования в действительности добывали весьма важный побочный продукт, оказавшийся значительнее всех искомых фактов системности, а именно — недоверие к предметному материалу «языка» и к самой возможности собрать из него достойный доверия «пазл», т. е. языковую систему. Этого побочного продукта было тем больше, чем значительнее было углубление исследований в область смысла и значения — квинтэссенции того, что составляет речевой и мыслительный процесс.

Так, попытки Л. Ельмслева создать структурную семантику оборачивались на деле более или менее подробной систематизацией культурного опыта, с которым в действительности слова — тем более слова разных языков — были связаны настолько опосредованно и нестрого, что найденное в них формальное выражение внутренних семантических свойств и признание в них и их частях смыслоформального единства выглядело не чем иным, как насилием над материалом. Однако сам исследователь «по старинке» настойчиво видел в словах признаки «семантической системы» и был убежден в возможности ее создания на основе присущих словам значений:

«Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? Да, можно, и должно считать по двум причинам: 1) так как частные значения зависят от исчисления вариантов, которые выводятся логически из возможных реляций, предусмотренных при описании формы; 2) так как общие «значения», или семантемы, зависят от значимостей, которые также подчинены форме и определяют возможные корреляции».

«Значение слова как до анализа, так и после него является основным объектом семантики; «семантическое слово», лексическое слово или просто слово сохраняет все свои права. Сочетая изучение знаковых уровней с изучением семантических уровней, можно прийти к построению лексикологии, которая в принципе будет аналогична лексикологии, недавно предложенной Маторе, «социологической дисциплине, использующей лингвистический материал, каковым являются слова». Обнаруживая «ключевые слова», характерные для данного общества в данную эпоху, и устанавливая как функциональную сеть подчиненных слов, зависящих от этих «ключевых слов», так и иерархию, определяющую эту сеть, семантика, понимаемая в описанном выше смысле, должна стать венцом исторической науки и в более общем виде социальной антропологии. Пример для иллюстрации можно привести из области лингвистики: ключевое слово *структура* является словом, определяющим основное направление современной лингвистики»¹¹⁰.

В столь же безвыходной ситуации оказался и американский дескриптивизм: пребывая в уверенности, что «язык» непременно существует и что он всецело состоит из вербальных элементов (знание сегментации и дистрибуции которых и означает знание «языка»), а кроме того, — что именно единая система (единый «вербальный механизм») обеспечивает единообразие мыслимого значения, — исследователи взялись за собирание «пазла», имея прежнюю методологическую установку: найти строгую корреляцию «знак—значение». Поскольку же «значение» при столь простой схеме все время нарушало стройность получаемой «знаковой» картины (так, выделяемый и рассматриваемый элемент «пазла» всегда оказывался

¹¹⁰ *Ельмслев Л.* Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? / Пер. И.А. Мельчука. Благовещенск, 1998. С. 22.

«разным», «другим», «не тем же самым», в зависимости от множества *мыслимых* факторов, а также и сочетался с другими элементами «пазла» в зависимости от *мыслимых* же параметров речевых актов), то именно *мыслимость*, или «ментализм», дескриптивистам пришлось изгонять из описательной схемы. Тем самым попутно достигалась и методологическая задача — ограничить количество сущностей, используемых в процедуре научного описания. Эту ситуацию можно, по-видимому, сопоставить с той, которую некогда пережили младограмматики, столь же стремившиеся найти строгие законы функционирования языкового механизма. Как известно, найти «почти строгие» законы удавалось им лишь в области фонетики, которая, в сравнении с другими уровнями речемыслительного процесса, обладает минимальным количеством выделяемых физиологически заданных единиц. Они удобо-сопоставимы, удобо-разделимы и удобо-сочетаемы, но всецело сами по себе бессмысленны, антисемантчны. Соответственно, поиск структуры (системы, механизма) языка через вербальный «знак», как в случае младограмматиков, так и в случае дескриптивистов, последовательно приводил к необходимости признать бессмысленность «системы языка», ее антисемантичность. Однако признать значение (или смысл) естественного речемыслительного материала категорией избыточной, по-видимому, само по себе выглядело слишком схематично и, несмотря на декларируемый антисемантизм, слишком надуманно. Тупик такого метода был вполне очевиден: осмысленность имела место как до сегментации и дистрибуции, так и во время, и после них результаты этих дескриптивистских операций поверялись осмысленностью, естественным речевым узлом. От значения, которое вмешивалось в правильную

структуру предметного «языка» и нарушало ее, избавиться было нельзя, поскольку только для осмысленных действий в коммуникативном пространстве вербальные модели и нужны говорящим, которые, в свою очередь, приписывают им значения только по мере вовлечения в актуальные небесмысленные ситуации. В действительности для адекватности схемы было необходимо не бороться с осмысленностью, а отказаться от прежней схемы — не сопрягать прямолинейно предметные вербальные элементы с процессом смыслообразования: первые сами собой системы не образуют, соответственно, идея структуры (системы, механизма) теоретически неудобна, не эффективна для моделирования реальности речемыслительного процесса и не адекватна ей, второй весьма опосредованно связан с вербальной предметностью, соответственно, единообразия в понимании знаков самих по себе у реальных говорящих нет. Другими словами, строгой корреляции «вербальный знак—значение» в действительности не наблюдается, а идеи, опирающиеся на нее, всегда несколько подозрительны.

Таким образом, в затянувшемся приписывании предметному элементу «языка» невозможных для него свойств структурализм по обе стороны Атлантики зашел достаточно далеко, чтобы обозначить тупиковый пункт этого метода. Весь смысл и вся палитра значений явно не умещались в выделяемых формальных элементах «языка». Видимый предметный материал не мог вынести всей многообразной «семантики», которую, казалось бы, должен был иметь, если она, согласно античной модели «знак—значение», этим материалом выражается. Поэтому все попытки истолкования смыслообразования при сохранении античного предметного взгляда на «язык» могли сводиться лишь

к казуистическому оправданию априорной ошибочной схемы, т. е. к пушему дроблению вербальной предметности на значимые отрезки и к умножению предметно ориентированной номенклатуры понятий. На этом пути был возможен анализ, но результаты синтеза, т.е. приложения элементов и категорий, полученных в результате анализа, снова к речемыслительной реальности, всегда удручали. В конце концов угнетение «ментализма» в русле дескриптивных исследований с очевидностью означило поражение предметно ориентированного метода, изобличило полную неспособность античной структуралистской схемы моделировать естественный речемыслительный процесс и его составляющие.

Язык Н. Хомского

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОССЮРА

Не удивительно, что подтвердить недееспособность структуральной модели взяли на себя труд многие исследователи. Наиболее громкой была реакция Хомского, которому удалось несколько продвинуться в преодолении одной из традиционных aberrаций — привлечь внимание к процессам, которые локализованы в сознании говорящих-слушающих. Кроме того, он попытался в какой-то мере оторвать языковое исследование от отдельного слова и привлечь внимание к синтаксису. Однако парадоксальным образом Хомскому при этом удалось полностью сохранить магистральные направления прежней предметной парадигмы, и это сочетание определило общую конструкцию его генеративной модели. Несмотря на то, что учение Хомского претерпевало «трансформации» во времени, несколько наиболее важных «мыслимых

подлежащих» исследователя оставались нерушимыми при всех уточнениях и вариантах генеративной схемы.

Прежде всего, речь идет о «языке», понимаемом как механизм порождения «синтаксически правильных цепочек» [т. е. предложений] из «минимальных синтаксически функционирующих единиц (формативов) [т.е. в основном слов и словоформ]», — о «языке», который Хомский пытался обнаружить уже не в области чистой платоновской абстракции, а в сознании идеального носителя. На этом пути сам материал «естественного языка» вполне закономерно был осознан как первое и главное препятствие теории — он явно не производил впечатления необходимого предметного единообразия, которое с очевидностью свидетельствовало бы о стройности механизма. Поэтому Хомский сразу был вынужден повторить процедуру, уже известную из опытов де Соссюра, а именно — создать искусственный объект исследования, т. е. главный плацдарм своей объяснительной теории:

«Мы проводим фундаментальное различие между *компетенцией* (знанием своего языка говорящим-слушающим) и *употреблением* (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае употребление является непосредственным отражением компетенции. В действительности же оно не может непосредственно отражать компетенцию. Запись естественной речи показывает, сколь многочисленны в ней обмолвки, отклонения от правил, изменения плана в середине высказывания и т. п.»¹¹¹.

Таким образом, по примеру соссюрской оппозиции «язык—речь» возникает оппозиция «компетенция—

¹¹¹ Хомский Н. Язык и мышление / Пер. Б.Ю.Городецкого, В.В.Раскина. Благовещенск, 1999. С. 38.

употребление», спровоцированная теми же теоретическими затруднениями: естественный лингвистический материал в его жизненной нередуцированной форме был весьма неудобен для античного исследовательского инструментария, которым продолжал оперировать исследователь. Так, если считать (как это делали со времен первых опытов лингвистического описания), что понимание между говорящими достигается благодаря единству языкового механизма и единству значений слов (в чем и состоит до сих пор не преодоленная платоновская схема), то как же быть, например, с постоянной «неправильностью» обыденной речи — как неправильная речь порождается и понимается в тождестве? Ясно, что естественный языковой материал нужно преодолеть, исключив из разряда достойных описания объектов, и на его место поместить объект, более удобный для имеющихся теоретических инструментов. Характерно, что в построении Хомского речь идет именно о «языковой» компетенции, которая обеспечивает понимание, т. е. в сущности о том же «словесном языке», который известен идеальному среднестатистическому носителю от стоиков до Соссюра. Так, если осмыслять реальную ситуацию в рамках понятий «языка» и «языковой компетенции», то получается, что идеальный носитель, сталкиваясь с фактами нарушения идеального строя языка, все время достраивает порождаемую и слышимую речь до ее словесно правильного образа, и этот достроенный звучащий словесный образ дает возможность слушающему понять говорящего, а говорящему (который произнес грамматически неправильность), по-видимому, понять самого себя. Мысль о том, что понимание в любой коммуникативной ситуации зависит не прямо от произнесенных «самозначащих» слов, а в гораздо большей степени от невербальных

мыслимых компонентов коммуникативного акта, которые, в свою очередь, и вводят бессмысленные (и зачастую «неправильные», т.е. необычные) слова в осмысленные рамки и придают им значения, — эта мысль была совершенно не антична по духу и, соответственно, не умещалась в тех традиционных схемах, которыми пользовался Хомский. Поэтому «языковая компетенция» стала новой версией идеального лингвистического объекта, не присутствующего в реальности, но удобного для изучения.

Другой «язык» Хомского: полочки для кубиков

Кроме того, «язык» имеет у Хомского (в более ранней версии генеративной модели, а именно в «Синтаксических структурах») и другое определение:

«Под языком мы будем понимать множество (конечное или бесконечное) предложений, каждое из которых имеет конечную длину и построено из конечного множества элементов. Все естественные языки в их письменной или устной форме являются языками в указанном смысле»¹¹².

Если в первом определении «языка» речь идет о *механизме* порождения, то это определение, в свою очередь, имеет в виду сам результат действия этого механизма, т.е. *предметный элемент* языка — «правильные предложения» конкретного «языка L. Здесь, в свою очередь, обнаруживается другая традиционная аберрация языковой теории, а именно признание того, что языковой материал предметен, как набор формально определенных объектов (в данном случае — предложений). Бесконечность таких предметно представленных предложений, создаваемых

¹¹² Хомский Н. Синтаксические структуры / Пер. К.И. Бабицкого. Благовещенск, 1998. С. 27.

на каком-то языке, была констатирована еще В. фон Гумбольдтом. Соответственно, Хомский, воспринявший эту идею, был вынужден и здесь обратиться к редуцированию так понимаемого материала, поскольку описание *бесконечного* разнообразия не могло быть предпринято никакой грамматикой. Вполне естественно, что для *понимания* констатированной бесконечности понадобился набор каких-то конечных средств. Именно в этой теоретической ситуации проявились всецело предметные основания языковой схемы Хомского: эти конечные средства он находит в самих лингвистических структурах, а не за их пределами, т. е. в самом предметном материале речемыслительного процесса. Другими словами, исповедуя античный принцип «знак—значение», Хомский обнаруживает механизмы смыслообразования в самих знаках, оставаясь, таким образом, при античных кубиках и пазлах. Даже в той ситуации, когда в поле зрения исследователя попадает то, что не выражено в слове, но явно присутствует в сознании говорящего и слушающего, Хомский, вместо того, чтобы признать факт неавтономности и несамостоятельности вербальной структуры, формулирует понятие т. н. пустой категории, которая занимает место в представляемом словесном предложении и которую «сознание видит в процессе вычисления структуры предложения». Понятно, что, по мнению Хомского, понимаются слова и их значения, а если для интерпретации языкового материала слов недостает, то вводятся домысливаемые слова (пустые категории):

«Ребенок, изучающий язык, не имеет никаких указаний на их существование, потому что они не произносятся. Однако похоже, что языковая способность ребенка включает достаточно точные сведения об их свойствах. Сознание ребенка помещает эти пустые категории туда, где они должны быть, используя

при этом принцип проекции, а потом определяет их свойства, применяя к ним различные принципы универсальной грамматики»¹¹³.

Нужно заметить, что принципы универсальной грамматики, о которых говорит Хомский, — тоже словесны. Для синтаксиса всех языков мира, согласно ему, определяющим является принцип структурной зависимости, в соответствии с которым важен не линейный порядок слов в предложении, а отношения между словами и операции, устанавливающие эти отношения — операции «движения», или перемещения (*movement*). В каждом типе сочетания слов выявляется своя вершина (*head*), причем позиция вершины относительно сочетающегося с ним компонента (справа или слева) характеризует в языке все типы конструкций одинаково. Имя относительно именной фразы или глагол относительно глагольной помещаются либо вправо, либо влево от сопровождающих их единиц, благодаря чему каждый язык оказывается либо право-, либо левOVERшинным (ср., например, англ. *in the bank* «в банке», где вершина — предлог, а весь язык — левOVERшинный в отличие от японского; ср. тж. *read a book* «читать книгу»).

Другими словами, речь идет о все тех же предметных элементах, которые строят механизм языка сами собой, вне субъекта с его разумной способностью (и даже без традиционной «семантики»).

ГЛУБИНА НА ПОВЕРХНОСТИ: РАЗБОР ПО СОСТАВУ

Эти структурные элементы представлены в учении Хомского т.н. непосредственно составляющими и трансформационными правилами, каждое из которых имеет

¹¹³ Хомский Н. Язык и проблемы знания / Пер. И.М. Кобозевой, Н.Исакадзе, А.А. Арефьева. Благовещенск, 1999. С. 192.

непосредственную словесную представленность. Так, при построении дерева порождения предложения по непосредственно составляющим каждое предметное слово или морфема заранее известного предложения (а его границы Хомский не покидал) получают структурную глубину, будучи сами интерпретированы как структурная поверхность. Но «глубина» просматривается через поверхность с предельной точностью — через конкретные слова и их части, как, например, «глубинное» прошедшее время будет видно на «поверхности» благодаря Aux — вспомогательному компоненту (т. е. попросту благодаря, например, уже «фонологическому» -ed), «глубинная» именная группа (NP) будет видна на поверхности благодаря имени (попросту благодаря какому-то конкретному «фонологическому» существительному), глагольная группа (VP) — благодаря глаголу с зависимыми словами, а все «глубинное» предложение будет видно на поверхности благодаря всем словам, его образующим. В этом и состоит предметный принцип, суть которого заключается в уверенности, что все аспекты значения можно отыскать в формальных чертах материала, т.е. найти прямую корреляцию «знак— значение».

Более того, предметная форма признается настолько всеобъемлющей, что о смысле можно вовсе не говорить, а вместо этого исследовать только сам предметный механизм:

«Всякие поиски определения грамматической правильности, основанного на семантике, останутся тщетными»¹¹⁴.

«Мы вынуждены сделать вывод, что грамматика автономна и независима от значения»¹¹⁵.

¹¹⁴ Хомский Н. Синтаксические структуры... С. 30.

¹¹⁵ Там же. С. 32.

В результате новую «генеративную» жизнь получают все прежние античные по происхождению категории, которые признаются приуроченными к словам и их частям и, более того, — содержащимися в словах и их частях, изображенными в виде древа порождения, построение которого весьма похоже на школьный «разбор по составу»:

«Чтобы определить трансформацию точно, необходимо описать разложение цепочек, к которым она применяется, и те структурные изменения, которые вызывает трансформация в цепочках. Так, пассивная трансформация применяется к цепочкам вида NP—Aux—V—NP и вызывает обмен местами двух именных групп, добавление *by* перед последней именной группой и прибавление *be+en* (т. е. глагола *be* в форме пассивного причастия. — *A. B.*) к Aux (вспомогательному компоненту глагола. — *A. B.*)»¹¹⁶.

Заметим, что в том же смысле «генеративную модель» реализует всякий современный и древний исследователь, который, например, утверждает, что «предложение состоит из подлежащего и сказуемого, каждое из которых имеет зависимые слова» (как $S > NP + VP$ у Хомского), или что, например, при образовании пассивного предложения подлежащее соответствующего активного предложения становится в творительном падеже, а то, что было в винительном, ставится в именительном (наподобие приведенного суждения Хомского, только уже применительно к русскому языку). Вполне очевидно, что вводимые Хомским «трансформации» (а все они именно такого свойства) представляют собой правила английского словоупотребления и традиционной английской грамматики, переписанные новыми условными обозначениями,

¹¹⁶ Хомский Н. Синтаксические структуры... С. 79.

с изъятием сложных случаев и с общим стремлением к простоте и «ядерности»:

«Мы можем сильно упростить описание английского языка и сделать новый и важный шаг к проникновению в его формальную структуру, если ограничим область прямого описания (в терминах анализа по непосредственным составляющим) ядром основных предложений (простых, повествовательных, активных предложений без сложных глагольных или именных групп) и будем выводить все остальные предложения из предложений ядра (точнее, из цепочек, лежащих в их основе) посредством трансформаций, возможно, повторных»¹¹⁷.

ПРЕДМЕТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЙ: АВТОНОМНЫЕ СЛОВА

Как видно, в трансформациях действуют прежние «существительные», «глаголы», «прилагательные», «артикли», «словообразовательные аффиксы», «показатели модальности», «порядок слов» и пр. Априорность введения этих понятий, по-видимому, отражает уверенность, что именно они присущи языковому материалу как его аутентичные свойства. При этом условность этих категорий, изначально «дектико-синтаксическая» причина их конституирования не попадают в сферу внимания Хомского: по его мысли, для того, чтобы участвовать в трансформациях, слова *уже должны обладать полным набором собственных свойств*. Слова, обладающие собственными свойствами, укладываются в трансформации благодаря синтаксическим закономерностям, которые в конечном своем виде восходят к свойствам самих слов. Иначе говоря, не грамматика порождает материал, а сам материал содержит в себе

¹¹⁷ Хомский Н. Синтаксические структуры... С. 31.

грамматику (заметим, что именно такая «порожденная» грамматика в области синтаксиса существовала со времени античных языковых исследований).

Такой *само*порождающий детерминизм формирует и соответствующее отношение генеративной теории к отдельно взятому слову. Здесь Хомский, несмотря на видимое невнимание, обнаруживает неменьшую привязанность к самозначащей лексеме, чем любой из его древних и новых предшественников. Так, в акте создания предложения самостоятельные свойства лексических единиц проецируются в синтаксис *из имеющегося словаря* (правила заполнения определенных позиций такими единицами называются «проекционными»). Иначе говоря, синтаксическая структура — базовый компонент — интерпретируется семантическим компонентом, носителем которого являются слова (все «терминальные» символы лексикализируются в соответствии с сочетаемостными ограничениями, хранящимися в словарных статьях лексикона). В этом смысле лексический компонент является столь же «базовым», как и синтаксический, поскольку он тоже изначально дан говорящему. Реализуется, таким образом, обычный подход к слову как носителю набора валентностей, которые сами строят предложения по заложенным в них правилам сочетания, несмотря на декларируемое первенство синтаксиса.

Семантика vs синтаксис: что важнее?

При этом, как видно, в трактовке значения отдельного слова Хомский обнаруживает двойственность, граничащую с внутренней противоречивостью: чтобы осуществить конечный переход от глубинной структуры к фонологической, необходимы строгие ограничения, «хранящиеся» в лексемах. Уровень конкретных лексем назван семанти-

ческим. При этом, как заявляет Хомский, семантика для грамматики не нужна, несмотря на то, что, как видно, она-то и строит конечные структуры, возникновение («порождение») которых берется объяснить генеративная теория. Так нужна ли генеративной грамматике семантика (содержащаяся, по мнению Хомского, в лексемах) или не нужна?

Как видно, главная причина этих попыток констатировать приоритет грамматического синтаксиса и для этого понизить в статусе семантику состоит в том, что и семантика и синтаксис видятся Хомскому традиционно — т. е. им приписываются невозможные для них свойства. Грамматика Хомского оказывается возможной только вне значения, поскольку слова занимают соответствующие позиции в предметных схемах, а говорящий только подставляет словесные элементы в модульную структуру. Противоречия статусов («что главнее?») возникают вследствие традиционной трактовки значения — приписываемого лексеме и столь же античного понимания предложения как самостоятельной синтаксической единицы. В действительности ни то, ни другое не самостоятельно вне актуального коммуникативного действия, которое и определяет (в сознании говорящего) все смыслы и все структуры. Поэтому античный синтаксис, т. е. самоорганизация самостоятельных слов, оказывается недостаточной и неэффективной моделью речемыслительной реальности. Синтаксис невозможен как предметный, продиктованный валентностями слов. Теоретически приемлемым можно считать только невербальный принцип организации материала, т. е. синтаксис мыслимой ситуации вербального действия, или дектический синтаксис.

САМОПОРОЖДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Построение предложения Хомский пытается представить как последовательное срабатывание *правил употребления слов*, или *трансформационных и фонологических правил* — о которых субъект, говорящий на родном языке, в действительности вовсе не помышляет и поэтому постоянно нарушает то, что констатирует исследователь (заметим, что в действительности пренебрежение «правилами» имеет место потому, что реальный говорящий не знает язык как механизм, но знает типологию действий в известных ему коммуникативных ситуациях; мотив вербально действующего коммуниканта — добиться цели, ради которой он строит вербальные элементы, которые, в свою очередь, интересуют его не как части какой-то никому не ведомой обязательной вербальной системы, а как элементы необходимого ему действия в данной мыслимой ситуации; какими бы ни были слова, они не важны сами по себе, если достигается цель). Так, например, в результате такого подхода формулируется одна из принципиальных позиций Хомского, а именно, что определенные предложения сказать можно, другие же предложения сказать нельзя (это суждение исследователь сам же опровергает тем, что *говорит* предложения, о которых прежде заметил, что сказать их невозможно, — т. е. подбирает для «невозможных» предложений актуальные ситуации, в которых они становятся элементом необходимого коммуниканту действия и, соответственно, оказываются «возможными»).

ДЕТЕРМИНИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОМ И ОТСУТСТВИЕ ГОВОРЯЩЕГО

Правила механизма порождения — это и есть то, что действует в языке, с точки зрения Хомского:

«Мы рассматриваем грамматику как систему, имеющую трехчастное строение. Грамматика включает ряд правил, с помощью которых можно воссоздать структуру непосредственно составляющих, и ряд морфофонемных правил, обращающих цепочки морфем в цепочки фонем. В качестве связующего звена имеется ряд трансформационных правил, переводящих цепочки структуры непосредственно составляющих в цепочки, к которым приложимы морфофонемные правила»¹¹⁸.

Вследствие признаваемого словесного детерминизма и детерминизма самого механизма порождения грамматика Хомского представляется в той же мере *само*-порождающей, в какой она представлялась исследователям со времен античности. Так, в «Синтаксических структурах» говорящий не играет вообще никакой сколько-нибудь заметной роли. Вместо него только сами структуры наделяются генеративной функцией, соответственно, речь идет о все том же механизме языка, который работает сам по себе, однако, неизвестно почему и неизвестно для чего, например:

«Т_д является трансформацией утверждения, которая создает утвердительные предложения *John arrives, John can arrive, John has arrived*»¹¹⁹.

В более поздних работах эта позиция осталась неизменной:

«Обнаружение пустых категорий и принципов, которые управляют ими и определяют природу ментальных представлений и вычислений вообще, можно сравнить с открытием в естественных науках волн, частиц, генов, валентности и т.п., а также принципов, которым они подчиняются. То же относится

¹¹⁸ Хомский Н. Синтаксические структуры... С. 130.

¹¹⁹ Там же. С. 84.

и к принципам фразовой структуры, теории связывания и других модулей универсальной грамматики. Мы впервые можем глубже заглянуть в скрытую природу сознания и понять, как оно работает, хотя эти вопросы обсуждались уже тысячами, причем зачастую интенсивно и продуктивно»¹²⁰.

ОТРИЦАНИЕ СВОБОДЫ СЛОВЕСНОГО ДЕЙСТВИЯ: ТВОРЧЕСТВО ЕСТЬ МЕХАНИЗМ

В чем заключается в такой ситуации творчество говорящих (которое Хомский постоянно упоминает) — совершенно неясно, поскольку все, что говорится, — порождается единичными трансформационными и фонологическими правилами. В действительности реализовать концепцию свободы, которой наделен говорящий и которую Хомский отчетливо видит, в рамках генеративной грамматики так и не удалось, поскольку этому препятствует античный инструментарий и прежние принципиальные позиции о языке как словесной (детерминированной словами) системе, обеспечивающей понимание. Так, в лекциях «Язык и проблемы знания» Хомский сначала ставит эту центральную для него (и вообще для языкознания) проблему:

«Проблема заключается в том, что «машина» вынуждена действовать строго определенным образом при заданных условиях и фиксированном расположении частей, в то время как человек при таких же обстоятельствах только «склонен и расположен» действовать согласно этой модели. Часто люди поступают в соответствии с этой склонностью, но каждый из нас осознает из самонаблюдения, что у нас есть выбор из некоторого числа вариантов. Мы можем также экспериментально установить, что то же самое верно и для других людей. Различие между быть вынужденным и просто быть склонным имеет принципиальное

¹²⁰ Хомский Н. Язык и проблемы... С. 192.

значение — абсолютно логично заключили картезианцы. Более того, оно не теряет своей значимости, даже если не выражено поверхностно в реальном поведении. В противном случае можно было бы дать непротиворечивое описание человеческого поведения в механистических терминах, но оно неверно бы характеризовало существенные свойства человека и потенции его поведения»¹²¹.

Далее устанавливается связь между свободой и разумом (действие последнего и есть свобода).

Затем, переходя к вопросам свободы уже применительно к языку, Хомский устанавливает преемственность между традиционной («универсальной и философской») грамматикой — и своей, генеративной, которые едины в том, что исследуют язык как «зеркало ума»:

«Исследования в русле универсальной философской грамматики состояли в поиске общих принципов языка. Последние считались по сути не отличающимися от общих принципов мышления (язык — «зеркало ума», как принято говорить). По ряду причин, имевших как положительные, так и отрицательные следствия, эти исследования были забыты и отвергнуты на целый век, а затем возродились снова, независимо, в 60-х годах нашего столетия, хотя и в другом облики и вне связи с идеями дуалистов (т. е. в генеративной грамматике. — *А. В.*)»¹²².

Кроме того, указывается на неудовлетворительность картезианского объяснения того, что составляет творческий аспект языка:

«Существенная разница между концепциями Декарта и Ньютона заключалась в том, что последний предложил подлинную объяснительную теорию поведения тел, в то время как теория картезианцев давала

¹²¹ Хомский Н. Язык и проблемы... С. 229.

¹²² Там же. С. 231.

неудовлетворительное объяснение свойств, подобных творческому аспекту использования языка, которое, с точки зрения Декарта, не подчинялось законам механики»¹²³.

Какой же ответ на эти вопросы дает Хомский, признавший, с одной стороны, свободу говорящего, с другой, — исповедующий принципы «языкового детерминизма»? Этот ответ прямо следует из развиваемого Хомским учения, которое, в свою очередь, стоит на предметных («материальных») основаниях и в действительности, несмотря на все декларации, не предполагает настоящей творческой свободы говорящего:

«Мы полагаем, что люди принадлежат миру природы. Они, очевидно, обладают способностями, необходимыми для решения определенных проблем. Из этого следует, что у них нет способностей для решения других проблем, которые либо слишком сложны для них ввиду ограничений, налагаемых временем, объемом памяти и т.п., либо в принципе находятся за пределами их потенциальных возможностей...

В случае языка языковая способность — физический механизм в смысле, уже объясненном выше, — имеет некоторые определенные свойства и не имеет других. Задача универсальной грамматики как раз и состоит в том, чтобы сформулировать и описать эти свойства. Именно они позволяют человеческому разуму усваивать язык особого типа с порою в высшей степени странными и удивительными чертами»¹²⁴.

Другими словами, «языковой механизм», работающий в говорящем, и есть, по мнению Хомского, его творческая способность:

¹²³ Хомский Н. Язык и проблемы... С. 234.

¹²⁴ Там же. С. 236.

«В случае языка существует особая способность, являющаяся одним из основных элементов человеческого разума. Она действует почти мгновенно, предопределенным способом, бессознательно и вне границ сознательного контроля, причем одинаково у всех представителей данного вида, образуя в результате богатую и сложную систему знаний — конкретный язык»¹²⁵.

Как видно, исследователю пришлось, по сути, отказаться от творческой способности. Вполне иллюстративно тут же предпринятое сравнение языковой способности со зрительной, которая действительно на первый взгляд выглядит вполне механистично (если не рассматривать постоянно действующий «когнитивный компонент» зрения, вне действия которого работа глаза не может быть названа «видением»). В результате говорящий предстает в виде той самой «машины», от которой Хомский попытался его отличить в ходе своего рассуждения. Эта теоретическая неудача, как видно, спровоцирована последовательной реализацией принципов, не подвергнутых критической рефлексии в начале пути и приведших к закономерному результату. В этом смысле выводы о свободе говорящего были бы для Хомского совершенно нелогичны, не соотнесены с методологическими посылками всего генеративного направления. Но в действительности, делая вывод о механистичности, исследователь остался при своей логике, соотнеся отдаленные начало и конец рассуждения: если говорящие понимают друг друга, то это было бы невозможно вне единой системы, значит, единая система, известная всем, есть, и это «язык»; говорящие говорят и понимают друг друга словами, значит, «язык»

¹²⁵ Хомский Н. Язык и проблемы... С. 242.

состоит из слов, они-то и образуют систему; если языком мы выражаем мысли и если в словах проявляется система языка, значит, нужно найти корреляцию слов (языка) с мыслительными процессами говорящего («язык — зеркало мышления»), и по мере установления этой корреляции исследователю будут доступны процессы мышления. Таким образом, открывается путь к созданию словесно ориентированных порождающих схем, которые действуют единообразно во всех носителях словесного «языка» — как универсального, так и конкретного. Среди этих предметных детерминированных механизмов для творческой способности говорящего действительно не находится места. В результате все, что может сказать говорящий, уже есть в «языке». Зачем же он тогда вообще говорит? Если говорящего уже детерминировала система, т.е. если все уже заранее определено, то ему остается только постоянно демонстрировать знание автоматизированных правил. Но зачем? Чтобы в очередной раз убедиться в бесполезности любой правильной речевой формулы? Неужели творчество состоит в бессмысленной игре с отлаженным устройством — «языком»?

Другая свобода

Действительно, противоречие между языком как системой и говорящим, действующим свободно, невозможно разрешить, сохраняя оба члена оппозиции. Приходится исключить либо предметный «язык» (которого один носитель никогда не знает идентично другому), либо говорящего с его вполне очевидной свободой. Хомский выбирает собственную систему построения правильных предложений вместо личного свободного действия коммуниканта, оставаясь, таким образом, в рамках прежней

схемы. Этот подход никогда не давал исследователю ступить на почву речемыслительной реальности, которая, заметим, состоит в том, что словесные структуры не порождаются и не интерпретируются сами по себе. Они всегда интегрированы в целостные ситуации действий, в которых говорящий действительно проявляет себя всякий раз заново и творчески, поскольку совершает эти действия автономно от (неизвестных ему) объективных систем, избирая наилучший способ достижения своих целей и решая свои задачи. Другими словами, творчество в действительности состоит в выборе наилучшего способа действия и в самом действии.

И все же, несмотря на структурные (т.е. предметные, упрощающие реальность) основания своей теории, Хомский, как уже было замечено, продвинулся на несколько шагов в сторону субъектного понимания лингвистического материала. Это движение можно констатировать по двум направлениям — во-первых, во введении понятия «глубины» словесной структуры, т.е. в переключении внимания с поверхности на ту область, которая находится за видимыми знаками (хотя они жестко коррелируют с предметными знаками), а также, во-вторых, — в том, что синтаксис (хотя и понимаемый традиционно, т.е. как организация целостного словесного предложения) трудами Хомского вырос в значении по отношению к словоизолирующей семантике. Последовательное движение в первом направлении в конце концов локализует «глубину» в целеположенных сознательных процессах говорящего и, соответственно, ведет к субъекту, свободному в осмыслении ситуации и в совершении языковых действий, — свободному от системного детерминирования (соответственно, к отказу от абстракции «язык»). Второе направление

неясно и весьма опосредованно указывало на синтаксис мыслимой коммуникативной ситуации как источник смыслообразования в вербальных структурах. Так, введенные Хомским понятия трансформаций в действительности осуществили первоначальный компромисс между старым и заново возникающим пониманием смыслообразования: трансформациям подвергается нечто, не имеющее первоначально видимой языковой формы (=коммуникативное понимание), однако это «нечто» слишком точно соответствует конкретным словам конкретных языков (=традиционное понимание). Если все же сделать еще один шаг и определить «глубинные структуры» как всецело невербальный синтаксис, который не имеет еще отношения к словам (чего Хомский в действительности не делал), только тогда теория обретает эффективный способ концептуализации подлинных «языковых универсалий» — действий в коммуникативном пространстве, осуществляемых на «разных языках» и соотносящихся друг с другом по мере совпадения невербального содержания этих действий. Другими словами, в указанных направлениях теория обретала возможность достигнуть подлинных языковых универсалий — типологии невербального, т.е. типологии действий в коммуникативном пространстве. Однако ни мыслимого коммуникативного пространства, ни свободного говорящего, ни отсутствия «языка», ни оторванности от слова Хомский, относясь к лингвистической традиции не вполне критически, не смог себе позволить.

2.4. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА

СТОЛКНОВЕНИЕ ПАРАДИГМ

Гораздо ближе к речемыслительной реальности подошла оксфордская школа естественного (обыденного) языка, основателем или, по меньшей мере, предтечей которой был Людвиг Витгенштейн. В пространстве его философии драматично сталкиваются, с одной стороны, традиция гуманитарного (в т. ч. лингвистического) знания, непротиворечиво преобладающая объектной парадигме, и, с другой, — острое чувство непосредственно наблюдаемой реальности, вступившее в противоречие с унаследованной предметной моделью и, в конце концов, не позволившее довериться традиционным схемам. Это столкновение разворачивается на вполне конкретных направлениях, которые образуют каркас любой лингвистической проблематики и которые в случае Витгенштейна получают философский статус: свой главный вопрос: «как избавить философию от неразберихи» — он пытается решить в области лингвистического материала. Таким образом, из разряда само собой разумеющихся «подлежащих» эти направления впервые становятся дискуссионными — объектами философско-лингвистической рефлексии. Речь идет 1) о значении элементов языка, т. е. слов, 2) о значении предложения, в т. ч. о его «логическом» содержании, и 3) о проблеме достоверного (т. е. всеобщего) знания:

«[Публикуемые в «Философских исследованиях» мысли] касаются многих вопросов: понятия «значение», понимания, предложения, логики, оснований математики, состояний сознания и многого другого»¹²⁶.

¹²⁶ *Витгенштейн Л.* Философские исследования. Предисловие // Философские работы. / Пер. с нем. М.С. Козловой и Ю.А. Асеева. М., 1994. Ч. 1. С. 78.

Именно эти основные вопросы не ставились под сомнение сторонниками объектной модели, начиная с Платона, а, скорее, считались априорными данностями: 1) значение, как подразумевалось, содержится в слове, 2) предложения соответствуют логическим пропозициям и выражают суждения («мысли»), 3) достоверность (в т. ч. восприятие в тождестве вербальных фактов различными людьми) возникает из единого знания единого «языка» или, по меньшей мере, прямо отражается этим знанием. Другими словами, античные аксиомы переводятся Витгенштейном в разряд недоказанных теорем, а на их месте постепенно выступает новая очевидность — «словами *кто-то* говорит», «логические структуры *кто-то* строит (вербализует)», «достоверное (?) знание *кто-то* получает»:

«515. Два изображения розы в темноте. Одно совершенно черное, ибо роза невидима. На другом она написана во всех деталях и окружена черным. Является ли одно из них верным, а другое неверным? Разве мы не говорим о белой розе в темноте и о красной розе в темноте? И разве, при всем том, мы не говорим, что в темноте их нельзя отличить друг от друга?»¹²⁷

Такое стояние перед очевидным обязывает перепроверить древнюю мудрость, в различной мере развеивая или ставя под сомнение объектные точки зрения на языковой материал. На этом пути Витгенштейн затрагивает и теснит все прежние «подлежащие», кроме одного — абстракции «язык». Последнее, впрочем, в целом не помешало ему продвинуть теорию речемыслительного процесса на несколько значительных шагов вперед и сообщить новый импульс осмыслению вербальных фактов.

¹²⁷ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 226.

ВИТГЕНШТЕЙН О ЗНАЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЯЗЫКА

ЗНАЧЕНИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ: СЛОВО НЕАВТОНОМНО

Слово — прежде главный самотождественный знак, непрерывный носитель смысла, вместивший в себя и охвативший собой двучленную корреляцию «знак—значение», — осмысливается Витгенштейном с точки зрения его места в «языковой игре», или в «употреблении» (= «контексте»):

«5. Вдумываясь в пример из § 1 [августиновское определение, в котором речь идет о традиционной трактовке значения. — *А.В.*], видимо, можно почувствовать, насколько эта общая концепция значения слова затемняет функционирование языка, делая невозможным ясное видение. — Туман рассеивается, если изучать явления языка в примитивных формах его употребления, где четко прослеживается назначение слов и то, как они функционируют.

Такие примитивные формы языка использует ребенок, когда учится говорить. Обучение языку в этом случае состоит не в объяснении, а в тренировке»¹²⁸.

«7. ... “Языковой игрой” я буду называть также единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен»¹²⁹.

«43. ...Для *большого* класса случаев — хотя и не для *всех*, — где употребляется слово «значение», можно дать следующее его определение: значение слова — это его употребление в языке. А *значение* имени иногда объясняют, указывая на его *носителя*»¹³⁰.

«55. Тем, что соответствует определенному имени, без чего оно не имело бы значения, является,

¹²⁸ Витгенштейн Л. Указ.соч. С. 82.

¹²⁹ Там же. С. 82.

¹³⁰ Там же. С. 99.

например, парадигма, употребляемая в языковой игре в связи с данным именем»¹³¹.

«197. ...Говорим же мы, нисколько не сомневаясь, что понимаем это слово, а между тем его значение заключено в его употреблении»¹³².

Как видно, речь идет о нескольких центральных понятиях, которыми пользуется Витгенштейн для определения значения вербального материала: «слово», «язык», «контекст», «употребление», «языковая игра». Последние три у Витгенштейна фактически синонимичны. Таким образом, можно констатировать первый шаг в сторону более адекватной теории смыслообразования, а именно мысль о том, что *значение слова обнаруживает зависимость от чего-то, выходящего за пределы самого слова*:

«117. Мне говорят: «Ты понимаешь это выражение, не так ли? Выходит, я использую его в том значении, которое тебе знакомо». Как будто значение — это некая аура, присущая слову и приносимая им с собой в каждое его употребление.

Если, например, кто-то говорит, что предложение «Это здесь» (причем показывает на предмет перед собой) имеет для него смысл, то ему следует спросить себя, при каких особых обстоятельствах фактически пользуются этим предложением. При этих обстоятельствах оно и имеет смысл»¹³³.

Языковая игра: контекст жизни или коммуникативное взаимодействие

Итак, по Витгенштейну, «языковая игра» (=контекст, употребление) интегрирует значение слова. Примеры «языковых игр», данные в «Философских исследованиях»,

¹³¹ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 106.

¹³² Там же. С. 161.

¹³³ Там же. С. 128.

подчеркивают многообразие форм жизни, в которых используется «язык» как «компонент деятельности». Таким образом, делается еще один шаг: *вербальный материал* (не вполне свободный, правда, от «языка») *получает возможность рассмотрения в контексте жизни, где он, по мнению Витгенштейна, сопутствует какой-нибудь деятельности:*

«23. ... Термин «языковая игра» призван подчеркнуть, что *говорить* на языке — компонент деятельности или форма жизни.

Представь себе многообразие языковых игр на таких вот и других примерах:

Отдавать приказы или выполнять их —

Описывать внешний вид объекта или его размеры —

Изготавливать объект по его описанию (чертежу) —

Информировать о событии —

Размышлять о событии —

Выдвигать и проверять гипотезу —

Представлять результаты некоторого эксперимента в таблицах и диаграммах —

Сочинять рассказ и читать его —

Играть в театре —

Распевать хороводные песни —

Разгадывать загадки —

Остричь; рассказывать забавные истории —

Решать арифметические задачи —

Переводить с одного языка на другой —

Просить, благодарить, проклинать, приветствовать, молить.

Интересно сравнить многообразие инструментов языка и их способов применения, многообразие типов

слов и предложений с тем, что высказано о структуре языка логиками (включая автора *Логико-философского трактата*)»¹³⁴.

ПРАВИЛО — ФОРМА ЖИЗНИ

Так понимаемая языковая игра упорядочена. Проводя аналогию с игрой, Витгенштейн акцентирует внимание, с одной стороны, на устанавливающих игру *правилах*, с другой, на *практике применения этих правил*:

«108. ...Мы говорим о нем [феномене языка. — А. В.] так, как говорят о фигурах в шахматной игре, устанавливая правила игры с ними, а не описывая их физические свойства. Вопрос “Чем реально является слово?” аналогичен вопросу “Что такое шахматная фигура?”»¹³⁵.

«197. ...Говорим же мы, несколько не сомневаясь, что понимаем это слово, а между тем его значение заключено в его употреблении. Несомненно, что я сейчас хочу играть в шахматы: но игра становится именно шахматной игрой благодаря всем ее правилам...

Где осуществляется связь между смыслом слов “Сыграем партию в шахматы!” и всеми правилами игры? — Ну, в перечне правил игры, при обучении игре в шахматы, в ежедневной практике игры.

198. “Но как может какое-то правило подсказать мне, что нужно делать в *данный* момент игры? Ведь, что бы я ни делал, всегда можно с помощью той или иной интерпретации как-то согласовать это с таким правилом”. — Да речь должна идти не об этом, а вот о чем: все же любая интерпретация повисает в воздухе вместе с интерпретируемым; она не в состоянии служить ему опорой. Не интерпретации как таковые определяют значение.

¹³⁴ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 91.

¹³⁵ Там же. С. 126.

“Выходит, что бы я ни сделал, все согласуемо с таким правилом?” — Позволь поставить вопрос так: “Как возможно, чтобы определенное выражение правила — скажем, дорожный знак — влияло на мои действия? Какая связь имеет здесь место?” — Да хотя бы такая: я приучен особым образом реагировать на этот знак и теперь реагирую на него именно так.

Но этим ты задал лишь причинную связь, лишь объяснение, как получилось, что наши движения теперь подчинены дорожным указателям. О том же, в чем, собственно, состоит это следование указаниям знака, ты ничего не сказал. Ну, как же, я отметил еще и то, что движение человека регулируется дорожными указателями лишь постольку, поскольку существует регулярное их употребление, практика.

199. Является ли то, что мы называем “следованием правилу”, чем-то таким, что мог бы совершить лишь один человек, и только *раз* в жизни? — А это, конечно, замечание о грамматике выражения “следовать правилу”.

Невозможно, чтобы правилу следовал только один человек, и всего лишь однажды. Не может быть, чтобы лишь однажды делалось сообщение, давалось или понималось задание и т. д. Следовать правилу, делать сообщение, давать задание, играть партию в шахматы — все это *практики* (применения, институты). Понимать предложение — значит понимать язык. Понимать язык — значит владеть некой техникой¹³⁶.

Именно практика, следуя Витгенштейну, и делает приращение знаков правильным, собственно вводит правила *de facto*. Другими словами, правило «возникает» и «существует» в процессе применения, являясь формой жизни:

«241. “Итак, ты говоришь, что согласиём людей решается, что верно, а что неверно?” Правильным или

¹³⁶ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 162.

неправильным является то, что люди *говорят*: и согласие людей относится к *языку*. Это — согласие не мнений, а формы жизни»¹³⁷.

EX FINIBUS PLATONIS

Итак, трактуя значение слова, Витгенштейн рисует следующую картину: слово означает нечто в «языковой игре» (=«контексте», или «употреблении»); словесный «язык» существует в составе языковых игр, представляющих собой различные «формы жизни». Языковые игры ведутся по правилам, которые возникают в процессе применения знаков (слов). Место в языковой игре («форме жизни») отдельного слова и есть его значение. Таким образом, от автономного слова, понимаемого ранее как отдельный знак в особой системе («языке»), Витгенштейном сделан шаг в сторону некоей более очевидной «формы жизни» (употребления), которая становится необходимым условием смыслообразования в слове:

«432. Каждый знак, взятый *сам по себе*, кажется мертвым. *Что* придает ему жизнь? — Он *живет* в употреблении. Несет ли он живое дыхание в самом себе? — или же *употребление* и есть его дыхание?»¹³⁸

В результате пространство, которое Витгенштейн отводит значению слова, оказалось почти свободным от классического (=предметного, автономного, платоновского) понимания.

ЛАКУНЫ ТЕОРИИ ЗНАЧЕНИЯ

Более подробное рассмотрение трактовки значения проясляет детали, существенно уточняющие содержание

¹³⁷ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 170.

¹³⁸ Там же. С. 212.

теоретических векторов, заданных Витгенштейном, что, в свою очередь, позволяет затем интерпретировать особенности рецепции его лингвистической философии. Лакуны в трактовке значения, оставленные Витгенштейном последующим исследователям для восполнения, сводятся, как кажется, к нескольким принципиальным позициям:

а) недостаточная проработанность субъективной роли говорящего в процессе генерирования значения, неполнота в трактовке мыслимости значения;

б) неосознанная ориентированность на вербальный материал сам по себе;

в) не избытая до конца приверженность идее элементарного значения слова¹³⁹;

г) излишняя увлеченность аналогией с игрой, где проявляется аспект следования правилам, а не реальное — не шуточное, не игровое — взаимодействие, коммуникация;

д) несоотнесенность высказанных философских суждений о вербальном материале с лингвистическими схемами его описания, или нереализованность перехода от философских суждений о «языке» к лингвистическим суждениям о нем же;

е) сомнительная трактовка правил языковой игры, интегрирующей значения.

Начнем с иллюстрации последнего.

CIRCULUS VICIOSUS: ЯЗЫКОВАЯ ИГРА РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ, А ПРАВИЛА — ЯЗЫКОВОЙ ИГРОЙ

В витгенштейновской интерпретации значения непременно фигурирует деятельность, которой «язык»

¹³⁹ В частности, не сформулирована идея «значение действия», а вместо этого речь идет о значении отдельного слова, хотя и в употреблении.

и, соответственно, слова «языка» сопутствуют: языковая игра — это язык плюс деятельность, или

«единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен»¹⁴⁰.

Деятельность, в свою очередь, регламентируется правилами, вводимыми самой практикой употребления:

«54. ...в игре соблюдаются те или иные правила, так как наблюдатель может “вычитать” эти правила из практики самой игры — как некий закон природы, которому подчиняются действия играющих. — Но как в этом случае наблюдатель отличает ошибку играющего от правильного игрового действия? — Признаки этого имеются в поведении игрока. Подумай о таком характерном поведении, как исправление допущенной оговорки. Распознать, что некто делает это, можно даже не понимая его языка»¹⁴¹.

В результате оказывается, что языковая игра регламентируется правилами, а правила вводятся языковой игрой. В проекции на собственно языковой материал этот логический *circulus viciosus* выглядит следующим образом: говорящие говорят правильно, а говорить правильно — это так, как они говорят. Получается, что понятие о «правильном» становится излишним для определения того, что делают говорящие, но именно оно, «правильное», позволяет им говорить, т. е. играть в «языковые игры».

ПРИЧИНА ВВЕДЕНИЯ ПРАВИЛ — ПРЕДМЕТНОСТЬ ПОНИМАНИЯ «ЯЗЫКА»

Зачем же Витгенштейну понадобились *правила*, заставляющие его впасть в путаницу? Дело, по-видимому, в том,

¹⁴⁰ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 83.

¹⁴¹ Там же. С. 105.

что языковой материал, несмотря на декларируемую невозможность рассматривать его вне употребления, все же видится ему в образе *предметных слов и предложений, обладающих собственной причинностью и нормативностью*. Другими словами, определенность предметного облика слов влечет за собой понятия единообразия и регулярности, которые Витгенштейн ассоциирует с прежним понятием «языка» как определенного *правильного* механизма, или системы правил, например:

«61. ...Значение слова есть способ его употребления. Ибо этот способ и есть то, что мы усваиваем, когда данное слово впервые входит в наш язык.

62. Вот почему существует соответствие между понятиями «значение» и «правило»¹⁴².

«130. Наши ясные и простые языковые игры не являются подготовительными исследованиями для будущей регламентации языка, как бы первыми приближениями, не принимающими во внимание трение и сопротивление воздуха. Скорее, уже эти языковые игры выступают как некие *модели*, которые своими сходствами и несходствами призваны пролить свет на возможности нашего языка»¹⁴³.

«136. ...А что есть предложение, определяется, с одной стороны, правилами его построения (скажем, правилами немецкого языка), а с другой — употреблением знака в языковой игре»¹⁴⁴.

Правила, таким образом, становятся для Витгенштейна синонимом всего принятого и нормативного в области слов, или тем новым резервуаром, в который перетекает прежнее содержание — античные понятия о регулярности

¹⁴² Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 331.

¹⁴³ Там же. С. 131.

¹⁴⁴ Там же. С. 133.

«языка». Так, говоря о вербальном материале, он часто имеет в виду способ *организации предметных слов*:

«18. Тебя не должно смущать, что языки (2) и (8) состоят только из приказов. Коли ты хочешь сказать, что именно поэтому они неполны, то спроси себя, полон ли наш язык; был ли он полон до того, как мы ввели в него химическую символику и обозначения для исчисления бесконечно малых; ведь они как бы пригороды нашего языка. (И с какого числа домов или улиц город начинает быть городом?) Наш язык можно рассматривать как старинный город: лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, домов с пристройками разных эпох; и все это окружено множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки и стандартными домами»¹⁴⁵.

«528. Можно представить себе людей, владеющих чем-то отдаленно напоминающим язык: игрой звуков без словаря или грамматики»¹⁴⁶.

«569. Язык — это инструмент. Его понятия инструменты...»¹⁴⁷

(В конце концов витгенштейновское понятие о «языке», который выделяется из «единого целого» «языковой игры», — это набор контекстов (употреблений), связанных с каждым словом (что само по себе весьма близко к сосюровской трактовке значимостей:

«55. ...Тем, что соответствует определенному имени, без чего оно не имело бы значения, является, например, парадигма, употребляемая в языковой игре в связи с данным именем»¹⁴⁸.

В том же смысле он часто говорит о «грамматике слов»).

¹⁴⁵ *Витгенштейн Л.* Указ. соч. С. 86.

¹⁴⁶ Там же. С. 230.

¹⁴⁷ Там же. С. 170.

¹⁴⁸ Там же. С. 106.

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ «ЯЗЫКА» И «ЯЗЫКОВЫХ ИГР»

Другими словами, «языковая игра» и «язык» не взаимозаменяют друг друга, а сосуществуют, и Витгенштейн не обнаруживает четкости в их отношениях. На основании имеющихся контекстов сразу две формулы могут показаться вероятными: «язык есть языковая игра» — и «язык используется в языковой игре». Согласно общей схеме Витгенштейна, скорее, следует принять последнюю, а именно — действие становится языковой игрой, когда в нем используется «язык»:

«Поразительное разнообразие всех повседневных языковых игр не осознается нами, потому что одежды нашего языка все делают похожим. Новое (спонтанное, “специфическое”) — это всегда языковая игра»¹⁴⁹.

ПРАВИЛА И «ЯЗЫК» В АНАЛОГИИ С ИГРОЙ

Правила и «язык» сопрягаются в самой главной аналогии Витгенштейна — аналогии с игрой. В игру играют по правилам — в языковую игру играют тоже по правилам:

«7. В практике употребления языка один выкрикивает слова, другой — действует в соответствии с ними; при обучении же языку происходит следующее: обучаемый *называет* предметы; то есть, когда учитель указывает ему камень, он произносит слово. — А вот и еще более простое упражнение: учащийся произносит слово вслед за учителем. — Оба процесса похожи на язык. К тому же весь процесс употребления слов в языке можно представить и в качестве одной из тех игр, с помощью которых дети овладевают родным языком. Я буду называть эти игры “языковыми играми” и говорить иногда о некоем примитивном языке как о языковой игре.

¹⁴⁹ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 312.

Процессы наименования камней и повторения слов за кем-то также можно назвать языковыми играми. Вспомни о многократных употреблении слов в приговорах к играм-хороводам. “Языковой игрой” я буду называть также единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен»¹⁵⁰.

Признание объективной значимости правил заставляет Витгенштейна воссоздавать классическую схему, в которой знание общих правил есть гарант понимания. Более того, даже роль говорящего в речемыслительном процессе едва ли не полностью нивелируется правилами, обеспечивающими «игру»:

«Представь себе, что кто-то сказал: каждое хорошо известное нам слово, например в книге, уже само по себе окружено в нашем сознании некоей атмосферой, “ореолом” нечетко определенных возможных употреблений. Так, как если бы каждая из фигур рисунка проступала из легкой дымки, из фона слабо прописанных сцен, данных как бы в ином измерении, и мы видели бы здесь эти фигуры в других взаимосвязях. — Только сыграем в это предположение всерьез! — Тогда выявляется, что оно не может объяснить *отнесенность знаков к их значениям* (Intention). Если бы действительно было так, если бы возможные употребления слова — произносимого или слышимого всплывали в нашем сознании в неких полутонах, то это существовало бы только для нас. Однако мы объясняем с другими, не зная, испытывают ли и они эти переживания.

Что можно возразить человеку, заявившему, что для него понимание — внутренний процесс? — Что мы возразили бы ему, если бы он сказал, что знание, как играть в шахматы, для него внутренний процесс? — Мы заявили бы, что все в нем происходящее нас совершенно не интересует, когда мы хотим знать только,

¹⁵⁰ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 83.

умеет ли он играть в шахматы. — А если бы он нам на это ответил, что фактически речь и идет как раз о том, что нас интересует, то есть может ли он играть в шахматы, — то мы должны были бы обратить его внимание на критерии, позволяющие судить о его способности играть в шахматы, и, с другой стороны, на критерии его “внутренних состояний”¹⁵¹.

Другими словами, правила игры в шахматы позволяют играющим играть; соответственно, правила языковых игр — а это правила произнесения слов при осуществлении действий — позволяют говорящим говорить независимо от субъективности «внутренних процессов» в их сознании.

Автономность действия правил: пример чтения

Для иллюстрации автономности правила, которое само «ведет» и при этом не является особым психическим образованием (состоянием), т. е. другими словами, действует объективно, Витгенштейн рассматривает ситуацию чтения:

«167. ...существует единообразие в опыте чтения печатной страницы. Ибо этот процесс действительно единообразен. И его так легко отличить, например, от такого, в котором слова при взгляде на них представляются какими-то произвольными штрихами. Ведь уже сам по себе вид печатной строки столь характерен, то есть имеет совершенно особый облик: все буквы в ней приблизительно одной высоты и сходны по форме: они постоянно повторяются. То и дело повторяются и слова, и они нам довольно известны, как лица хорошо знакомых людей»¹⁵².

Процесс чтения сводится к тому, что буквы ведут читающего:

¹⁵¹ *Витгенштейн Л.* Указ. соч. С. 266.

¹⁵² Там же. С. 148.

«170. ...Когда мы, так сказать, совершенно сознательно позволяем буквам нас *вести*. Но это “позволять себя вести” состоит опять-таки только в том, что я пристально вглядываюсь в буквы, возможно, стараясь исключить иного рода мысли.

Нам представляется, будто с помощью некоего чувства мы воспринимаем как бы связующий механизм между зрительным образом слова и звуком, который мы произносим. Ибо если я говорю о переживании влияния, о причинной связи, о том, что текст меня ведет, то все это должно означать, что я как бы ощущаю движение рычага, связывающего облик буквы с ее произнесением»¹⁵³.

Процесс чтения, таким образом, интересует Витгенштейна только на стадии восприятия графических знаков и того звукового облика слова, который возникает в результате действия знака. При этом, как видно, из данной схемы намеренно исключена вся *сознательная* часть процесса, как будто бы графика и звук иллюстрируют объективную сущность знака и правила, проявляющие себя при чтении.

ЧТЕНИЕ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ

В действительности к чтению невозможен такой односторонний подход. От начала оно представляет собой осознанную коммуникативную процедуру, в которой действие знака основано на сознательном к нему отношении со стороны читающего, поскольку все фонетические образы слова, воспроизводимые в сознании, возможны только как часть уже имеющихся в сознании коммуникативных ситуаций, воссоздаваемых по напоминаемому фонетическому облику в осознаваемой ситуации. Другими словами,

¹⁵³ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 150.

читать значит воспроизводить, и то, что воспроизводится, — это часть или признак какой-то мыслимой ситуации, а не просто звучание, существующее, якобы, само по себе, обособленно от реальных коммуникативных действий, совершаемых посредством фонетических слов. Графические знаки не способны воспроизвести звучание, если оно заранее не существует в сознании читающего. Разделить звучание и значение, как это сделал Витгенштейн, — означает признаться в предметном восприятии языковых фактов, т.е. восприятию слова как внекоммуникативной целостности, в то время как в сложном процессе чтения никогда не возможно достичь воспроизведения *только* звукового слова, вне коммуникативной стихии взаимодействия говорящих. Так, например, фонетическое ударение слов, воспроизводимое при чтении на немецком языке (которое имеет в виду Витгенштейн), возможно только на основе существующего знания реального коммуникативного процесса, обычно осуществляемого посредством читаемых слов. Поэтому не объективное правило ведет читающего к фонетике слов, а читающий воспроизводит в сознании целостные коммуникативные ситуации, в той мере, в какой владеет ими. Именно поэтому, в частности, нельзя научить ребенка читать до тех пор, пока он не стал вполне свободно говорить на родном языке, т. е. до тех пор, пока не усвоил те коммуникативные ситуации, которые затем будут узнаваться им при чтении.

Как видно, в витгенштейновском истолковании правил (и построенного на них «языка») проявляется недооценка роли субъекта в речемыслительном процессе, несмотря на постоянные упоминания об играх, которые, казалось бы, не играют сами собой, а играют кем-то.

ДВЕ ОПАСНОСТИ ИГРОВОЙ АНАЛОГИИ

Характерно, что в аналогии с игрой Витгенштейна прежде всего интересуют правила, он сосредоточен всецело на них, проявляя через них аспект упорядоченности языковой игры. При этом две опасности, которыми чревата эта аналогия, грозят создаваемой теоретической схеме: 1) правила регулируют *условия* игры (соответственно, где найти в этой аналогии не условности, а серьезные, не игровые, реальные процессы, которые, как представляется, присутствуют в коммуникации и которые не присутствуют в условных правилах игры?); кроме того, 2) правила вводят единообразие и всеобщность языковых операций (соответственно, возникает вопрос «зачем говорить?», если все уже предопределено едиными правилами — и здесь, заметим, для разрешения этой абсурдной ситуации оказывается невозможным игнорировать субъекта, его цели и мыслимые результаты словесного действия). Эти опасности, похоже, не обошли стороной схему Витгенштейна.

ОТСУТСТВИЕ НЕИГРОВЫХ АСПЕКТОВ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Первая сказалась в том, что, проводя аналогию с игрой, Витгенштейн как бы остановился на полпути, так и не проговорив отчетливо, в чем состоят реальные серьезные неигровые аспекты языкового процесса. Так, в любой игре — спортивной, азартной и пр. — в действительности присутствуют мотивы играющих, далекие от стремлений просто следовать «правилам». Мотивы могут быть самыми разными — тренироваться, победить, самореализоваться, получить удовольствие от ударов по мячу, от усталости мускулов, от движения и пр., однако, все они имеют к соблюдению правил весьма опосредованное отношение.

Другими словами, *играющие играют не ради соблюдения правил*, но именно на правилах фиксирует свое внимание аналогия Витгенштейна. В результате оказывается, что играющие в *языковые* игры играют в них ради того, чтобы исполнить правила — «правильно сказать слова»:

«223. ...Правило всегда говорит нам одно и то же, и мы выполняем то, что оно диктует нам. Человек, обучающий кого-то, мог бы сказать ему: “Смотри, я делаю всегда одно и то же: я...”»

224. Слово “согласие” (“Übereinstimmung“) и слово “правило” (“Regel“) *родственны* друг другу, они двоюродные братья. Обучая кого-нибудь употреблять одно из этих слов, я тем самым учу его и употреблению другого.

225. Употребление слова “правило” переплетено с употреблением слов “то же самое”. (Как употребление слова “предложение” — с употреблением слова “истинный”)»¹⁵⁴.

Здесь, как видно, следует подозревать, что цель витгенштейновской аналогии, акцентирующей аспект правил, состоит в том, чтобы объяснить не сам речемыслительный процесс, а априорную *упорядоченность и организованность* «словесного инструмента» — того самого «языка», который, по мысли Витгенштейна, должен быть единым для всех, как едины для всех правила игры, — иначе использование инструмента было бы невозможно, как невозможна и совместная игра без правил.

Однако для чего все же говорящие говорят, или «играют»? Именно этот вопрос, не проясняемый витгенштейновской аналогией, представляется наиболее важным в схеме описания речевого процесса. В действительности

¹⁵⁴ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 168.

говорящие говорят ради достижения некоего результата своих целеположенных действий, осуществляемых в мыслимом коммуникативном пространстве, и эта субъектность от основания выстраивает всю описательную модель. Как ни странно, Витгенштейн, несмотря на неоднократно упоминаемые действия, в своей аналогии не идет дальше объяснений правильности вербальной формы, затрагивает только ее, оставаясь, таким образом, с античным «языком»-механизмом-«игрой», но не касаясь главной серьезной неигровой причины речемыслительного процесса — коммуникативного действия и типологии коммуникативных ситуаций.

ОТСУТСТВИЕ СВОБОДЫ ГОВОРЯЩЕГО

Вторая неудача, постигшая схему Витгенштейна вследствие аналогии с игрой и правилами, — признание автоматизма языкового процесса, подспудное и явное невнимание к свободе говорящего. Пытаясь найти источник правил, Витгенштейн вынужден выводить их из практики, поскольку очевидно, что эти правила не осознаются никем из говорящих на родном языке, зато каждый из говорящих все время пользуется в целом единообразными (регулярными) вербальными моделями. Практические действия совершаются правильно сами собой, неосознанно со стороны действующего:

«202. Стало быть, “следование правилу” — некая практика. *Полагать* же, что следуешь правилу, не значит следовать правилу. Выходит, правилу нельзя следовать лишь “приватно”; иначе думать, что следуешь правилу, и следовать правилу было бы одним и тем же»¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 163.

Их автоматизм, спроецированный на вербальный материал, не предполагает *осмысленности* в пользовании «языком». Получается, что говорящие, говоря по неосознанным правилам, играют в игру бездумно, автоматически, их речь (=игра, определенная правилами) неререфлективна, лишена свободы и мысли:

«219. “Все переходы уже, по сути, сделаны” означает: у меня нет свободы выбора. Правило, единожды определенное определенным значением, прочерчивает линии следования через все пространство. А если бы в самом деле происходило что-то в этом роде, разве это помогало бы мне?

Да нет же! Мое описание имело бы смысл, лишь если его понимать символически. Я должен был бы сказать: *так мне представляется это*. Повинуясь правилу, я не выбираю. Правилу я следую *слепо* ...

223. У нас нет такого чувства, что мы вынуждены постоянно ожидать кивка (шепота) правила. Наоборот, мы не ждем с напряжением, что же оно нам сейчас скажет. Оно всегда говорит нам одно и то же, и мы выполняем то, что оно диктует нам. Человек, обучающий кого-то, мог бы сказать ему: “Смотри, я делаю всегда одно и то же: я...”¹⁵⁶

ЗАПУТЫВАНИЕ СИТУАЦИИ: ПРАВИЛА ПОСТОЯННО НАРУШАЮТСЯ

Согласиться с этим невозможно, и это явно не составляет цели самого Витгенштейна, который, стремясь выбраться из устроенной самому себе западни, окончательно запутывает ситуацию, говоря, что правила игры (определяющие игру и дающие возможность играть) отменяются и нарушаются (о «скептическом парадоксе» в интерпретации Крипке см. далее):

¹⁵⁶ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 168.

«83. А не проясняет ли здесь [т. е. в трактовке правила. — *А.В.*] аналогия между языком и игрой? Легко представить себе людей, развлекающихся на лужайке игрой в мяч. Начиная разные известные им игры, часть из них они не доводят до конца, бесцельно подбрасывают мяч, гоняются в шутку друг за другом с мячом, бросают его друг другу и т. д. И вот кто-то говорит: все это время они играли в мяч, при каждом броске следуя определенным правилам.

А не случается ли, что и мы иногда играем, “устанавливая правила по ходу игры”? И даже меняя их — “по ходу игры”.

84. Я говорил об употреблении слова: оно не всецело очерчено правилами. Но как выглядит игра, полностью ограниченная правилами, не допускающими ни тени сомнения, игра, которую всякое отклонение заклинивает? — Разве нельзя представить себе правило, регулирующее применение данного правила? А также сомнение, снимающее *это* правило, и так далее?»¹⁵⁷.

А также:

«499. Сказать “Эта комбинация слов не имеет смысла” — значит исключить ее из сферы языка и ограничить тем самым область языка. Но границы можно проводить по разным основаниям. Можно обнести какое-то место изгородью, обвести линией либо ограничить еще каким-то способом с целью не впускать кого-то сюда или же не выпускать его отсюда. Но это может быть и элементом игры, в которой играющие должны, скажем, перепрыгивать через такой барьер. Или же это может отмечать, где кончаются владения одного человека и начинаются владения другого и т. п. Таким образом, проведение границы само по себе еще не говорит, для чего это делается»¹⁵⁸.

¹⁵⁷ *Витгенштейн Л.* Указ. соч. С. 119.

¹⁵⁸ Там же. С. 148.

Как видно, аналогия с «игрой по правилам» не полностью удовлетворяет Витгенштейна. Реальность использования «языка» дает примеры, заставляющие признать факт нарушения «правил» этой игры. Но следует признать, что с нарушением правил в рамках избранной аналогии игра прекращается и наступает то, что уже не описывается правилами данной игры, что не является данной игрой. В проекции на языковой материал в этот момент следует констатировать прекращение языкового процесса. Но он парадоксальным образом продолжается. Характерно, что и в первом, и во втором из приведенных пассажей для завершения мысли Витгенштейну в финале необходимы *новые правила*, регулирующие отмену прежних: в первом присутствует другое «правило» — не этой игры, только что прерванной из-за нарушения правил, а другое — «правило, регулирующее применение данного правила», во втором — проведение границ по разным основаниям, перепрыгивание через барьеры, ставшее правилом новой игры.

Очевидно, таким образом, что апория, в которой оказывается Витгенштейн, — это сами априорно введенные правила, т.е. правила игры, возникающие из предметного «языка». Языковые правила необходимо теоретически доказывать и спасать, несмотря на постоянное их нарушение, и вообще полное их отсутствие в сознании говорящих. Повидимому, имеет место неоправданный акцент, фиксирующий внимание на формальной предметной — «регулярной» — стороне вербального материала, в ущерб коммуникативной сущности осознанного вербального действия, в котором организуются новые доселе «неправильные» связи, возникает новый синтаксис ситуации, в котором говорящий и видит смысл своих осознанных действий.

Слово в обособленной и связной позициях

Как уже ясно, «язык», организованный правилами «игры», понимается Витгенштейном всецело словесно, как правильный порядок вербальных элементов, хотя и получающих значения из употребления (вместо прежних присущих им автономных значений). Похоже, рассматривая элемент (слово) и позицию этого элемента, Витгенштейн оказывается в том же затруднительном положении, в каком и любой языковед, созерцающий, с одной стороны, «слово» (в единстве его предметного облика) и, с другой стороны, «слово в контексте»:

«558. Что подразумевают, говоря, что слово “есть” в предложении “Роза есть красная” имеет иное значение, чем в предложении “Два, помноженное на два, есть четыре»? Если в ответ на это скажут: имеется в виду, что для этих двух слов значимы разные правила, то на это следует возразить, что мы имеем здесь дело лишь с *одним* словом. А если я обращаю внимание исключительно на грамматические правила, то они как раз и позволяют употребление слова “есть” и в той и в другой связи. Правило же, указывающее, что слово “есть” в этих предложениях имеет разные значения, таково, что разрешает заменять слово “есть” во втором предложении знаком равенства и запрещает это делать в первом предложении.

559. Хотелось бы потолковать о функции слова в *данном* предложении. Как если бы предложение было неким механизмом, в котором слово выполняло определенную функцию. Но в чем состоит эта функция? Как она высвечивается? Тут же нет чего-то скрытого, ведь все предложение на виду. Функция должна выявляться при оперировании словом. (Тело значения)»¹⁵⁹.

¹⁵⁹ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 235.

В такой ситуации требуется разрешить вопрос о том, каковы отношения между этими позициями. Распространенным рабочим решением, принятым в рамках традиционной античной схемы, является признание того, что слово имеет собственное размытое, неточное значение, а контекст уточняет и корректирует эту размытость, вводя ее в рамки данного текста. Такой подход оправдывает, в частности, поиски наиболее точных значений слов данного языка («коль скоро размытое значение все-таки есть, значит, в размытом по краям значении есть и сердцевина — нечто вполне бесспорное»), компонентный анализ слов, этимологический подход к отдельно взятым лексемам и пр. При этом как бы забывается, что аутентичный способ существования «отдельного слова» — это контекст в широком смысле, не просто словесный, а коммуникативный, т. е. целостная мыслимая ситуация вербального действия. Так, нужно признать, что двуязычный словарь, воплотивший собой атомизирующий подход к «языку», редуцирует живую действительность речемыслительного процесса, разбивая ее на отдельные элементы: первоначальный «контекст» искусственно препарирован, отдельные слова изъяты из естественных условий функционирования; чтобы реанимировать естественное слово, словарь дает контексты, пытаясь вернуть единицу коммуникации в аутентичную среду бытования. Считать ли изъятие слова из коммуникации правомерным — и тем самым согласиться на античную схему «знак—значение», или же признать словарный способ представления значений вынужденной мерой, искусственным техническим приемом — и тем самым констатировать иную схему смыслообразования в речи и иную роль отдельной лексемы в этом процессе? Судя по всему, Витгенштейн оказался не вполне свободен

от прежней словоизолирующей трактовки, несмотря на декларируемое «значение в употреблении»:

«71. Можно сказать, что понятие “игры” — понятие с расплывчатыми границами. — “Но является ли расплывчатое понятие понятием вообще?” — Является ли нечеткая фотография вообще изображением человека? Всегда ли целесообразно заменять нечеткое изображение четким? Разве неотчетливое не является часто как раз тем, что нам нужно?»

Фреге сравнивает понятие с некоторой очерченной областью и говорит, что при неясных очертаниях ее вообще нельзя назвать областью. Это означает, пожалуй, что от нее мало толку. — Но разве бессмысленно сказать: “Стань приблизительно там!”? Представь, что я говорю это кому-то, стоящему вместе со мной на городской площади. При этом я не очерчиваю какие-то границы, а всего лишь делаю указательное движение рукой, показывая ему на определенное место. Вот так же можно объяснить кому-нибудь и что такое игра...»¹⁶⁰.

А также:

«138. ...Но ведь мы *понимаем* значение слова, стоит нам его услышать или произнести, это значение схватывается мгновенно, и то, что мы таким образом схватываем, есть нечто иное, нежели развертываемое во времени “употребление”!..

139. Так, когда мне говорят слово “куб”, я знаю, что оно означает. Но разве при этом, когда я так *понимаю* слово, в моем сознании возникает его *употребление* во всем объеме?»

Ну, а с другой стороны, разве значение слова не определяется и этим его употреблением? Могут ли способы определения значения противоречить друг другу? Может ли “значение”, схватываемое *мгновенно*,

¹⁶⁰ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 113.

совпадать с употреблением, соответствовать или не соответствовать ему? И как может то, что дано нам в одно мгновение, что моментально возникает в нашем сознании, соответствовать его *употреблению*?

Что же, собственно, нам представляется при *понимании* слова? — Не напоминает ли оно собою некую картину? Разве оно не может *быть* картиной?

Ну, предположим, что ты услышал слово “куб” и в твоём сознании возникла картина. Скажем, рисунок куба. Насколько это изображение соответствует или не соответствует употреблению слова куб? — Возможно, ты мне возразишь: “Да это же очень просто: если у меня в сознании возникает эта картина, а я указываю, скажем, на трехугольную призму и заявляю, что это куб, то такое употребление слова не соответствует картине”. — Действительно ли не соответствует? Я сознательно подобрал такой пример, чтобы можно было легко представить себе *метод проекции*, согласно которому образ все-таки будет соответствовать реально видимому.

Образ куба, безусловно, *предлагает* нам определенное его употребление, но я могу употреблять его и иначе.

140. ...При этом важно понимать, что, хотя услышанное слово может вызывать один и тот же [образ] в нашем сознании, его применение, однако, может быть разным. Имеет ли слово *одно и то же* значение в обоих этих случаях? Я думаю, что следовало бы сказать — нет»¹⁶¹.

Родственные сходства: предметное единство

В том же ключе «общую форму предложения и языка» (которая следует из употребления единых слов) Витгенштейн возводит к тому, что объекты, называемые *единым словом*,

¹⁶¹ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 135.

«родственны друг другу многообразными способами» — т.е. находит «единую бесспорную область значения» *слова*:

«65. Здесь мы наталкиваемся на большой вопрос, стоящий за всеми этими рассуждениями. Ведь мне могут возразить: “Ты ищешь легких путей! Ты говоришь о всех возможных языковых играх, но нигде не сказал, что существенно для языковой игры, а стало быть, и для языка. Что является общим для всех этих видов деятельности и что делает их языком или частью языка? Ты увливаешь именно от той части исследования, которая у тебя самого в свое время вызвала сильнейшую головную боль, то есть от исследования *общей формы предложения* и языка”.

И это правда. — Вместо того чтобы выявлять то общее, что свойственно всему, называемому языком, я говорю: во всех этих явлениях нет какой-то одной общей черты, из-за которой мы применяли к ним всем одинаковое слово. — Но они *родственны* друг другу многообразными способами. Именно в силу этого родства или же этих родственных связей мы и называем все их “языками”. Я попытаюсь это объяснить.

66. Рассмотрим, например, процессы, которые мы называем “играми”. Я имею в виду игры на доске, игры в карты, с мячом, борьбу и т.д. Что общего у них всех? — Не говори “В них *должно* быть что-то общее, иначе их не называли бы “играми”, но *присмотрись*, нет ли чего-нибудь общего для них всех. — Ведь, глядя на них, ты не видишь чего-то общего, присутствующего им *всем*, но замечаешь подобия, родство, и притом целый ряд таких общих черт. Как уже говорилось: не думай, а смотри! Присмотрись, например, к играм на доске с многообразным их родством. Затем перейди к играм в карты: ты находишь здесь много соответствий с первой группой игр. Но многие общие черты исчезают, а другие появляются. Если теперь мы перейдем к играм в мяч, то много общего сохранится, но многое и исчезнет. Все ли они “*развлекательны*”? Сравни шахматы с игрой в крестики и нолики. Во всех ли играх есть выигрыш и проигрыш,

всегда ли присутствует элемент соревновательности между игроками? Подумай о пасьянсах. В играх с мячом есть победа и поражение. Но в игре ребенка, бросающего мяч в стену и ловящего его, этот признак отсутствует. Посмотри, какую роль играет искусство и везение. И как различны искусственность в шахматах и в теннисе. А подумай о хороводах! Здесь, конечно, есть элемент развлекательности, но как много других характерных черт исчезает. И так мы могли бы перебрать многие, многие виды игр, наблюдая, как появляется и исчезает сходство между ними.

А результат этого рассмотрения таков: мы видим сложную сеть подобий, накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств в большом и малом.

67. Я не могу охарактеризовать эти подобия лучше, чем назвав их “семейными сходствами”, ибо так же накладываются и переплетаются сходства, существующие у членов одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т. д. и т. п. — И я скажу, что “игры” образуют семью.

И так же образуют семью, например, виды чисел. Почему мы называем нечто “числом”. Ну, видимо, потому, что оно обладает неким — прямым — родством со многим, что до этого уже называлось числом: и этим оно, можно сказать, обретает косвенное родство с чем-то другим, что мы тоже называем так. И мы расширяем наше понятие числа подобно тому, как при прядении нити сплетаем волокно с волокном. И прочность нити создается не тем, что какое-нибудь одно волокно проходит через нее по всей ее длине, а тем, что в ней переплетаются друг с другом много волокон»¹⁶².

В данном отрывке речь идет о вполне традиционном объяснении единообразия в вербальном материале: предметно *единое слово* предполагает *единое* («родственное»

¹⁶² Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 112.

у Витгенштейна) значение. Как объяснить общую форму предложения и языка? Она, по его мнению, с очевидностью имеет место в области предметных слов. Но вместо того, чтобы признать ее несамостоятельность (ведь слова всегда означают разное, поскольку всегда используются в различных языковых действиях различными говорящими), Витгенштейн обращается к объяснению (оправданию) единообразия и ищет его в традиционной сфере — по платоновской схеме «знак—значение». Возникает противоречие: единый облик слова (соответственно, нужно искать причины *единства* в слове) vs различные значения (соответственно, нужно искать причины *различия* в слове). Так что же искать и где? В этой ситуации Витгенштейн, желая избавиться от постигающей его самого неразберихи, два раза, как заклинание, повторяет откровенно противоречивую формулировку:

«Во всех этих явлениях нет какой-то одной общей черты, из-за которой мы применяли к ним всем одинаковое слово. — Но они *родственны* друг другу многообразными способами. Именно в силу этого родства или же этих родственных связей мы и называем все их “языками”»;

Ведь, глядя на них, ты не видишь чего-то общего, присущего им *всем*, но замечаешь подобия, родство, и притом целый ряд таких общих черт¹⁶³, —

другими словами, общего, свойственного сразу всем объектам, нет, но есть *родство, связывающее все «игры» и «языки» (т. е. связывающее не слова, а стоящие за ними объекты) между собой*. Как при этом отделить общее от родственного, не ясно. Стоит заметить, что видимое родство устанавливается только при заранее известном факте, что

¹⁶³ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 111.

сравниваемые объекты (явления) называются одним именем, т.е. заранее известно, что необходимо искать родство между ними. И если оно необходимо, то его всегда можно найти. При этом обнаружить родство между двумя выделенными объектами можно всегда — при участии или без участия каких-либо слов, одинаковых или различных.

(То же — в ситуации, когда Витгенштейн рассуждает о значении слова «ist». Здесь от констатации единообразия предметного облика слова осуществляется классический переход к языку-инструменту:

«561. Ну, а разве не странно, что я говорю: слово “есть” употребляется в двух разных значениях (как связка и как знак равенства), не преминув также сказать, что значение данного слова — это его употребление, то есть употребление в качестве связки и знака равенства?

Кто-то готов сказать, что два этих типа употребления не дают нам *одного* значения; что скрепление их одним и тем ж словом случайно, несущественно...

565. К чему нам то же самое слово? Ведь это тождество не находит применения в исчислении [оперировании словами]! Почему одна и та же игровая фигура служит двум разным целям? — А что в данном случае означает “находить применение тождеству”? Да разве не с таким применением мы имеем дело, используя то же самое слово?

566. Причем, если тождество неслучайно, существенно, то кажется, что использование того же самого слова, той же самой фигуры, имеет некую *цель*. И что эта цель состоит в том, чтобы человек был способен узнавать фигуру и знать, как играть...

569. Язык — это инструмент. Его понятия — инструменты»¹⁶⁴.

¹⁶⁴ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 236.

Родственные сходства: все значения слова

Кроме того, априорно констатированная связь «слово—значение» вынуждает Витгенштейна оперировать понятием «все», «всё» в отношении избранной лексемы: если слово предметно едино (а это очевидно), оно должно объять собой *все* значения, которые ему свойственны (ведь «слово существует в целостном облике, значит, нужно искать и смысловую целостность — *все* то, что оно значит»). Это влечет дальнейшее рассуждение о *единстве* и *общности* значения как причине целостности и определенности предметного слова, что, в свою очередь, ведет к установлению «родства» его «денотатов».

Однако, по-видимому, проблема родственного или общего не имеет отношения к предметному слову, поскольку все может быть родственным всему: не только подразумеваемые «игры» между собой, но что угодно может быть единым и родственным с этими «играми», лишь бы имела место актуальная ситуация, в которой говорящий назначил общность (родство) мыслимых объектов и объединил их в единый нужный ему класс. Так, например, с «игрой» можно объединить «лето», «аэроплан» или «торшер», если «назначить» соответствующие единые для них признаки сходства. Но показательно то, что Витгенштейн выделяет объект «игра» как целостный и единый ввиду наличия единого и целостного слова [игра], не видя его идеальной несамотождественности — как бы не признавая собственной формулы «значение слова есть его употребление».

Назначенность языковых игр

По-видимому, в этой ситуации родство следует искать не между объектами (как это продемонстрировано в «Философских исследованиях»), а как раз между «языковыми

играми» — актуальными ситуациями, в которых нет значений слов, а есть *значение (языковых) действий*. Иначе говоря, словом «игра» может быть названо едва ли не все что угодно, но это *все* не имеет отношения к тем характеристикам, которые Витгенштейн обнаруживает при рассмотрении «денотатов» «игры», поскольку название «игрой» одного из денотатов — всего лишь очередная языковая игра, в которой значат не сами слова (их вообще можно заменить, исключить, сказать на другом языке и пр.), а действия (которые можно производить на разных языках, переводить с языка на язык благодаря тождеству действий, а не «значений» слов и пр.). Именно поэтому самостоятельного значения у слова «игра» вне действия («языковой игры») нет, и, по-видимому, попытки найти «родственность» того, что называется «игрой», обречены на неудачу. Однако для Витгенштейна само предметное слово становится причиной поиска и нахождения какой-то общности, «родственности», т. е. «значения». В этом и состоит подспудная противоречивость его позиции, попытка — возможно, незаметная для себя — теоретизировать языковые феномены одновременно в словоизолирующей и «игровой» (коммуникативной) парадигме.

Нужно заметить, что в реальном речемыслительном процессе все происходит прямо наоборот: сначала — значение языкового действия (в сознании говорящего), затем — словесная реализация, затем — установление слушающим того действия, которое мыслилось говорящим (т.е. установление «значения слов»). Иначе говоря, на всех стадиях слово само по себе всегда несамостождественно вне мыслимых «языковых игр», которые ведутся всерьез, т.е. актуальных ситуаций коммуникативного взаимодействия. Как видно, Витгенштейн в данном случае обращен

не к процессу «серьезных языковых действий», а к правильному соответствию слов и объектов.

Игры именованя и описания

Весьма показательно в этом отношении и то, что повсеместно в «Философских исследованиях» и других трудах специально исследуются только «игры» с наименованием или описанием, т.е. те коммуникативные ситуации, в которых слова, приводимые для иллюстрации «значения», имеют предметные «референты». Нет ни одного специально разобранный случай, который позволил бы наблюдать, что речемыслительный процесс состоит не в том, чтобы именовать объекты (к чему сама собой сводилась античная парадигма), а в том, чтобы осуществлять операции мыслимого взаимодействия в рамках мыслимых условий (в чем и состоит коммуникативная парадигма). Если бы витгенштейновская концепция языкового значения не столь глубоко вдавалась в область предметности, словоизолированности, то слова «Воды! Прочь! Ой! На помощь! Прекрасно! Нет!», упомянутые им однажды¹⁶⁵, гораздо более иллюстративно в качестве примеров могли бы явить субъектный речемыслительный процесс как действие в коммуникативном пространстве. Однако Витгенштейн вольно или невольно занят двучленной схемой «знак—значение», для которой избираемые «знаменательные слова» и ситуации именованя (или описания) наиболее подходят, полностью удовлетворяя ее условиям:

«37. Каково же отношение между именем и именуемым? — Ну, так чем же оно *является!* Приглядиись к языковой игре или к любой другой! Там следует искать, в чем состоит это отношение. Это отношение

¹⁶⁵ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 92.

может состоять, между прочим, и в том, что при звуке имени у нас в душе возникает определенная картина названного, и в том, что имя написано на именуемом предмете, или же в том, что его произносят, указывая на этот предмет»¹⁶⁶.

Таким образом, понятие о предметном «языке» по-прежнему образует камень преткновения теории, рассматривающей вербальный процесс в качестве готового правильного (существующего по правилам) механизма. Несмотря на введенные понятия действия, реальный говорящий субъект (с его направленностью на коммуникацию) оттесняется на периферию теоретической картины «значения», в то время как именно в нем происходят процессы смыслообразования, делающие невозможным вынесение его за скобки. Витгенштейн все же склоняется к объектной лингвистической модели, в которой недооценивается тот факт, что значение назначается говорящим и затем распознается слушающим исходя из его возможностей представить действие говорящего. Значение не объектно, не существует само по себе, а субъектно мыслимо, распознаваемо в личном действии говорящего. Но в витгенштейновском значении оказывается словесного, предметного, объектного — больше, чем следовало бы, и мыслимого, внесловесного, субъектного — меньше, чем следовало бы. Другими словами, Витгенштейн не доводит до непротиворечивого завершения магистральные векторы, определяющие витгенштейновскую философию языкового значения: в понятиях «говорящий», «действие», «слово» присутствует часть, которая навязана античной схемой и не переосмыслена в составе субъектно мыслимого коммуникативного процесса.

¹⁶⁶ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 97.

ВИТГЕНШТЕЙН О ЛОГИКЕ

ПРЕОДОЛЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ: ОТ СТАТИКИ К ДИНАМИКЕ

Преодолевая в позднейших работах рамки классической логики, Витгенштейн совершал исход из своего логико-философского прошлого, т. е. из своего «Логико-философского трактата».

«Четыре года назад у меня был повод перечитать мою первую книгу (*Логико-философский трактат*) и пояснить ее идеи. Тут мне вдруг показалось, что следовало бы опубликовать те мои старые и новые мысли вместе: что только в противопоставлении такого рода и на фоне моего прежнего образа мыслей эти новые идеи могли получить правильное освещение. Ибо, вновь занявшись философией шестнадцать лет назад, я был вынужден признать, что моя первая книга содержит серьезные ошибки»¹⁶⁷.

За это время Витгенштейном была замечена невозможность атомизирующего подхода к рассматриваемым объектам (в т.ч. к языковой форме), а также — возможность синтетического подхода к последней, в виде языковых игр. Прежний подход к языку, против которого выступает Витгенштейн, сформулирован в соответствии с платоновской парадигмой:

«1. ... В этих словах [из Августина. — *А.В.*] заключена, мне кажется, особая картина действия человеческого языка. Она такова: слова языка именуют предметы — предложения суть связь таких наименований. В этой картине языка мы усматриваем корни такого представления: каждое слово имеет какое-то значение. Это значение соотносено с данным словом. Оно — соответствующий данному слову объект»¹⁶⁸.

¹⁶⁷ *Витгенштейн Л.* Указ. соч. С. 78.

¹⁶⁸ Там же. С. 80.

На смену этому Витгенштейн вводит динамическое понимание «языка в употреблении»:

«5. Вдумываясь в пример из § 1, видимо, можно почувствовать, насколько эта общая концепция значения слова затемняет функционирование языка, делая невозможным ясное видение. — Туман рассеивается, если изучать явления языка в примитивных формах его употребления, где четко прослеживается назначение слов и то, как они функционируют.

Такие примитивные формы языка использует ребенок, когда учится говорить. Обучение языку в этом случае состоит не в объяснении, а в тренировке»¹⁶⁹.

А также:

«23. ...Интересно сравнить многообразие инструментов языка и их способов применения, многообразие типов слов и предложений с тем, что высказано о структуре языка логиками (включая автора *Логико-философского трактата*)»¹⁷⁰.

При этом языковой материал становится для Витгенштейна твердым основанием его философствования, главным подспорьем в рассуждениях о логике:

«56. ...К логике относится все то, что описывает ту или иную языковую игру» (О достоверности)¹⁷¹.

Проблемы, в которых логика и философия, по его мнению, запутались, должны решаться на основании (или при участии) естественного языка:

«116. Когда философы употребляют слово — “знание”, “бытие”, “объект”, “я”, “предложение”, “имя” — и пытаются схватить *сущность* вещи, то всегда следует

¹⁶⁹ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 82.

¹⁷⁰ Там же. С. 91.

¹⁷¹ Там же. С. 330.

спрашивать: так ли фактически употребляется это слово в языке, откуда оно родом?

Мы возвращаем слова от метафизического к их повседневному употреблению»¹⁷².

«501. Не подхожу ли я все ближе и ближе к тому, чтобы сказать, что логика в конечном счете не поддается описанию? Ты должен присмотреться к практике языка, и тогда ты ее увидишь»¹⁷³.

Таким образом, главный шаг, совершенный Витгенштейном в области логической проблематики «языка», состоит в выраженной необходимости потеснить классическую логику.

«Назад, на грубую почву языка!»: ошибочное НАПРАВЛЕНИЕ

Это расшатывание устоев выражается в попытках обратиться от «кристальной чистоты логики» к «грубой почве языка», на которой зиждется то, что раньше основывалось на логике, т.е. заменить логику правилами языковых игр:

«107. Чем более пристально мы приглядываемся к реальному языку, тем резче проявляется конфликт между ним и нашим требованием. (Ведь кристальная чистота логики оказывается для нас *не достижимой*, она остается всего лишь требованием.) Это противостояние делается невыносимым: требованию чистоты грозит превращение в нечто пустое. — Оно заводит нас на гладкий лед, где отсутствует трение, стало быть, условия в каком-то смысле становятся идеальными, но именно поэтому мы не в состоянии двигаться. Мы хотим идти: тогда нам нужно *трение*. Назад, на грубую почву!»¹⁷⁴.

¹⁷² Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 128.

¹⁷³ Там же. С. 383.

¹⁷⁴ Там же. С. 127.

В этом бегстве, которое, по-видимому, совершенно оправданно и теоретически необходимо, ошибочным оказывается только пункт назначения — обыденный язык. Этот опрометчивый выбор прибежища — едва ли не главная теоретическая ошибка Витгенштейна, повторившего на новом витке гносеологическую процедуру Платона и стоиков — искать в (обыденном) «языке», понимаемом вполне предметно и правильно, т. е. по словам и по правилам, твердой почвы для созидания логико-философских конструкций. Другими словами, обращение к «естественному языку», возникшее от неудовлетворенности логикой, в действительности не может утешить взыскующего, поскольку весь актуальный языковой материал представляет собой действия говорящих — весьма косвенные свидетельства их мышления, понятий, того, что присутствует в их сознании. Иначе говоря, в языке, в т. ч. «обыденном», не содержится искомого тождества, и даже более того, — абстракция «язык» не дееспособна, не составляет определенного в своих границах теоретического объекта, который был бы пригоден для описательной схемы речевого и мыслительного процессов.

Лакуны критики логики

Эта aberrация Витгенштейна сказывается в нескольких значимых лакунах, наблюдаемых в рассуждениях о логике и предложении:

а) субъектная логика ставится на место классической не вполне последовательно. Идея о том, что причинно-следственные связи устанавливает сам мыслящий субъект (что, по-видимому, составляет основание субъектной логики), не развернута и даже не сформулирована Витгенштейном;

б) классическая логика сохраняет свои позиции в ряде принципиальных случаев; в частности, с позиций субъектной логики не произведена переоценка традиционно понимаемых данных «языка», «понимания», «предложения», которые осознаются с помощью прежнего инструментария;

в) все процессы смыслообразования рассматриваются в классических границах словесных предложений, с явной тенденцией свести материал к «утвердительным» или «нарративным» примерам;

г) мышление и речь во всех логических контекстах оказываются слишком тесно увязанными, несмотря на декларируемое различие.

Начнем с иллюстрации последнего.

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ: ТЕСНЕЙШАЯ СВЯЗЬ ВОПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ

Отношение мышления и речи — один из центральных пунктов как логической, так и лингвистической проблематики — по-видимому, требовал нового к себе отношения, и это осознавалось Витгенштейном. Согласно классической схеме, если мысль — это суждение, а суждение представляется в форме субъектно-предикатного предложения, то мысль неизбежно оказывается словесным предложением. Таким образом, языковой материал («полноправным» представителем которого со времен Платона и Аристотеля является суждение) становится одновременно свидетельством мысли, или просто самой мыслью — истинной или ложной, т. е. соответствующей или не соответствующей какой-то «истине», общей или частной.

Эта «логичная» последовательность рассыпается сама собой при первых признаках реального положения дел.

Стоит только заметить, что у любого суждения есть автор (которому, например, в зависимости от коммуникативного момента выгодно сказать «истину» «Земля круглая» или другую «истину» — «Земля не круглая»), или факт того, что суждения принципиально не отличаются от вопросов, восклицаний и пр. (ибо во всех случаях говорящий производит воздействие на адресата в собственных целях — спрашивает, убеждает, просит, провоцирует и пр.), или факт того, что подлежащие утвердительных предложений выделены и предцированы исключительно автором высказывания, а не сами собой «лежат на дороге», «восходят из-за горизонта» или «скрываются в тумане» (ибо до помещения в авторскую систему координат об объектах-будущих-подлежащих вообще невозможно с уверенностью сказать, *что* они собой представляют, *что* они «делают» и «делают» ли что-либо вообще), — стоит только заметить хотя бы это, и вопрос о возможном тождестве мышления и языка снимается сам собой: становится очевидным, что суждения — это личные действия в коммуникативном пространстве, ситуативные и актуальные для автора, принимаемые большим или меньшим числом слушающих; стало быть, сперва — невербальное мышление, затем — вербальное (воз)действие (если мыслящему субъекту необходима коммуникация). Соответственно, на месте вопроса об истинности суждения остается вопрос об искренности вербального действия, а логика сама собой обращается в коммуникативную этику (эту последовательность можно с отчетливостью наблюдать в развитии идей Ю.Хабермаса).

Витгенштейн, наблюдая мыслительный и речевой процессы, был вынужден заявить о «языке в действии», о «слове в употреблении», о «языковой игре» (т. е. «языке» и сопутствующих действиях). Отсюда, казалось бы, оставал-

ся шаг до признания того, что мышление далеко отстоит от форм «языка», как и сама классическая логика — от речевой и мыслительной реальности. Парадокс заключается в том, что в поисках твердой почвы Витгенштейн от классической логики устремляется к обыденному языку, как бы не замечая его несамостоятельности. В чем здесь дело?

Похоже, своим обращением к обыденному языку Витгенштейн невольно признается в том, что в действительности языковой материал не понимается им в качестве субъектного коммуникативного действия, так же как «язык» понимается им отдельно от действия. Как уже было замечено, он видит перед собой «язык»-систему правил, которому сопутствуют отделенные от него «действия». Именно поэтому витгенштейновская аналогия с игрой не проясняет реальный процесс коммуникации, а акцентирует аспект правильности. Игра Витгенштейна — это не соперничество, не борьба за единое пространство, не взаимовлияние участников «игры», не ходы-действия с целью достижения целей играющих-говорящих, а всего лишь и только исполнение правил. Так, понимание естественного вербального материала в качестве действия в коммуникативном пространстве закономерно вело бы к заключению, что вся предметная сторона речи, то есть то, что говорится и пишется — всего лишь инструменты воздействия, косвенные свидетельства процессов сознания, последствия мысли, но не сами сознательные процессы, не сами мысли. Витгенштейн, тем не менее, сопоставляет мысль и речь непосредственно, не рассматривая последнюю как осознанное действие, а первую — как его причину. Он зачастую признает, что это не одно и то же, но зазор между ними — скорее количественный, что напоминает платоновское и аристотелевское почти полное отождествление мысли и речи: речь

есть высказанная мысль. Оппозиция «речь как влияние на ситуацию» vs «мысль как выбор способов влияния, предшествующий действию в коммуникативном пространстве», Витгенштейном вообще не обсуждается. Скорее, речь идет о классическом понимании логических суждений, в которых «мысль» автора стремится отождествиться с вербальным «предложением» автора:

«318. Думая по ходу речи или письма — так, как это делается обычно, мы, как правило, не станем утверждать, что мыслим быстрее, чем говорим: напротив, мысль кажется нам здесь *неотделимой* от ее выражения. Но с другой стороны, говорят о стремительности мысли, о том, что мысль пришла в голову молниеносно, что проблемы вмиг прояснились для нас и т.д. При этом возникает вопрос: не происходит ли при молниеносной мысли то же самое только предельно ускоренно, что и в случае обдуманной, немашинальной речи? Так что в первом случае стрелка как бы обегает циферблат враз, во втором же, сдерживаемая словами, движется мало-помалу.

319. Я способен мгновенно схватить, или понять, мысль в целом, так же как могу набросать ее немногими словами или штрихами. Что же делает данный набросок суммарным выражением этой мысли?

320. Мгновенная мысль может относиться к мысли, сформулированной словами, как алгебраическая формула к ряду чисел, в который она разворачивается»¹⁷⁵.

Поэтому мышление и речь тесно связаны:

«“Речь” (Reden) (громкая или молчаливая) и “мышление” (Denken) — понятия разного рода, хотя они и связаны теснейшим образом»¹⁷⁶.

¹⁷⁵ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 304.

¹⁷⁶ Там же. С. 304.

Если бы сам вербальный процесс интерпретировался Витгенштейном как целостное действие, не разъятое на «язык» и «деятельность», то мышление оказалось бы связанным с речью не более, чем с любым другим свободным осмысленным действием, и различие между ними, по-видимому, следовало бы определить через мыслимые условия совершения этих действий: для вербальных — мыслимое коммуникативное пространство, для невербальных — все остальное. Однако именно речь становится для Витгенштейна наиболее близкой к мышлению, в отличие от других проявлений разумности, что, по-видимому, выдает приписывание ей особого статуса — связности с мышлением. При этом речь и коммуникация, обозначающие собой сферу, где проявляется акциональный аспект вербального процесса, не увязываются друг с другом, зато мысль и речь, обозначающие сферу, где проявляется гносеологический, «идеальный» (в античном понимании) аспект, всегда исследуются Витгенштейном параллельно.

Внутренняя речь: вербальность мышления

В этой связи характерно, что Витгенштейн многократно обращается к вопросу о внутренней речи, т.е. о том, какова природа слов, которые «звучат» в сознании и тем самым провоцируют вербальное понимание мышления:

«327. “Можно ли мыслить не говоря?” А что такое *мыслить*? Ну, а разве ты никогда не думаешь? Разве ты не можешь понаблюдать за самим собой и усмотреть, что же происходит? Ведь это должно быть совсем просто. Тебе же не надо дожидаться этого, как астрономического события, чтобы затем, может быть, в спешке делать наблюдения.

328. Ну, а что еще называют словом “мыслить”? По отношению к чему люди приучены употреблять

данное слово? — Разве, утверждая, что я мыслил, я всякий раз должен быть прав? Какого *рода* ошибка скрывается здесь? Существуют ли обстоятельства, при которых человек спросил бы: “Разве то, что я тогда делал, действительно было мышлением; не заблуждаюсь ли я?” Допустим, кто-нибудь в процессе размышлений проводит измерения: прекращает ли он мыслить, когда по ходу измерений перестает говорить с самим собой?

329. Когда я мыслю вербально, “значения” не предстают в моем сознании наряду с речевыми выражениями; напротив, сам язык служит носителем мысли.

330. Разве мышление — род разговора? Хотелось бы сказать: это то, что отличает осмысленную речь от бессмысленного словоговора. — И вот уж кажется, что мышление — аккомпанемент речи. Некий процесс, который может сопровождать что-то другое или же протекать самостоятельно¹⁷⁷.

Если бы для объяснения данной ситуации Витгенштейн привлекал понятие действия в коммуникативном пространстве (т.е. мыслил бы собственную «языковую игру» как взаимодействие коммуникантов, а не как исполнение правил), то ответ на эти недоумения был бы вполне определенным: речь, звучащая в сознании, есть моделирование вербального действия в проективно мыслимой коммуникативной ситуации. То же самое — моделирование в сознании любого другого действия, например, передвижения по известным улицам. Однако вместо этого Витгенштейн предлагает весьма запутанную картину, в которой «мысль» с трудом покидает вербальное сопровождение:

«318. Думая по ходу речи или письма — так, как это делается обычно, — мы, как правило, не станем утверждать, что мыслим быстрее, чем говорим:

¹⁷⁷ *Витгенштейн Л.* Указ. соч. С. 190.

напротив, мысль кажется нам здесь *неотделимой* от ее выражения. Но, с другой стороны, говорят о стремительности мысли, о том, что мысль пришла в голову молниеносно, что проблемы вмиг прояснились для нас и т. д. При этом возникает вопрос: не происходит ли при молниеносной мысли то же самое только предельно ускоренно, — что и в случае обдуманной, немашинальной речи? Так что в первом случае стрелка как бы обегает циферблат враз, во втором же, сдерживаемая словами, движется мало-помалу»¹⁷⁸.

А также:

«330. ...Произнеси фразу: «А перо-то, кажется, тупое. Ну ничего, сойдет». Сначала обдуманно; затем бездумно; наконец, воспроизведи только мысль, без слов. — Ну, а по ходу действия я мог бы проверить кончик моего пера, скривить лицо, а затем со смиренной миной продолжить письмо. И, занимаясь различными измерениями, я бы мог вести себя так, что всякий наблюдающий за мной сказал бы, что я — без слов — думал, если две величины равны третьей, то они равны между собой. Но то, что здесь составляет мысль, не является процессом, который должен сопровождать слова, коль скоро их не следует произносить бездумно.

331. Представь себе людей, которые могли бы мыслить только вслух. (Как существуют люди, которые могут читать только вслух.)

332. Хотя мы иногда называем “мышлением” предложение вместе с сопровождающим его душевным процессом, но “мыслью” мы называем не это сопровождение. Произноси предложение и мысли его; произноси его с пониманием! — А теперь, не произнося его, только делай то, что сопровождало его при осмысленном произнесении!»¹⁷⁹.

¹⁷⁸ *Витгенштейн Л.* Указ. соч. С. 188.

¹⁷⁹ Там же. С. 190.

В том же смысле, говоря о человеке, который сам себя одобряет, дает себе задания, осуждает и т. д., Витгенштейн всерьез рассуждает о том, что можно было бы представить людей с монологической речью, т. е. таких, которые постоянно высказывают свой мыслительный процесс:

«243. Человек может сам себя одобрять, давать себе задания, слушаться, осуждать, наказывать самого себя, задавать себе вопросы и отвечать на них. Значит, можно также представить себе людей лишь с монологической речью. Они сопровождали бы свои действия разговорами с самими собой. — Исследователю, наблюдавшему их и слушавшему их речи, может быть, удалось бы перевести их язык на наш. (Это позволило бы ему правильно предсказывать их поступки, ибо он слышал бы и фразы об их намерениях и решениях)...»¹⁸⁰.

Как видно, для Витгенштейна мысленное обращение к самому себе — то же самое, что обращение к другому, поскольку в обоих случаях присутствуют слова: если при обращении к другому нужен язык (чтобы сообщить другому свою мысль), то нужно признавать, что при обращении к самому себе тоже высказывается какая-то мысль, и, значит, можно представить людей с монологической речью, которые постоянно высказывают самим себе собственные мысли. Другими словами, факт того, что человек внутри себя мыслит (одобряет, дает себе задания и пр.), автоматически влечет за собой понятие о словесном языке, посредством которого это совершается (точно так же, по мнению Витгенштейна, высказываются мысли при общении с другими людьми). Идея акциональности речи (т. е. признание того, что речь нужна только для действия

¹⁸⁰ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 170—171.

в коммуникативном пространстве) Витгенштейном не проявляется, но имеет место весьма тесное увязывание мысли и речи. Ясно, таким образом, что фактически мысль и вербальное ее выражение соединяются:

«335. ...Ну а каким должен быть ответ на вопрос: “Есть ли у тебя мысль до того, как ты ищешь для нее выражение?” Или на вопрос: “И в чем состояла эта мысль, как она существовала до ее выражения?”»

336. Это напоминает случаи, когда человеку представляется, что нельзя непосредственно мыслить предложениями с таким странным порядком слов, как в немецком или латинском языке. На этих языках, по его мнению, сначала нужно мыслить, а потом уже расставлять слова в их необычном порядке. (Некий французский политик написал однажды, что особенность французского языка состоит в том, что в нем слова стоят в том же порядке, как их мыслят.)

337. Но разве я уже с самого начала не замышлял, скажем, целостную конструкцию, скажем, предложения? Выходит, она уже была в моем сознании еще до того, как была высказана! — Если бы она присутствовала в моем сознании, то было бы противоестественно, чтобы порядок слов в ней был другим. Но мы тут вновь создаем вводящую в заблуждение картину “замышляемого” (Beabsichtigen), а значит, и употребления этого слова. Намерение вплетено в соответствующую ситуацию, в людские обычаи и институты. Не существуй техники игры в шахматы, у меня не могло бы возникнуть намерение сыграть шахматную партию. То, что я в общем и целом заранее замышляю определенную конструкцию предложения, обеспечивается тем, что я могу говорить по-немецки»¹⁸¹.

¹⁸¹ *Витгенштейн Л.* Указ. соч. С. 191—192.

Внутренняя речь: невозможность мышления без речи

Пожалуй, наиболее откровенным свидетельством признаваемого речемыслительного единства является витгенштейновская интерпретация размышлений глухонемого. В этом случае риторическая задача Витгенштейна состоит в том, чтобы возможность мышления без речи столкнулась с невозможностью. Он однозначно выбирает невозможность:

«342. Уильям Джемс, чтобы показать возможность мышления без речи, цитирует воспоминания одного глухонемого, мистера Балларда, поведавшего, что он еще в раннем возрасте, до того как научился говорить, размышлял о Боге и мире. — Что бы это могло значить! — Баллард пишет: “Именно во время этих очаровательных прогулок, за два или три года до моего приобщения к азам письменного языка, я начал задавать себе вопрос, как возник мир”. — Уместно спросить его: а уверен ли ты, что это — правильный перевод твоих бессловных мыслей в слова? И почему здесь приходит в голову этот вопрос, который в других обстоятельствах, кажется, вовсе не возникает? Хочу ли я сказать, что пишущего обманывает его память? — Я даже не знаю, сказал ли бы я *это*. Эти воспоминания — необычное явление памяти, и я не знаю, какие выводы о прошлом рассказчика можно было бы извлечь из них!

343. Слова, которыми я выражаю мои воспоминания, — это мои реакции на воспоминания.

344. *Мыслимо ли, чтобы люди, никогда не говорившие вслух, при всем том владели внутренней речью, молчаливо обращались к самим себе?* (курсив мой. — А.В.)

«Если бы люди всегда беззвучно говорили лишь с самими собой, то они бы просто делали *постоянно* то, что делают *время от времени* и сегодня». Следовательно, это совсем нетрудно себе представить, достаточно сделать несложный переход от некоторых ко всем.

(Подобно тому как: «Бесконечно длинный ряд деревьев это просто ряд, который *не* имеет конца».) *Критерием того, что человек разговаривает про себя, служит для нас то, что он говорит нам, и все его остальное поведение. Мы утверждаем, что человек разговаривает с самим собой, только в том случае, если он может говорить и в обычном смысле этого слова*¹⁸² (курсив мой. — А.В.).

Как видно, в приведенном эпизоде Витгенштейн сомневается в том, что глухонемой мог *размышлять* о Боге и мире до того, как научился *говорить*. Вывод, сделанный автором «Философских исследований», совершенно отчетлив: человек *разговаривает с самим собой* только в том случае, если он может *говорить и в обычном смысле этого слова*. Оказывается, то, что должен был делать глухонемой, *размышляя* о Боге и мире, — это *разговаривать с самим собой*. Размышлять и разговаривать с собой, таким образом, согласно Витгенштейну, — одно и то же.

Заметим, столь же странным выглядит и то, что в число языковых игр Витгенштейн включает исполнение приказов, изготовление объекта по его описанию, размышление о событии, проверку гипотезы, представление результатов эксперимента в таблицах и диаграммах, решение арифметических задач¹⁸³. По-видимому, не последнюю роль играет здесь то, что в этих действиях (исполнениях, решениях, изготовлениях и пр.) мыслится сопутствующая вербальная часть: так, игра «решение математической задачи» может быть названа языковой только в том случае, если предполагать, что этот мыслительный процесс осуществляется при участии слов:

¹⁸² Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 90.

¹⁸³ Там же. С. 89.

«Тесное родство “внутренней речи” с “речью” как таковой проявляется в возможности высказать громко то, что говорилось про себя, а также во внешних действиях, *сопровождающих* внутреннюю речь. (Я могу беззвучно петь, или читать про себя, или вычислять в уме и при этом отбивать такт рукой)»¹⁸⁴.

«ЧЕЛОВЕК ВЫСКАЗЫВАЕТ МЫСЛИ»: НЕВЕРНАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА

Витгенштейн, как видно, следует традиционному заблуждению, согласно которому «человек, говоря, высказывает свои мысли». Это, по-видимому, следует принимать за точку отсчета в его рассуждениях о логике. Логическое мышление, как известно, было некогда признано словесным ввиду спонтанной констатации, положенной Аристотелем в основание теории мышления:

«Вопреки мнению некоторых нет различия между доказательствами, относящимися к слову, и доказательствами, относящимися к мысли. Нелепо полагать, что доказательства, относящиеся к слову, и доказательства, относящиеся к мысли, не одни и те же, а разные» (*О софистических опровержениях*, IV, 10).

Языковой материал в такой интерпретации возносится на не подобающую ему высоту: если мыслить, значит, формулировать суждения, и если мыслить, значит, говорить, то, следовательно, суждения словесны, и можно исследовать мысль по языковой форме. Аристотелевское логическое суждение становится в античной языковой теории полноправным (и едва ли не единственным) представителем языкового и одновременно гносеологического материала. Как видно, Витгенштейн в своем отношении к логике всецело солидарен с этими положениями,

¹⁸⁴ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 308.

несмотря на рассуждения об играх, которые, казалось бы, должны были повлечь за собой переосмысление статуса логики.

Так, в игре есть игрок — в логической процедуре есть мыслящий субъект. Игрок играет так, как считает нужным — субъект мыслит так, как считает нужным выделить объекты, расставить причинно-следственные связи, отсеять не важные для него объекты, признать незначительными некоторые причины и связи, и пр. После этого наступает стадия словесного действия в коммуникативном пространстве — совершенно чуждая его «мыслям». Другими словами, любые словесные суждения — это не «мысли», а действия в коммуникативном пространстве, последствия «мыслей». Таким образом, логика как исследование «мыслей» встает на основания психологии, или даже нравственной психологии, поскольку выделение объектов, назначение связей (что и составляет процесс мышления) — всецело субъектные нравственные в своих основаниях процессы.

Однако для Витгенштейна игра — это соблюдение правил. Языковая игра — соблюдение словесных правил. Правила — это не сам игрок и не сам субъект речи. В такой интерпретации игры и языка можно обойтись без игрока в игре и без говорящего в языке. Логика, таким образом, продолжает оставаться правильной игрой и правильным использованием «языка», т. е. прежней, классической. Она отчетливо просматривается в «языке»:

«501. Не подхожу ли я все ближе и ближе к тому, чтобы сказать, что логика в конечном счете не поддается описанию? Ты должен присмотреться к практике языка, и тогда ты ее увидишь»¹⁸⁵.

¹⁸⁵ *Витгенштейн Л. О достоверности. С. 383.*

ДОВЕРИЕ ЛОГИЧЕСКОМУ СУЖДЕНИЮ

Доверие, которое оказывает Витгенштейн логическому суждению, иллюстрирует ту же античную мысль, с которой автор «Философских исследований» вполне согласен: подлежащее обладает некоторыми заданными свойствами, и оно задает сказуемое, которое нужно строить в соответствии с подлежащим, подобно Аристотелю, у которого

«началом для умозаключений является существо вещи» (*Метафизика* XIII, 4; 1078b).

Особенность витгенштейновской интерпретации состоит лишь в том, что «вещи» следует искать в *обыденном* языке:

«104. Мы делаем предикатами вещей то, что заложено в наших способах их представления. Под впечатлением возможности сравнения мы принимаем эти способы за максимально всеобщее фактическое положение дел...

116. Когда философы употребляют слово — “знание”, “бытие”, “объект”, “я”, “предложение”, “имя” — и пытаются схватить *сущность* вещи, то всегда следует спрашивать: так ли фактически употребляется это слово в языке, откуда оно родом?

*Мы возвращаем слова от метафизического к их повседневному употреблению»*¹⁸⁶.

В такой интерпретации теоретическая схема игнорирует тот факт, что подлежащие суждений тоже являются избранными, назначенными, и потому не существуют сами по себе, не обладают какими-то заданными свойствами. Классическое суждение, таким образом, не переосмысливается Витгенштейном в игровой парадигме как всецело

¹⁸⁶ Витгенштейн Л. Философские исследования. С. 128.

субъектное, в котором классическое «подлежащее», якобы, определяющее собой предложение, стремилось бы обратиться в определяемый говорящим объект. Роль «игрока» по-прежнему сводится к простому исполнению внешних правил, следованию истинному положению дел, в то время как любое высказывание является предикатом ситуации, в которой субъект производит осмысленное действие — выделяет объекты и затем вовлекает их в структуру словесного действия, пытаясь достичь коммуникативного результата. При этом констатация свойств выделенного объекта в действительности всецело продиктована исковой эффективностью действия, а не самой вещью.

В целом витгенштейновская неудовлетворенность классической логикой — ее зыбкостью, идеальностью, обманчивой строгостью — ведет, как уже было отмечено, к твердой почве «языка»:

«107. Чем более пристально мы приглядываемся к реальному языку, тем резче проявляется конфликт между ним и нашим требованием. (Ведь кристальная чистота логики оказывается для нас *не достижимой*, она остается всего лишь требованием.) Это противостояние делается невыносимым: требованию чистоты грозит превращение в нечто пустое. — Оно заводит нас на гладкий лед, где отсутствует трение, стало быть, условия в каком-то смысле становятся идеальными, но именно поэтому мы не в состоянии двигаться. Мы хотим идти: тогда нам нужно *трение*. Назад, на грубую почву!»¹⁸⁷.

Даже в тех случаях, когда Витгенштейн явно замечает нетождественность, неопределенность языкового материала, его мысль обращается к его предметному единобразию и, соответственно, регулярности, правильности:

¹⁸⁷ Витгенштейн Л. Философские исследования. С. 126.

«117. Мне говорят: “Ты понимаешь это выражение, не так ли? Выходит, я использую его в том значении, которое тебе знакомо”. Как будто значение — это некая аура, присущая слову и привносимая им с собой в каждое его употребление.

Если, например, кто-то говорит, что предложение “Это здесь” (причем показывает на предмет перед собой) имеет для него смысл, то ему следует спросить себя, при каких особых обстоятельствах фактически пользуются этим предложением. При этих обстоятельствах оно и имеет смысл...»¹⁸⁸.

134. Рассмотрим предложение: “Дело обстоит так-то”. На каком основании о нем можно говорить как об общей форме предложения? — Прежде всего, оно *само* является предложением, русским [в оригинале, соответственно — немецким] предложением, в нем есть подлежащее и сказуемое. Но как применяется это предложение в нашем повседневном языке? Ведь я взял его именно *оттуда*. Мы говорим, например: «Он объяснил мне свою ситуацию, сказал, что дело обстоит вот так, и поэтому он нуждается в задатке». В таком случае выходит, можно утверждать: вышеприведенное предложение соответствует любому высказыванию. Оно применяется как предложение-схема, но *только* потому, что имеет структуру немецкого предложения»¹⁸⁹.

СМЫСЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ЛОГИКА ИЛИ КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА?

При этом смысл предложения Витгенштейн исчисляет то «контекстуально», то поэлементно. Это непостоянство метода ведет к недоумению и неопределенности, поскольку классическая логика и игровая парадигма непредсказуемо сталкиваются и оказываются несовместимыми. Так, в последнем абзаце приводимого ниже отрывка автор

¹⁸⁸ *Витгенштейн Л.* Философские исследования. С. 128.

¹⁸⁹ Там же. С. 132

«Философских исследований» как бы разводит руками, не наблюдая связи с только что высказанным, вполне «логичным» (классическим, атомарным, грамматичным) суждением о структуре предложения:

«Если бы ты был не в состоянии сказать, что одно и то же слово, допустим слово “есть”, может быть и глаголом, и связкой, или не мог строить предложения, в которых это слово выступает то в одной, то в другой роли, тебе было бы не по силам справиться с простым школьным упражнением. Но школьника не просят *понимать* слово тем или иным образом или сообщать о том, как он его понял вне какого-либо контекста.

Слова “роза <есть> красная” бессмысленны, если по своему значению “есть” приравнивается к слову “тождественно”. Значит ли это: если, высказывая это предложение, ты мыслишь слово “есть” как знак тождества, то его смысл разрушается? Мы берем предложение и объясняем кому-то значение каждого слова; тем самым он обучается пользоваться этими словами, а значит, и данным предложением. Выбери же мы вместо предложения словесный ряд, лишенный смысла, он бы не научился им пользоваться. А если слово “есть” объяснять как знак тождества, то он не усвоит, как пользоваться предложением “Роза <есть> красная”.

И все же в этом “расщеплении смысла” есть что-то верное. Так, например, возможен совет: чтобы окликнуть кого-то восклицанием “Эй! Эй! (Ei! Ei!)”, незачем думать при этом о яйце (Eier)¹⁹⁰.

Нужно заметить, что в реальном коммуникативном процессе никто никогда не обращает внимания на отдельное слово само по себе, но воспринимает его в коммуникативной структуре словесного действия. Поэтому рассуждение о том, что значит слово «есть» само по себе,

¹⁹⁰ Витгенштейн Л. Философские исследования. С. 262.

лишено всякого смысла. Это и доказывается последним пассажем, в котором действительно никто не думает о «яйце», когда нужно кого-то позвать, хотя, казалось бы, фонетическое слово [ei] предметно артикулируется — попросту говоря, слова [яйцо] не существует вне коммуникативного контекста. Как видно, вначале Витгенштейн рассуждает как лингвист о строении языка, т.е. о грамматическом строении предложения, о его грамматических членах, а затем не дает себе труда соотнести свой грамматический метод с реальным использованием и восприятием языкового факта в реальной языковой игре.

НЕРЕАЛИЗОВАННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Таким образом, одна из немногих возможностей заметить неэффективность языка как теоретического объекта и отказаться от него не реализуется: разнозначность предметно единых слов и предложений ведет не к признанию нетождественности языковой формы, а к констатации единства предметной структуры, в которой, по Витгенштейну, и проявляется повседневный язык. Следуя общему традиционному подходу, рефлексия устремляется не от смысла к вербальному материалу, а от формы вербального материала к смыслу. Идею о том, что смысл материала не существует до его актуального употребления, и соответственно, сама абстрактная форма не обладает способностью к смыслопорождению до конкретного осмысленного языкового действия, Витгенштейн не склонен развивать, видя перед собой, подобно своим предшественникам, вполне определенный носитель смыслов — готовый инструмент, словесный механизм, устройство — обыденный язык.

Таким образом, логика как исследование закономерностей мышления и реальный коммуникативный процесс

оказываются в неразрешенном конфликте. Причиной этого является то, что у Витгенштейна традиционная связь между мыслительной логической формой и формами языка остается в целом нерушимой. Витгенштейновская неудовлетворенность классической логикой выливается в попытку ее укрепить, поставив на основание обыденного языка:

«96. К своеобразной иллюзии, о которой идет речь, с разных сторон примыкают и другие. Мышление, язык кажутся нам теперь единственным в своем роде коррелятом, картиной мира. Понятия “предложение”, “язык”, “мышление”, “мир” представляются рядоположенными и эквивалентными. (Но для чего же тогда использовать эти слова? Недостает языковой игры, в которой их следует применять.)

97. Мышление окружено неким ореолом. — Его сущность, логика, представляет (darstellt) порядок мира, притом порядок априорный, то есть порядок *возможностей*, который должен быть общим для мира и мышления. Но кажется, что этот порядок должен быть *крайне прост*. Предваряя всякий опыт, он должен всецело пронизывать его: сам же он не может быть подвластен смутности или неопределенности опыта. — Напротив, он должен состоять из чистейшего кристалла. Но кристалла, явленного не в абстракции, а как нечто весьма конкретное, даже самое конкретное, как бы *наиболее незыблемое* (Harteste) из всего существующего.

Нами владеет иллюзия, будто своеобразное, глубокое, существенное в нашем исследовании заключено в стремлении постичь ни с чем не сравнимую сущность языка, то есть понять порядок соотношения понятий: предложение, слово, умозаключение, истина, опыт и т. д. Этот порядок есть как бы *сверх-порядок сверх-понятий*. А между тем, если слова “язык”, “опыт”, “мир” находят применение, оно

должно быть столь же неприятным (*niedrige*), как и использование слов “стол”, “лампа”, “дверь”.

98. С одной стороны, ясно, что каждое предложение нашего языка “уже в том виде, как оно есть, — в порядке”. То есть мы не *стремимся* к идеалу: как если бы наши обычные, расплывчатые предложения еще не имели своего вполне безупречного смысла и требовалось конструировать совершенный язык. — С другой стороны, кажется очевидным: там, где есть смысл, должен быть совершенный порядок. — Выходит, даже в самом расплывчатом предложении должен быть совершенный порядок»¹⁹¹.

ВИТГЕНШТЕЙН О ВСЕОБЩЕМ ЗНАНИИ

ИСТОЧНИК ВСЕОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ

В случае, когда проблемы гносеологии увязываются с фактами языка, вопрос об источнике всеобщего знания поднимается сам собой, вслед за констатацией простого факта, а именно, что говорящие на одном языке понимают друг друга. Из этого прямо следует (как демонстрирует, например, Платон), что говорящие понимают слова одинаково, и, соответственно, ставится следующий вопрос: откуда возникает тождественное знание всеми существующих слов? Принципиальное значение имеет традиционно то, что вопросы понимания непосредственно связываются со знанием языка и его слов. Картина речевого и мыслительного процессов в целом становится более адекватной по мере того, насколько мысль исследователя удаляется от вербальности в трактовке, якобы, всеобщего знания.

Витгенштейн в своей интерпретации знания обнаруживает сразу два подхода — лингвистический и внелингвистический. Первый продолжает линию объектного знания,

¹⁹¹ *Витгенштейн Л.* Философские исследования. С. 125.

второй стремится вписаться в рамки субъектной парадигмы. Поскольку эти подходы принципиально взаимоисключаются, они плохо согласованы между собой в рамках единой схемы Витгенштейна.

Лингвистическая интерпретация всеобщего понимания: парадокс Витгенштейна у Крипке

Лингвистический путь ведет к тому, что вербальность навязывается знанию, знание оказывается неосознанным, и все становится автоматизированным, отрегулированным. Здесь ключевую роль играет традиционная мысль о регулярности языка и о понимании, которое, якобы, следует из всеобщего знания этой регулярности, правильности.

Иллюстрацией лингвистического подхода служит так называемый парадокс Витгенштейна, который Крипке объявил ядром «Философских исследований» и назвал «скептическим», ставящим под сомнение саму возможность существования языка и реализации языкового общения. Сам парадокс и его разрешение формулируются у Витгенштейна следующим образом:

«201. Наш парадокс был таким: ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни противоречия. Мы здесь сталкиваемся с определенным непониманием, и это видно уже из того, что по ходу рассуждения выдвигались одна за другой разные интерпретации, словно любая из них удовлетворяла нас лишь на то время, пока в голову не приходила другая, сменявшая прежнюю. А это свидетельствует о том, что существует такое понимание правила, которое является не *интерпретацией*,

а обнаруживается в том, что мы называем “следованием правилу” и “действием вопреки” правилу в реальных случаях его применения. Вот почему мы склонны говорить: каждое действие по правилу интерпретация. Но “интерпретацией” следовало бы называть лишь замену одного выражения правила другим.

202. Стало быть, “следование правилу” — некая практика. *Полагать* же, что следуешь правилу, не значит следовать правилу. Выходит, правилу нельзя следовать лишь “приватно”; иначе думать, что следуешь правилу, и следовать правилу было бы одним и тем же.

203. Язык — это лабиринт путей. Ты подходишь с *одной* стороны и знаешь, где выход; подойдя же к тому самому месту с другой стороны, ты уже не знаешь выхода»¹⁹².

Другими словами, любой случай, скажем, вербального поведения (или вербальный факт) можно интерпретировать как следование правилу, а можно — подобрав другое правило — сказать, что это нарушение правила. Если одно и то же может быть правильным и не правильным, и при этом по умолчанию только правильность (упорядоченность единиц) является причиной понимания и коммуникации, то возникает угроза теории языка как инструмента всеобщего понимания: на каких основаниях выстроить его регулярность, гарантирующую понимание говорящих? Ясно, что в этой коллизии ключевую роль играет интерпретация, которая парадоксальна своей неопределенностью, амбивалентностью и попросту зависит от того, куда ее «повернуть». Именно против интерпретации и выступает Витгенштейн, уводя рассуждения в ту область, где интерпретация не властна — в область практики.

¹⁹² *Витгенштейн Л.* Философские исследования. С. 163

Соответственно, думать о следовании правилу (т. е. интерпретировать, подбирать соответствующее правило) и исполнять правило (т. е. правильно действовать) — не одно и то же. Иными словами, правило есть там, где нет его формулировок, т. е. в обыденных формах языка, которые суть формы жизни. В них нет интерпретаций, они общественны, не приватны. Там и существует «язык» и понимание говорящих. Таким образом, правило, действующее неосознанно, остается нерушимым. Для его существования, по мысли Витгенштейна, необходима не интерпретация, а социальность, обыденная жизнь в ее формах.

Так, анализируя этот парадокс и его разрешение у Витгенштейна, Крипке приходит к выводам в духе социальной коммуникации, считая, что автор «Философских исследований» призывает к тому, чтобы, отбросив всевозможные философские допущения и усложнения, признать, что человек следует, скажем, арифметическому правилу для операции сложения тогда, когда, *по мнению большинства здравомыслящих людей*, умеющих складывать, он делает именно это:

«Если рассматривать одного человека изолированно, то понятие правила как того, чем он ведом в своих действиях, не может иметь никакого содержания»¹⁹³.

Но ситуация меняется, если включить в рассмотрение языковое сообщество:

«Другие люди знают условия, оправдывающие или не оправдывающие утверждение, что этот человек следует правилу...»¹⁹⁴

¹⁹³ Kripke S.A. Wittgenstein on Rules and Private Language. Cambridge, 1982. P. 89.

¹⁹⁴ Ibid. P. 89.

А условия, о которых идет речь, — это всем известные обстоятельства, при которых говорят, например, что ребенок выучился считать. Тут вовсе не требуется вскрывать таинственное, скрытое и «бесконечное» содержание арифметической операции. Если ребенок получает результаты, совпадающие с общепризнанными, достаточно часто, то его считают овладевшим операцией. Индивид, чьи результаты и реакции достаточно часто не совпадают с принятыми в сообществе, не будет считаться действующим по правилу, независимо от того, что он считает сам. Такой индивид исключается из многих типов общественного взаимодействия. В связи с этим Крипке еще раз привлекает внимание к тем разделам «Философских исследований», в которых подчеркивается важность согласия и разделяемых сообществом форм жизни для работы языка:

«238. Чтобы правило могло представляться мне чем-то, заведомо выявляющим все свои следствия, оно должно быть для меня *само собой разумеющимся*. Так же как само собой разумеется для меня называть этот цвет “синим”. (Критерий того, что это для меня “само собой разумеется”.)

239. Откуда человеку знать, какой выбрать цвет, когда он слышит слово “красный”? — Очень просто: он должен взять тот цвет, образ которого всплывает в его сознании при звуках услышанного слова. А как ему узнать, каков тот цвет, “образ которого оживает в его сознании”? Нужен ли ему для этого еще какой-то критерий? (Разумеется, существует некая процедура: выбор цвета, возникающего у кого-то в сознании, когда он слышит слово...)

Фраза: “Слово «красный» обозначает цвет, возникающий в моем сознании, когда я слышу слово «красный» была бы *дефиницией*, а не объяснением *суть* обозначения чего-нибудь словом.

240. Не прекращаются споры (скажем, среди математиков) о том, соблюдено правило или же нет. При этом, положим, до драки дело не доходит. Это присуще тому каркасу, на котором базируется работа языка (например, при описании).

241. “Итак, ты говоришь, что согласием людей решается, что верно, а что неверно?” Правильным или неправильным является то, что люди *говорят*: и согласие людей относится к *языку*. Это — согласие не мнений, а формы жизни.

242. Языковое взаимопонимание достигается не только согласованностью определений, но (как ни странно это звучит) и согласованностью суждений. Это, казалось бы, устраняет логику: но ничего подобного не происходит. Одно дело, описывать методы измерения, другое — добывать и формулировать результаты измерений. А то, что мы называем “измерением”, определяется и известным постоянством результатов измерения»¹⁹⁵.

Как видно, правило — главная ценность, которую пытается сохранить Витгенштейн, разрубая узел сформулированного парадокса. Интерпретации не нужны, а необходимо согласие людей, и оно относится к языку, который в качестве формы жизни работает сам собой. Как уже было замечено выше, в результате возникает своего рода антиментализм, некое неосознанное единство частных мнений, слитое в едином общем понимании. Реальное взаимодействие говорящих оказывается несвободным, диктуемым чем-то неосознанным, представляет собой некую игру с жестко очерченным набором возможностей (которые приходится, как ни странно, все время нарушать), что относится как к самому знанию, так и к языку.

¹⁹⁵ *Витгенштейн Л.* Философские исследования. С. 170.

Сам Витгенштейн, не удовлетворяясь таким положением, был вынужден *интерпретировать*, констатируя, как уже было замечено, нарушение правил, но это приводит лишь к признанию необходимости вводить новые правила, отменяющие прежние. Правила, таким образом, становятся в центр гносеологической проблематики и весьма походят на те сущности, которые постулируются для заделывания брешей в корпусе теоретической схемы, подобно «языку» Соссюра или «языковой компетенции» говорящих Хомского. Вследствие искусственности они терпят над собой любые теоретические операции. Вместе с тем в своей неудовлетворенности (или, скорее, при невозможности отрицать реальное положение дел) Витгенштейн приближается к нелингвистическому пониманию знания и понимания.

НЕЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВСЕОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОСТИ

Итак, получается, что увязывание знания с правилом и языком как практикой ведет к бессознательности, автоматизму обоих. Оказывается, что знать (и говорить), значит, не знать, а просто неосознанно «жить-быть», т. е. не знать. Возможно, поэтому, Витгенштейн продолжает настойчиво спрашивать, *что* все-таки значит знать (особенно в трактате «О достоверности»). На этом пути намечается преодоление пределов вербальности, правильности в трактовке знания и коммуникации, в чем, по-видимому, следует видеть главную заслугу Витгенштейна. Тем самым обо значается направление, в русле которого философия «языка» и сама наука о «языке» получают новые возможности. По-видимому, это следует признать наиболее важным следствием так называемого парадокса, вернее,

косвенным признанием ошибки в его формулировке: необходимо не спасать априорно введенные правила, а теоретически от них избавляться, продвигаясь от регулярности (продиктованной понятием о системном «языке» и вербальности понимания) в область свободных субъективных внеязыковых сознательных процессов.

В формах, которые предлагает Витгенштейн, этот переход намечается в трактовке основополагающей роли несомненного знания и в идее об одобрении как источнике всеобщего знания. Остается шаг до того, чтобы полностью избавиться от языка как теоретического объекта и признать за вербальностью новый, менее почетный, статус в теоретической схеме понимания и коммуникации.

НЕСОМНЕННОЕ ЗНАНИЕ

Несомненное знание образует петли, на которых вращаются все возможные высказывания:

«341. То есть *вопросы*, которые мы ставим, и наши сомнения зиждутся на том, что для определенных предложений сомнение исключено, что они словно петли, на которых держится движение остальных [предложений].

342. Иначе говоря, то, что некоторые вещи *на деле* не подлежат сомнению, принадлежит логике наших научных исследований.

343. Однако дело не в том, что мы не *в состоянии* исследовать всего — и потому вынуждены довольствоваться определенными предпосылками. Если я хочу, чтобы дверь отворилась, петли должны быть закреплены.

344. Моя *жизнь* держится на том, что многое я принимаю произвольно»¹⁹⁶.

¹⁹⁶ Витгенштейн Л. О достоверности. С. 362.

Кроме того, несомненное знание образует систему, в которой означиваются все единичные элементы этой системы:

«410. Наше знание образует большую систему. И только в этой системе единичное имеет ту значимость, которую мы ему приписываем.

411. Когда я говорю “*Мы предполагаем, что Земля существует уже много лет*” (или нечто подобное), звучит, конечно, странно, что такое мы должны *предполагать*. Но это присуще основанию всей системы наших языковых игр. Предположение, можно сказать, образует основу действия, а тем самым, понятно, и мышления»¹⁹⁷.

В конце концов, как заключает Витгенштейн, знание лежит в основании любой языковой игры. Похоже, что здесь его рассуждение приближается к тому, чтобы разорвать связь между знанием и вербальностью («О достоверности»):

«509. Я, собственно, хочу сказать, что языковая игра возможна лишь при том условии, если на что-то полагаются. (Я не сказал “можно на что-то положиться”.)

510. Заявляя: “Конечно, я знаю, что это — полотенце”, — я произношу фразу. Я не забочусь о верификации. Для меня это — непосредственное выражение.

Я не думаю о прошлом или будущем... Точно так же, как при непосредственном действии: как, не колеблясь, я беру полотенце.

511. Но этому непосредственному действию соответствует все-таки *уверенность*, а не знание. А разве не таким же образом я схватываю имя вещи?

¹⁹⁷ Витгенштейн Л. О достоверности. С. 370.

512. Вопрос же вот в чем: “А что, если бы ты должен был изменить свое мнение и об этих фундаментальных вещах?” И ответ на это, как мне кажется, таков: “Ты не *должен* его изменять. В этом-то и состоит их фундаментальность”.

513. А что, если бы произошло нечто *действительно* неслыханное? Если бы, например, я увидел, что дома без видимой причины постепенно испаряются; если бы скот на лугу встал на голову, смеялся и говорил разумные слова; если бы деревья постепенно превращались в людей, а люди в деревья. Разве тогда, наблюдая все эти происшествия, было бы по-прежнему правомерно говорить: “Я знаю, что это дом” и т. д. или просто: “Это дом” и т. д.?»¹⁹⁸.

Остается попросить автора «О достоверности» ответить на вопрос, 1) в чем отличие уверенности от знания. А также, 2) почему никто не должен менять свое мнение о фундаментальных вещах, если весь поступательный процесс познания, каким он обыкновенно мыслится, сводится к постоянному изменению мнений о фундаментальных вещах? Как, в таком случае, сделать новый шаг в постижении реальности, и вообще как возможен сам этот процесс и сопряженное с ним словесное действие, если мнение о фундаментальных вещах должно оставаться постоянным?

На первый вопрос Витгенштейн высказывается в трактовке «О достоверности» так:

«415. Не является ли совершенно ошибочным употребление слова “знание” как самого почитаемого философского слова? Почему же такой интерес вызывает именно слово “знать”, а не выражение “быть уверенным”? Может быть, в силу того, что оно слишком субъективно. Но разве слово “знать” не *столь же*

¹⁹⁸ Витгенштейн Л. О достоверности. С. 385.

субъективно? Не вводит ли нас в заблуждение просто такая его грамматическая особенность: из “я знаю, что *p*” следует “*p*”?

“Я считаю, что знаю это” должно бы выражать ничуть не меньшую степень уверенности. — Да, но выразить-то хотят не субъективную уверенность, пусть даже наибольшую, а то, что определенные предложения, по-видимому, лежат в основе всех вопросов и всякого мышления»¹⁹⁹.

Иначе говоря, словом «знать» хотят выразить «несубъективную» уверенность, и поэтому «знание» должно быть чем-то менее субъективным, чем «уверенность». Хотя, впрочем, — как ни странно — может им и не быть. Как видно, часто используемый у Витгенштейна анализ словесных значений дает неопределенные результаты. В этом эпизоде сталкиваются два аспекта, не согласованные в рамках единой философской схемы: точка зрения «языка», где слова «знание» и «уверенность» различны (следовательно, нужно искать отличий знания от уверенности), и точка зрения субъекта, использующего слова «языка» в актуальных ситуациях, в которых «знание» и «уверенность» могут быть совершенно идентичными (значит, вопрос о различиях снимается). В конце концов, для разрешения вопроса об отличиях (или сходстве) главным определяющим условием остается желание самого говорящего, но это вступило бы в противоречие с рассуждениями о «языке», вербальности понимания и логичности мышления. Витгенштейн, как видно, рассматривает значение слов «знание» и «уверенность» сразу с двух точек зрения — языка и субъекта, и поэтому вопрос о значениях этих слов остается без внятного ответа.

¹⁹⁹ Витгенштейн Л. О достоверности. С. 370.

Что касается второго вопроса — о возможности менять устоявшиеся точки зрения, то сам Витгенштейн, писавший свой труд до полетов в космос и на Луну, дает пример мнимой неизменности фундаментальных вещей:

«108. ...Разве не является либо истинным, либо ложным, что кто-то побывал на Луне? Если мыслить в нашей системе, то наверняка ни один человек не побывал на Луне. Дело не только в том, что всерьез нам не рассказывал об этом ни один здравомыслящий человек, но и в том, что вся система нашей физики запрещает в это верить»²⁰⁰.

Как видно, утверждение, что кто-то побывал на Луне, будет истинным или ложным в зависимости от многих факторов, и *само по себе*, вне актуального вербального действия, производимого лично и осознанно, оно ни истинно, ни ложно. Если современная автору система физики запрещает верить в это, можно воспользоваться услугами другой системы, например, фантастической повести или детской сказки, или той системы физики, которая сложится через десяток лет. Выбор системы зависит от актуальной ситуации, избранной и мыслимой субъектом, и, соответственно, в ней можно будет сказать то, что в другой системе будет совершенно неприемлемо. Как видно, для Витгенштейна на Луне *никто не побывал*, а для современного интерпретатора, знающего об американской экспедиции, — на Луне *кто-то побывал*. По-видимому, фундаментальные суждения, свойственные всем, которые объясняли бы понимание говорящих, не присутствуют в реальности, а присутствуют в сознании. В крайнем случае, речь нужно вести о малых или больших группах коммуникантов, фундаментальные понятия которых схожи или

²⁰⁰ Витгенштейн Л. О достоверности. С. 337.

различны. В этом случае идея об общепонятном, свойственном всем языку, который, якобы, зиждется на фундаментальных общих понятиях, теряет обоснованность. Поэтому все же можно надеяться, что фундаментальные понятия подлежат изменению, не вредя некоему сомнительному всеобщему пониманию «языка».

«ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ — РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ ЕЕ СУБЪЕКТНОЕ ОСОЗНАВАНИЕ»

По-видимому, причину того, что приведенные вопросы оставлены Витгенштейном без ответа, следует видеть в интенции автора искать основания изменений (или постоянства) в самой реальности, а не в ее осмыслении, т.е. в самом объекте, а не в субъектно воспринятой, приспособленной к созерцателю реальности. Другими словами, Витгенштейн требует приводить свое мнение о фундаментальных вещах в соответствие с тем, какими они есть и какими их видят все, и не выходить за пределы этого видения. Тогда, якобы, и реализуется то знание, которое необходимо для всеобщего понимания, что, в свою очередь, отражается в языке. Там это знание можно наблюдать («Философские исследования»):

«115. Нас берет в плен картина. И мы не можем выйти за ее пределы, ибо она заключена в нашем языке и тот как бы нещадно повторяет ее нам»²⁰¹.

В том же ключе Витгенштейн утверждает, что общество сформировалось таким образом, что некоторые вещи оно принимает как абсолютно достоверные, и эта достоверность закреплена в языке. Во все эти вещи люди верят безоговорочно:

²⁰¹ Витгенштейн Л. Философские исследования. С. 128.

«...как же может ребенок сомневаться в том, что ему внушили? Это могло бы лишь означать, что он не смог научиться определенным языковым играм»²⁰².

Снова возникает образ коммуникации как процесса постоянного обмена общепринятыми точками зрения, в полном соответствии с правильностью, предполагаемой всей теоретической схемой Витгенштейна. Так, как будто говорящий «это дом» делает это лишь для того, чтобы отразить какой-то факт действительности — сыграть по правилам ради их исполнения и не более того. Заметим, что, совершая эту ошибку, Витгенштейн весьма близок к пресловутой языковой картине мира, идея которой зиждется на признании, что мысль содержится в слове и что в словесном «языке» отражен мир таким, каким он представит каждому, кто говорит на данном «языке»:

59. «Имена обозначают лишь то, что является элементом действительности. То, что неразрушаемо, что сохраняется при всех изменениях». — Но что это такое? — Да ведь оно витает перед нами при произнесении предложения! Мы выражаем словами какое-то вполне сложившееся представление, особую картину, которой хотим воспользоваться. Ведь опыт же не показывает нам этих элементов»²⁰³.

Таким образом, несомненное знание Витгенштейна оказывается теоретически недостаточным, поскольку оно не вполне свободно от языка, детерминировано некоей всеобщностью и правильностью, которые, в свою очередь, навязаны идеей всеобщего правильного средства понимания — языка.

²⁰² Витгенштейн Л. О достоверности. С. 355.

²⁰³ Витгенштейн Л. Философские исследования. С. 108.

СУБЪЕКТНОЕ ПОНИМАНИЕ ЗНАНИЯ

На фоне этих суждений, которые можно считать закономерной данью прежней парадигме, *субъектное* понимание знания как одобрения походит на расшатывание устоев только что возведенного здания («О достоверности»):

«378. Знание в конце концов основывается на одобрении»²⁰⁴.

Последовательно проведенное, это суждение подрывало бы все, что автор «Философских исследований» высказывал ранее об обыденном языке, правильности, вербальном знании. Одобрение — свободное действие субъекта уже не в области слов или логики. Именно там локализуется интенция говорящего, который готовится произвести словесное действие. Ни традиционный «язык», ни классическая логика не определяют содержание одобрения, которое, надо заметить, вопреки мнению Витгенштейна, относится не к объектам и фактам действительности, а к главному подлежащему всех высказываний — самому говорящему, производящему вербальное действие в мыслимом коммуникативном пространстве. Он одобряет не автономный факт действительности, а, прежде всего, назначает этот «факт» и затем уже определяет свою роль в той серьезной языковой игре, которую Витгенштейн парадоксально не имеет в виду, говоря о языковых играх, — т.е. в коммуникативном процессе, осуществляемом вне регулярного «языка» и вне единства точек зрения. У Витгенштейна все объемлется правильной языковой игрой, т.е. традиционно понимаемым языком, что составляет непреодоленную теоретическую ошибку:

²⁰⁴ Витгенштейн Л. О достоверности. С. 378.

«61. ...Значение слова есть способ его употребления. Ибо этот способ и есть то, что мы усваиваем, когда данное слово впервые входит в наш язык.

62. Вот почему существует соответствие между понятиями “значение” и “правило”.

63. Если мы представляем себе факты иными, чем они есть, то одни языковые игры что-то теряют в своей значимости, тогда как другие становятся важными. И таким образом постепенно изменяется употребление словарного состава языка.

64. Сравни значение слова с “функцией” чиновника. А “различные значения” — с “различными функциями”.

65. Когда изменяются языковые игры, изменяются и понятия, а вместе с понятиями и значения слов»²⁰⁵.

Таким образом, парадокс, не сформулированный и не разрешенный Витгенштейном, продолжает иметь место и после него: вербальная коммуникация осуществляется, но ни традиционно понимаемый «язык», ни мысль о всеобщности (языкового) знания не могут ее объяснить. Как становится возможной вербальная коммуникация?

Мыслимая типология коммуникации

Довитгенштейновская схема лингвистического исследования была такова: вначале констатируется факт, что говорящие говорят посредством «языка», соответственно, взгляд исследователя устремляется на этот инструмент, и звучит сакраментальный вопрос — как же он устроен? Этот инструмент полагается под доступный микроскоп, и изыскивается причина тайны, которой, якобы, является словесный механизм. Результатом такой процедуры становится создание искусственного логического объекта —

²⁰⁵ Витгенштейн Л. О достоверности. С. 331.

автономного языка. В действительности тайна этого процесса открывается в другом — в *действии* говорящего, которому неведом «язык», но доступен определенный набор актуальных моделей для влияния в коммуникативном пространстве. Модели бессмысленны и не тождественны сами по себе до личного актуального действия — осмысленна и самоидентифицируема организация коммуникации, деклический синтаксис, всякий раз заново устанавливаемый коммуникантом для достижения своих целей и всякий раз заново истолковываемый интерпретатором.

Со своей стороны Витгенштейн исследует не сам инструмент, а как бы говорит: смотрите, как бьет этот молоток, тем самым оставляя нерушимым «язык», но делая шаг к подлинной онтологии вербального процесса — мыслимой типологии коммуникации. Следующий шаг, оставленный для последователей, — констатация того, что работает не единообразный инструмент, а тот, кто держит в руках некий набор вербальных средств, соотнесенный пригодным для действия в ситуации.

ОБЫДЕННЫЙ ЯЗЫК НИЧУТЬ НЕ МЕНЕЕ «ЯЗЫК», ЧЕМ ВСЕ ПРОЧИЕ

Таким образом, сам автор «Философских исследований» оказался в том же положении, которое некогда было предложено им самим для пояснения правила:

«99. ...Ведь, заяви я, что “крепко запер человека в комнате, оставив открытой только *одну* дверь”, подумали бы: выходит, он его вообще не запер. Его закрыли в комнате лишь для виду. Мне в таком случае могли бы сказать: “Ты вообще ничего не сделал”. Ограждение с дырою — это то же самое, что и *полное отсутствие ограды*»²⁰⁶, —

²⁰⁶ Витгенштейн Л. Философские исследования. С. 125.

накрепко заперев все двери, Витгенштейн оставил открытой одну — словесный обыденный «язык». В результате утешить его нечем: то, что говорится обыденным языком, ничуть не более истинно или ложно, чем то, что говорится т. н. искусственным или каким-либо другим (в т. ч. философским) «языком». Свободное личное действие словом совершают как философы, так и люди, говорящие «обыденным языком», и этим принципиально не отличаются друг от друга. Их действия могут быть интересными или невзрачными независимо от используемого «языка» — «обыденного» или «философского».

2.5. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ: ОППОЗИЦИЯ ДВУХ ОЧЕВИДНОСТЕЙ

Противостояние объектной и субъектной моделей лингвистической дескрипции, ошутимое в теории со времени В. фон Гумбольдта, представляется в виде оппозиции двух очевидностей. Первая, преемствующая античной, состоит в том, что в реальном процессе коммуникации спонтанно выделяются *два* компонента: слово и его смысл. Вторая констатирует наличие *трех* столь же бесспорных компонентов: говорящего (слушающего), смысл и вербальную предметность.

Первая схема приписывает знакам соответствующие им «означаемые» и устанавливает прямую корреляцию «знак—значение». Факт понимания слов и их смыслов, наблюдаемый в обозримом сообществе говорящих, прямо ведет к признанию единого «языка». Его всеобщность и всепонятность, констатируемые, впрочем, с некоторым насилием над реальностью, позволяют исключить субъекта из уравнения, описывающего процесс говорения/понима-

ния: если «язык» един для всех, в таком случае член языкового коллектива, говорящий на нем, не составляет неопределенной переменной — он уже задан «языком», его можно теоретически не замечать.

При этом все сколько-нибудь тщательные попытки добиться единообразия и стабильности при определении словесного инструмента лишь подчеркивают индивидуальность и изменчивость вербального процесса, что с очевидностью выявляется на оси осознаваемых времени и пространства. Непреложная целостность «языка», распадающаяся на глазах наблюдателя, искусственно спасается посредством идей о развитии единого механизма, его неясности, недостаточной категоризованности и описанности, попытками свести его к глубинной языковой способности или коллективной бессознательности, или полным незамечанием проблемы самой дефиниции «язык». Успех такой аргументации достигается посредством абстрагирования от самой реальности речевого процесса, с твердой опорой на ошибочный, но «непреложный» факт всеобщего понимания «языка» теми, кто на нем говорит, и его необходимого единообразия.

При этом реальность замечается наблюдателем всегда и состоит, в частности, в том, что употребление фактов «языка» не означает их автоматического понимания в сознании субъекта; говорящие — в зависимости от мыслимой коммуникативной ситуации и своих целей в ней — используют различные языковые модели, не сводимые к предметному единообразию; под одними и теми же вербальными фактами мыслятся различные «значения»; спонтанный речевой процесс неисторичен и деэтимологизирован в реальном сознании субъекта; целокупного «языка», бережно конструируемого исследователями в тончайших деталях, не знает

никто, — ни сами исследователи, ни, тем более, рядовые «пользователи», которые, несмотря на это, успешно взаимодействуют. Для концептуализации этих фактов и для разрешения возникающих недоумений (а именно, для конечного признания, что понимается не «слово», а совершаемое говорящим действие, которое, заметим, может быть и не связано со словом) теоретический объект «язык» постепенно становится не эффективным, а процедура его искусственного конституирования все более смущает своей насильственностью.

Как видно, говорящий, с одной стороны, составляет причину всех неудобств теории, в т. ч. главного — неэффективности понятия «язык», но с другой — на лингвистическом горизонте его невозможно далее не замечать и, соответственно, не изменить прежнюю схему на коммуникативную — «говорящий—смысл—вербальный процесс».

Две тенденции — рассматривать речевой процесс дву-членно или трехчленно — образуют полюса, к которым стремятся и по мере того взаимно отдаляются существующие модели «языка». Причем различным концепциям речевого процесса в той или иной степени следуют все, кто воспринимает лингвистический материал отстраненно. Разделение парадигм, всегда нестрогое и зачастую противоречивое в конкретных мнениях, проявляется на уровне как абстрактной, так и прикладной теории (лингводидактики, перевода текстов, лексикографирования и пр.). В этом смысле лингвистической описательной модели не существует только в случае спонтанного говорения на хорошо известном (как правило, родном) языке. В остальных случаях присутствует концепция, в которой «работают» часто не осознаваемые, но дающие себя знать «подлежащие» — коммуникативные или предметные. По-видимому,

задача теории состоит в том, чтобы «вывести их из подсознания» и построить теоретическую схему, которая не разрушалась бы внутренним неосознанным конфликтом. Если в описании процесса говорения оставить самого говорящего, то придется, по-видимому, строить схему без «подлежащего» «язык» в его традиционном понимании.

Панораму современных воззрений на лингвистический материал можно упорядочить на шкале человеческого фактора, т. е. определяя, в какой мере субъект с его свободой осознанного вербального действия детерминирован традиционно понимаемым «языком». Иначе говоря, насколько в существующих мнениях более сложная, коммуникативная, модель редуцирована к более простой, предметной. Эта редукция по большей части проявляется в том, что в теоретическую схему интегрирован «язык», спасаемый различными средствами или просто не замечаемый как беспроблемное «подлежащее». Формулами, сводящими к единству несводимое, становятся «*язык* в употреблении», «*язык* в тексте», «*язык* в сознании говорящего»:

«Лингвистика как зрелая наука может и должна объяснить изучаемый ею объект — язык, — но не только “в самом себе и для себя”, а для более глубокого понимания и объяснения человека и того мира, в котором он обитает. Это и создает предпосылки для изучения языка по его роли и для познания (когнитивное направление в исследовании языка), и для коммуникации и осуществления речевой деятельности (коммуникативная лингвистика и теория речевых актов), и для обеспечения нормальной жизнедеятельности всего общества в целом (культурологическое направление исследований) и т. п.»²⁰⁷.

²⁰⁷ *Кубрякова Е. С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // *Язык и наука конца XX-го века.* М., 1995. С. 224.

2.6. «Язык» в сознании говорящего

ЕЩЕ РАЗ О ХОМСКОМ: ЯЗЫК В ПОДСОЗНАНИИ

На определенном этапе развития лингвистической теории помещение языка в сознание удостоилось права называться революцией, или первой «когнитивной революцией». Концепция Хомского (см. тж. п. 2.3.) в действительности помещает «язык», скорее, в *под*-сознание, поскольку речь идет об устройстве, работающем в сознании каждого носителя *неосознанно*. Декларируя психологизм и свободу, Хомский сводит их на «нет» утверждением грамматики в качестве формальной автономной системы, обладающей полнотой собственной реальности. Система творит и порождает, а «творческая» роль говорящего, по-видимому, состоит лишь в том, чтобы быть ее носителем. Глубинные элементы этой системы жестко коррелируют с поверхностной вербальностью, там же, где нет предметного знака, постулируется существование пустых языковых категорий, что само по себе весьма напоминает прежние античные «кубики», установление прямой связи «знак—значение».

Универсальные языковые способности, считает Хомский, заложены в человеке от рождения. В результате эксперимента, проводимого с младенчества, человек усваивает один из существующих языков. Параметризация состоит в овладении тем, как реализована та или иная универсальная переменная в грамматике конкретного языка. При этом речь идет о правильности словесных предложений самих по себе. Под универсальным языком мыслится некая глубинная матрица, заполняемая затем конкретными языковыми единицами. Языковые способности человека объясняются через внешние проявления механизма порождения — структуру языковых репрезентаций,

т. е. через свойства тех сущностей, которые порождаются конкретной грамматикой.

Как видно, Хомского занимает исключительно «язык». Понимание говорящих (по крайней мере, в процессе вербальной коммуникации) связано всецело с действием вербального механизма. Об их реальном взаимодействии, так же как об индивидуальности и изменчивости предметного облика «языка», Хомский предпочитал вообще не говорить, занимаясь по сути грамматической правильностью предложений, изъятых из коммуникативного процесса, и пытаясь тем самым сконструировать механистичное устройство, их порождающее. Дж. Лакофф, как представитель следующего, когнитивного, этапа, оценивает генеративную грамматику следующим образом:

«Генеративная грамматика технически является видом формального синтаксиса — набором принципов оперирования символами без обращения к их значению. Как таковая генеративная грамматика предполагает объективистский подход к познанию. Существуют два типа семантики для генеративной грамматики. Это или модельно-теоретическая семантика, или же семантика, представляющая собой перевод в другую систему символов — «ментальный язык», обычно называемый *логической формой семантической репрезентации* — в которой символы рассматриваются как внутренние репрезентации внешней реальности»²⁰⁸.

Как и в отношении многих других современных моделей, в которых этиология речевого процесса сводится к «языку», о генеративной грамматике можно сказать, что ее ценность проявилась косвенно. Усилия Хомского по

²⁰⁸ *Лакофф Дж.* Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении / Пер. И.Б. Шагнувского. М., 2004. С. 596.

объяснению вербальной предметности через глубинные лингвopsихические процессы имели под собой одно, ныне уже неоспоримое, основание: порождение и понимание естественных вербальных фактов можно рассматривать только как процессы *сознания*. Вся причинность конкретного речевого феномена локализуется в стадии порождения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СОЗНАТЕЛЬНОМУ ДЕЙСТВИЮ

Развивая в этом направлении мысль Хомского, нужно признать, что понять сказанные (написанные) слова можно только посредством воссоздания того, что имел в виду коммуникант, «порождающий» данный анализируемый адресатом (наблюдателем) отрезок актуального речевого процесса. Истолкование вербального факта совершается как восхождение к той стадии, на которой его «породил» конкретный говорящий, осознанно действовавший в актуальных условиях. Речь и ее интерпретация стремятся достичь тождества в одной точке — в моменте порождения. Это восхождение обеспечивается не всеобщим механизмом словесного «языка», или всеобщей «языковой компетенцией», которая, якобы, лежит в основании всеобщего понимания (что имеет в виду сам Хомский), а пониманием *действия* говорящего, которое на стадии когниции лишается конкретной языковой формы, что само по себе очерчивает область невербального, мыслимого вне механизма какого-либо «языка» и требует в конечном счете *внеязыковой* компетенции. Другими словами, в том, что коммуникант, обращаясь к адресату, желает, скажем, о чем-либо попросить, нет ничего языкового, словесного. В некоторых случаях просьбу можно реализовать посредством протянутой руки или другого жеста. Истолкование же вербального факта, когда коммуникант о чем-то

просит словесно, обеспечивается мысленным восхождением к невербальному действию, т.е. к тому, что было в сознании просящего до порождения словесной последовательности. Если адресант (или наблюдатель) неправильно воссоздает параметры коммуникативного действия — «кто», «где», «когда», «что», «в каких обстоятельствах» — те же слова, та же словесная структура имеют совершенно иное, не адекватное рассматриваемой ситуации, значение, начиная с неверного установления факта адресата (или адресанта). Поэтому для последующей теории важны не сами постулаты Хомского о языке как устройстве, порождающем правильные предложения, а его интерес к самой стадии порождения вербальных фактов, на которой формируются актуальные субъектные значения и к которой затем восходит понимающий интерпретант. Понимание вербального факта стремится к тождеству по мере того, насколько адекватно самому говорящему воссоздается мыслимая коммуникативная ситуация порождения.

ПЕРЕСТАНОВКА АКЦЕНТОВ

Так называемая вторая когнитивная революция реализуется как постгенеративное направление, для которого характерно стремление к интеграции лингвистики и психологии с культурной антропологией и другими науками о человеке. Если Хомский пытался сделать психологию лингвистичной и тем самым оставить науку о языке на прежних доминирующих позициях в изучении человеческого сознания, то в постгенеративной парадигме наблюдается постепенная перестановка акцентов. Языковая способность становится одной из многих, свойственных человеку, и соответственно, задача теории состоит в установлении ее места в иерархии способностей:

«Некоторые лингвисты (например, генеративисты) считают, что языковая система образует отдельный модуль, внеположенный общим когнитивным механизмам. Однако чаще языковая деятельность рассматривается как один из модусов “когниции”, составляющий вершину айсберга, в основании которого лежат когнитивные способности, не являющиеся чисто лингвистическими, но дающие предпосылки для последних»²⁰⁹.

СОПЕРНИЧЕСТВО СЛОВЕСНОГО ИНСТРУМЕНТА И СВОБОДЫ ГОВОРЯЩЕГО

При этом следует констатировать, что целостность словесного инструмента («языка») по-прежнему конкурирует со свободой говорящего и дает противоречивые концептуальные схемы.

Так, например, рассматривать устройство синтаксических систем «языка» Дж. Фодор (1984) считает возможным в пяти разных сферах: в строении человеческого мозга и наличии в нем неких врожденных структур грамматики, ее репрезентации; в усвояемости языка, поскольку в нем должны существовать лишь такие структуры, которыми ребенок способен овладеть и которые доступны ему; в принципах порождения речи, ибо не может быть такого языка, который не обеспечивал бы выражения и передачи значения в рамках предложения; в принципах восприятия, ибо язык должен обеспечить и декодировку предложений; в процессах коммуникации, ибо построенный иначе язык не способствовал бы проведению тех актов речи, которые для него типичны. Возможно также, по его мнению, что в организации синтаксиса действуют все перечисленные факторы или какие-либо их

²⁰⁹ Кубрякова Е. С. Указ. соч. С. 306.

комбинации²¹⁰. Р. Джекендофф, рассматривая организацию языковых систем, указывает на существование имманентных свойств самих грамматических систем, а также — их когнитивных оснований²¹¹.

В целом постгенеративная парадигма совершает исход из «языка», но делает это постепенно и не всегда последовательно. Так, если обратиться к наиболее разработанным концепциям, то, по замечанию Е.С. Кубряковой, ссылающейся на Т. Гивона²¹², в преамбуле каждой из них можно неизменно найти отрицание 1) автономного синтаксиса (т. е. изучаемого вне учета тех функций, выражению которых он служит); 2) крайностей установки на существование врожденных идей; 3) крайностей формализации данных о языке и гипостазирования формальных свойств языковых систем; 4) возможности исключить из эмпирической базы анализа все, относящиеся к использованию языка; 5) такой практики анализа, при которой не учитываются типологические, диахронические и собственно эволюционные данные о строении и развитии языков. В когнитивной грамматике Р. Лангакра подчеркивается, что вопреки распространенным мнениям он уверен в том, что «кардинальные проблемы современной лингвистической теории связаны не с формализацией языка, но обнаруживаются на концептуальном уровне», что синтаксиса, автономного от семантики, не существует²¹³.

²¹⁰ *Fodor J.D.* Constraints on gaps: is the parser a significant influence? // *Explanations for language universals*. Berlin, 1984. P. 9 sq. // Там же. С. 226.

²¹¹ *Jackendoff R.* Sense and Reference in a Psychologically Based Semantics // *Talking minds: The study of Language in Cognitive Science*. Cambridge, 1984 P. 51 sq. // Там же.

²¹² *Givon T.* Syntax. A functional-typological introduction. Amsterdam; Philadelphia, 1984. Vol. 1. P. 7—9 // Там же.

²¹³ *Langacker R.W.* Foundations of cognitive grammar. Stanford, 1987. Vol. 1. Theoretical Prerequisites P. 1. Там же. С. 229.

По мнению Т. Гивона, на современном уровне лингвистического знания существует три типа объяснений языковых фактов, к обнаружению которых должен стремиться лингвист и каждое из которых является по сути своей функциональным. Первый тип касается объяснения лингвистических универсалий и общих принципов построения языка — их следует, по всей видимости, связывать с иконическим соотношением формы и функций в естественных языках в разных ипостасях подобного соотнесения. Второй тип касается принципов внутреннего, уровневого устройства языковой системы: по-видимому, подобно живому организму, представляющему собой организованную совокупность разных органов и систем, язык являет собой тоже набор неких подсистем, близость между которыми может иметь разную степень и взаимодействие между которыми тоже может принимать разные формы. Объяснение типологического различия языков и, напротив, их сходства коренится, следовательно, в выявлении самих представленных в разных языках подсистем, вместе образующих единое иерархически организованное целое, предназначенное для кодирования тех или иных функциональных сфер. Наконец, третий тип объяснений — исторический — реализуется по-разному в зависимости от того, о какой истории идет речь: онтогенезе или филогенезе или, наконец, просто о диахронических преобразованиях одного языка²¹⁴.

Как видно, расшатывание объектной парадигмы выражается в идеях о неавтономности предметной стороны языка (формальные данные диахронии и синхронии), отсутствии врожденных механизмов, невозможности

²¹⁴ *Givon T.* Syntax: A functional-typological introduction.; Ph.: Benjamins, 1984. Vol. 1. A. P. 40—41 // Там же. С. 227.

гипостазировать языковую систему. При этом нерушимой остается орудийная и биологическая метафора — «развитие и строение языков», «единое целое языка», а также традиционные уровни рассматриваемого словесного механизма — «синтаксис, семантика», предполагающие их разделение при теоретизировании.

ВЕРБАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНОСТЬ В ОПИСАТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ

Эта недоговоренность по-прежнему следует из недостаточной определенности места вербальной предметности в теоретической схеме. На вопрос, единообразен ли предметный материал, используемый в реальном процессе говорения, всегда есть поводы ответить утвердительно, поскольку и звуки, и слова «конкретного языка» в целом, с точки зрения «полного» словаря «языка», выглядят единообразно. Прибавив к этому факт понимания говорящих между собой, исследователь по-прежнему не может отказаться от идеи общего словесного инструмента.

Однако, чтобы довести до конца коммуникативную логику и создать непротиворечивую эффективную модель описания речевого процесса, нужно признать ошибочность этой простой схемы. Она обнаруживается, например, в ситуации, когда с предметностью необходимо соотнести процесс смыслообразования, или когниции — то, без чего немислим никакой человеческий «язык».

ТЕОРИЯ СОЧЕТАЕМОСТИ ПРЕДМЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: ОПОРА ПРАВИЛЬНОГО «ЯЗЫКА»

Смыслообразование в традиционной схеме неизбежно влечет за собой теорию *сочетаемости* элементов, поскольку по умолчанию признается, что смысловое целое высказывания возникает как сумма неких его частей — в противном

случае, вне вариативных сочетаний, весь «язык» можно было бы запросто представить в виде таблицы звуков «языка» и списка слов «языка». Соответственно, теория, «заметившая» предметную сторону речи и констатировавшая в ней исчисляемые предметные элементы, вынуждена объяснять *комбинации* этих элементов между собой. В ходе этой процедуры сразу заметно и то, что сочетания с трудом поддаются исчислению, но при этом для объяснения факта их понимания *все* существующие комбинации должны быть сведены к конечным правилам, составляющим «язык». Так, если последовательность звуков языка произвольна, то никакого слова и смысла в результате не возникает; структуры, принадлежащей данному языку и созданной по его фонетическим законам, нет — соответственно, необходимо ответить, почему в других, реально существующих, сочетаниях последовательность звуков такова, что она образует осмысленные слова. То же следует сказать и о произвольной последовательности уже не звуков, а слов, которые в свободном порядке не выстраивают смысла на уровне синтаксиса, а в «правильном» порядке — выстраивают. Соответственно, для теории синтаксиса и фонетики, считает традиционная теория, необходимо установить правильные сочетания, т. е. такие комбинации, которые в «языке» порождают смысл — как в фонетике (при образовании слов из звуков), так и в синтаксисе (при образовании предложений из слов). В результате возникает необходимость правильной фонетики данного «языка» и правильного синтаксиса данного «языка», которые якобы обеспечивают единообразие инструмента говорения и понимания. Таким способом вербальную предметность пытаются ввести в строгие рамки и оставить нерушимым «язык».

**ФОНЕТИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ: ОСМЫСЛЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ
«ЯЗЫКА» ИЗ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ НЕ ВЫВОДИМЫ**

Однако в этой теоретической ситуации стоит заметить, что сочетания как слов, так и звуков (или в фонологии — фонем, фонов), традиционно рассматриваются в произвольно ограниченной позиции — в основном, в позиции сопряженности одного элемента с другим. В действительности для того, чтобы образовать «слово языка», необходимо сочетание не только соположенных или близких друг к другу звуков (фонем), которые, якобы, по правилам сочетаются между собой, но сочетание произвольно избранного звука со всеми остальными, составляющими уже существующее слово, поскольку в рамках словесного целого каждый элемент или группа элементов представляют собой его значимую часть. Так, например, для того, чтобы образовать слово [тон], необходимо урегулировать правилами сочетание [т] с [он], [н] с [то]. Кроме того, необходимо выстроить оппозиции всех звуков данного слова со всеми же звуками «языка» и т. д. Это, несмотря на всю свою неудобовыполнимость, для предметной схемы имеет важное значение, поскольку, если изменить один из элементов этих искусственных пар — получится другое «слово языка», например, [том] или [сон], или [эон], или [тын], или [дом], или [ион]. Для того, чтобы образовать слово [приватный], необходимо урегулировать правилами оппозицию [п] и [риватный], [пр] и [иватный] — каждая из этих частей может измениться, и получится другое слово языка — [приятный], [чриваты] и т. д. Понятно, что такой набор сочетаний уже не регулируются правилами фонетики (фонологии), а попытки установления таких правил вели бы к признанию бесконечного числа сочетаний, в применении которых языковое сознание носителя языка или наблюдателя явно потеряло бы всякую почву.

Кроме того, заметно и то, что выведение фонетических законов осуществляется на основании существующих, заранее известных слов языка. Соответственно, возникает вопрос: почему правила работают столь выборочно и почему не все фонетически возможные сочетания являются словами данного языка? В этой ситуации заметно, что в сознании того, кто рассматривает словесную последовательность, уже есть целостности, которые считаются словами. Таким образом, законы фонетики, трактующие о сочетаемости звуков, по-видимому, частично объясняют лишь физиологические детерминанты звучащей речи, но реальные слова, т. е. те структуры, которые они образуют, из этих законов не выводимы.

**СИНТАКСИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗ СИНТАКСИЧЕСКОЙ КОМБИНАТОРИКИ
НЕ ВЫВОДИМЫ**

То же — в случае синтаксиса, т. е. сочетания между собой «слов языка», образующих актуальные высказывания. Традиционный синтаксис, рассматривающий комбинаторику единиц на уровне ближайшей соположенности, оказывается бессильным в объяснении гораздо более сложной комбинаторики, присутствующей в реальных речевых действиях. Актуальные высказывания все время образуют целостности, где сочетаются дистантные слова и группы слов, составляющие предложения и более крупные единства. Здесь устанавливаемых правил также оказывается недостаточно, не говоря о том, что словарная комбинаторика постоянно нарушается в реальном узусе.

Именно такой ракурс проблемы заставил некогда Хомского акцентировать *бесконечность* предложений, используемых говорящими, и поставить сакраментальный вопрос о том, как данная бесконечность может пониматься,

т.е. обрабатываться сознанием и иметь конечный результат обработки. Нужно заметить, что а priori Хомский полагал, что порождение и понимание осмысленной структуры происходит благодаря вербальному компоненту и, само собой, благодаря знанию синтаксических правил, которые нужно исчислить, и в этом видел свою задачу. Очевидная неисчисляемость самих предметных сочетаний привела его к отказу от словесной конкретики, задающей бесконечность — т. е. к констатации механизма порождения, или матрицы, в которую укладывается вся предметная бесконечность сочетаний (характерно, что в такой постановке вопроса уже содержался отказ от предметности в истолковании «языка»). Но при этом, совершая рекурсивную процедуру, Хомский тотчас возвращается к словам и, в конечном счете, сводит порождающий механизм к работе вербальных единиц с их валентностями, устанавливая жесткие корреляции между ними и ячейками матрицы. Ясно, что ячеек для сочетаний всех элементов синтаксиса не хватило бы так же, как и фонетических правил для объяснения сочетания звуков, возмись кто-нибудь их описывать. По крайней мере, заранее знать эту матрицу невозможно.

ВОЗРАСТАЮЩЕЕ НЕДОВЕРИЕ К ЯЗЫКОВОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ: ПРОЦЕССЫ СОЗНАНИЯ НЕ СЛОВЕСНЫ

Итак, постановка вербальной предметности во главу угла и затем обнаружение правил сочетания предметных единиц (как звуков, так и слов) между собой для объяснения того, что совершается в сознании, — неверное направление когнитивного поиска. Серьезная попытка Хомского обрести в предметной стороне речи работу когнитивного механизма, который якобы обеспечивает целостность и всеобщность «языка», была, по-видимому, неудачной.

В целом при помещении «языка» в сознание недоверие к языковой предметности только возрастает. Так, Хомский, занимаясь языком в сознании, уже фактически не рассматривал уровень фонетики, принимая за факт, что для носителя языка единицы существуют в виде готовых комплексов (слов), комбинируемых в процессе порождения речи.

В том же смысле на современном лингвистическом горизонте сложно представить явление когнитивной фонетики. Заметим, что попытка преобразования фонетики в фонологию (для спасения уровня звуков от очевидной бессмысленности) не дает для теории ничего, поскольку теория фонологических, так же как и фонетических сочетаний в конце концов вынуждена обращаться к *осмысленному* материалу и производить аналитические операции *над ним*, будучи не в состоянии объяснить регулярность именно таких образований в реальной практике.

Так осмысленный речевой процесс, начиная с атомарного уровня, парадоксальным образом отрывается от предметности — в прошлом главного объекта наук филологии и лингвистики. Когнитивный подход, предполагающий смыслообразование на довербальной стадии речевого процесса, сразу вычеркивает фонетику из списка дисциплин, имеющих отношение к смыслу: значимыми оказываются не просто звуки, а сам актуальный процесс коммуникации, в ходе которого говорящий строит свое действие из элементов, бессмысленных самих по себе. По-видимому, когнитивное отношение к фонетике состоит в признании ее исключительно физического и физиологического вектора и полной непричастности к вопросам когниции. Этот шаг, совершаемый лингвистической наукой, пожалуй, один из первых наиболее значимых

в определении места вербального материала в теоретической схеме описания речевого процесса.

Однако то же самое с позиций когнитивности следует сказать и о других традиционных уровнях, и, прежде всего, уровне лексем.

Дж. Лакофф и теория прототипов

Самая серьезная когнитивная попытка теоретически преодолеть объектное понимание лексемы (т. е. поставить под сомнение слово как самостоятельный смысловой элемент) предпринята в теории прототипов, которую в виде монолитного концептуального единства представил Джордж Лакофф в книге «Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении». Когнитивное понимание слова как элемента языкового процесса выясняется в целостном контексте этой теории, вобравшей в себя и по-своему осмыслившей языковой материал.

Свойства мышления

На фоне критики «объективистского» понимания человеческого мышления новый подход к нему становится принципиально необходимым. Несколько принципов, суммированных Лакоффом, закладывают основы когнитивных представлений о процессах, совершаемых в сознании:

« — Мышление является *воплощенным*. Это означает, что структуры, образующие нашу концептуальную систему, имеют своим источником наш чувственный опыт и осмысляются в его терминах; более того, ядро нашей концептуальной системы непосредственно основывается на восприятии, движениях тела и опыте физического и социального характера.

— Мышление является *образным (imaginative)* в том смысле, что те понятия, которые не основываются непосредственно на опыте, используют метафору, метонимию, ментальные образы — все это выходит за пределы буквального отражения, или *репрезентации*, внешней реальности. Именно способность воображения позволяет нам мыслить «абстрактно» и выводит разум за пределы того, что мы можем увидеть и почувствовать. Способность воображения также является воплощенной — косвенно, — поскольку метафора, метонимия и образы базируются на опыте, и часто чувственном опыте. Мышление также является образным и в менее очевидном отношении: всякий раз, когда мы производим категоризацию чего-либо способом, который не отражает природу, мы используем общую человеческую способность воображения.

— Мысль имеет *свойства гештальта* и таким образом не атомистична: понятия имеют целостную структуру, которая не сводится к простому объединению понятийных «строительных блоков» посредством общих правил.

— Мысль имеет *экологическую структуру*. Эффективность когнитивных процессов, например, при изучении и запоминании, зависит от общей структуры концептуальной системы и от того, что эти концепты значат. Мышление, таким образом, есть нечто большее, чем простое оперирование абстрактными символами.

— Концептуальные структуры могут быть описаны с помощью *когнитивных моделей*, имеющих отмеченные выше свойства.

— Теория когнитивных моделей включает то, что было правильным в традиционном подходе к категоризации, значению и мышлению, и в то же время дает объяснение эмпирическим данным по категоризации и в целом соответствует новому подходу»²¹⁵.

²¹⁵ *Лакофф Дж.* Указ. соч. С. 13.

Так же как и в случае Хомского, обращенность к мышлению и признание его «неслитости» с объектами составляет главную сильную сторону теории прототипов. По этому признаку ее следует рассматривать в русле общего генеративного направления Хомского, как его прямое или косвенное следствие. Вместе с тем когнитивный вектор теории оснащен традиционным теоретическим балластом, несколько отяготившим трактовки и выводы.

КАТЕГОРИИ СЛИТЫ СО СЛОВАМИ

Категории играют первенствующую роль в сознании, причем сливаются (возможно, не осознанно со стороны авторов концепции) со словами, их представляющими:

«Основные положения теории прототипов, которые подводят нас к основанному на когнитивных моделях подходу к категоризации, могут быть резюмированы следующим образом:

— Некоторые категории, такие, как *высокий человек* или *красный*, градуированы; это значит, что они имеют внутренние степени членства, размытые границы и центральные члены, чья степень членства (на шкале от нуля до единицы) равна единице.

— Другие категории, такие, как *птица*, имеют ясные границы; однако внутри этих границ имеются градуированные прототипические эффекты — одни члены лучше представляют данную категорию, чем другие.

— Категории не организованы исключительно в терминах простой таксономической иерархии. Категории «в середине» иерархии являются наиболее *базовыми* относительно разнообразных психологических критериев: гештальтного восприятия, способности формировать ментальный образ, двигательного взаимодействия, легкости изучения, запоминания и использования. Большая часть нашего знания структурирована на этом уровне.

— Базовый уровень опирается на воспринимаемую структуру часть—целое и соответствующее знание того, как эти части функционируют относительно целого.

— Категории образуют систему с противопоставленными элементами.

— Человеческие категории не находятся объективно «в мире», внешнем по отношению к человеку. По крайней мере, некоторые категории являются *воплощенными*. Категории цвета, например, детерминированы совместно внешним физическим миром, человеческой биологией, человеческим умом и культурными факторами. Структура базового уровня зависит от человеческого восприятия, способности воображения, двигательных способностей и т. д.

— Признаки, релевантные для описания категорий, являются *интеракционными признаками*, признаками, которые можно охарактеризовать только в терминах взаимодействия человеческих существ как части своего окружения с этим окружением. Прототипические члены категорий иногда описываются в терминах *лучков* таких интеракционных признаков. Такие пучки (кластеры) ведут себя как гештальты: кластер как целое является с психологической точки зрения более простым, чем его части.

— Прототипические эффекты, а именно асимметрия между членами категории, такая, как различия в оценке того, насколько хорошо они представляют категорию, являются поверхностными феноменами, которые могут иметь много источников»²¹⁶.

БАЗОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВЕСНЫХ КАТЕГОРИЙ

Как видно, внимание исследователя направлено прежде всего на слова, репрезентирующие мыслимые категории («высокий человек», «птица» и др.). Можно с определен-

²¹⁶ Лакофф Дж. Указ. соч. С. 84.

ностью утверждать, что отправной точкой для теории прототипов служат предметные факты «языка» и их значения, понимаемые вполне объектно. При объяснении феномена слова античная схема «знак—значение» сохраняется, приобретая лишь некоторую неоднозначность, градуальность в сфере смысла. Впрочем, эта неопределенность смысла отменяется затем понятием базового уровня и базового значения — единого для говорящих на одном языке: базовыми значениями обладают все, кто говорит на данном языке (в качестве примера приводятся исследования в области цветов и их наименований).

Понятийная система организована в терминах категорий, и большая часть, если не все мыслительные операции, связаны с категориями. При этом категории передаются словами-номинантами, образующими отправную точку в рассуждениях о размытых значениях. Представителем категорий являются именно слова, иначе — если бы речь шла о несловесных понятиях — не было бы необходимости говорить о размытых границах, поскольку только предметно определенное слово намечает эти границы, которые затем «размываются» наполняющим его смысловым содержанием. Словесность категории имеет далеко идущие теоретические последствия.

ОРГАНИЗАЦИЯ КАТЕГОРИЙ (КАТЕГОРИЙ-СЛОВ): СИСТЕМА ЯЗЫКА

Категории обладают как собственным внутренним строением, так и межкатегориальной организацией, или иерархией. Все это распространяется также и на категории языка, т. е. на слова и грамматические абстракции (последние, впрочем, тоже выражаются словами):

«Одно из принципиальных утверждений в данной книге заключается в том, что язык использует общий когнитивный аппарат. Если это утверждение верно, то из него вытекают два следствия:

— Языковые категории должны быть того же типа, что и другие категории в нашей понятийной системе. В частности, они должны демонстрировать прототипические эффекты и эффекты базового уровня.

— Данные относительно природы языковых категорий послужат вкладом в общее понимание когнитивных категорий в целом. Поскольку язык имеет чрезвычайно развитую категориальную структуру и поскольку языковые явления столь разнообразны и многочисленны, изучение категоризации в языке будет одним из основных источников данных о природе структуры категорий вообще»²¹⁷.

Как результат, в рамках теории прототипов, так же как и в отвергнутой Лакоффом платоновской парадигме, возникает конструкт «язык», организованный внутри себя объективными связями. По-прежнему словесный «язык» признается правильной системой, известной коммуникантам и необходимой им для взаимопонимания. Приоритет значения и коммуникативной функции остается только декларацией.

ДЕТЕРМИНИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ БАЗОВЫМИ КАТЕГОРИЯМИ: МАТЕРИАЛЬНОСТЬ И ВОПЛОЩЕННОСТЬ

С такой трактовкой отношения когнитивной сферы и языкового материала тесно связанным оказывается вопрос о свободе сознания.

Сознание в рамках теории прототипов признается детерминированным базовыми категориями (основанными на чувственном опыте), что влечет за собой признание его

²¹⁷ *Лакофф Дж.* Указ. соч. С. 86.

несвободы и обусловленности, и, в конечном счете, его материальности и «воплощенности». На уровне языкового материала детерминированности сознания соответствует «язык» как система категорий:

«Нет ничего более базового для нашего мышления, восприятия, действий и речи, чем категоризация. Каждый раз, когда мы рассматриваем что-то как *род* вещей, например дерево, мы осуществляем категоризацию. Когда бы мы ни рассуждали о *родах* вещей — стульях, народах, болезнях, эмоциях, о любом роде вообще — мы прибегаем к помощи категорий. Когда бы мы ни осуществляли любой *вид* целенаправленных действий, самых обычных, таких, как, например, писать что-либо ручкой, забивать гвоздь молотком или гладить одежду, мы используем категории. Конкретное действие, которое мы выполняем в этом случае, является *видом* двигательной активности (например, письма, забивания гвоздя молотком, глажки), то есть входит в особую категорию двигательной активности. Они никогда не производятся в точности одним и тем же образом, тем не менее, несмотря на разницу в конкретных движениях, все они представляют действия определенного рода, и мы знаем, как производить такие действия. И всякий раз, когда мы произносим или понимаем какое-либо высказывание любой разумной длины, мы используем десятки, если не сотни категорий: категории звуков речи, слов, сочетаний слов и предложений, равно как и понятийные категории»²¹⁸.

По-видимому, к признанию единых базовых категорий (и затем к признанию «языка») сторонников теории прототипов подталкивает прежняя идея о понимаемости речевого процесса, или идея наличия общепонятного инструмента, пригодного для коммуникации: раз говорящие

²¹⁸ Лакофф Дж. Указ. соч. С. 20.

понимают друг друга, значит, в их сознании присутствует единая категориальная система, вполне определенно коррелирующая с языковыми данными. Базовость категорий становится необходимым условием для теоретического оправдания ментального единства, коммуникации, понимания и пр.:

«Э. Рош и ее соавторы обнаружили, что базовый уровень — это:

— наивысший уровень, на котором члены категории имеют воспринимаемый чувствами сходный общий внешний вид;

— наивысший уровень, на котором единичный ментальный образ может отражать целую категорию;

— наивысший уровень, на котором люди используют сходные физические действия для взаимодействия с различными членами категории;

— уровень, на котором члены категории идентифицируются наиболее быстро;

— уровень с общеизвестными и наиболее употребительными обозначениями членов категории;

— первый уровень, осваиваемый детьми;

— первый уровень, на котором слова входят в язык;

— уровень с наиболее короткими лексемами;

— уровень, на котором слова используются в нейтральных контекстах. Например, *На крыльце сидит собака* может использоваться в нейтральном контексте, тогда как для *На крыльце сидит млекопитающее* или *На крыльце сидит жесткошерстный терьер* требуется специальный контекст;

— уровень, на котором находится в систематизированном виде большая часть наших знаний.

Таким образом, категории базового уровня являются базовыми в следующих четырех отношениях:

Восприятие: Целостно воспринимаемый внешний вид; единый ментальный образ; быстрая идентификация.

Функционирование: Общая двигательная программа.

Коммуникация: Наиболее короткие, наиболее общепотребительные и контекстуально нейтральные слова, которыми дети овладевают в первую очередь, первичные с точки зрения вхождения в словарный состав языка.

Организация знаний: Большинство признаков членов категорий хранится на этом уровне»²¹⁹.

Как видно, определенность базового уровня в сознании влечет за собой определенность языкового уровня. Отвергая идею Уорфа о детерминированности сознания данными языка, теория прототипов находит для несвободы говорящего другие основания — прототипы (или базовые категории), которые, как оказывается, столь же тесно связаны с вербальностью, теоретически спровоцированы ей и по этому признаку вполне вписываются в платоновскую схему.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Заметим, что признание «материальности» мышления, его обусловленности чувственным опытом в действительности выдает лишь неправильную постановку вопроса: процесс мышления заключается не в бессмысленном подборе категорий (что в самом деле отсылало бы лишь к имеющимся данным прежнего чувственного опыта), а в *назначении* актуальных признаков, *комбинировании* и выборе мыслимых объектов, ситуаций, *прогнозированию* действий в (коммуникативном) пространстве и пр. Связи,

²¹⁹ *Лакофф Дж. Указ. соч. С. 72.*

которые выстраиваются в процессе так понимаемого мышления, — не материальны, а мыслимы, не отражены как объекты действительности, а созданы субъектом, не опытно обусловлены, а абстрагированы от чувственно воспринимаемой предметности. Реальный процесс мышления состоит в том, что субъект активно и всегда заново осуществляет процедуру комбинирования и выбора, его процесс активен (творчески реактивен), свободен в назначении актуальных признаков, принятии решений и пр.

КАТЕГОРИИ ОРГАНИЗУЮТ «ЯЗЫК»

Прототипические категории, согласно Лакоффу, организуют не только процесс мышления, но и «язык», существующий как когнитивный механизм:

«Язык демонстрирует прототипические эффекты и эффекты базового уровня»²²⁰.

Параллельно этому признается полная реальность грамматики и «языка» как когнитивного инструмента. В этом вопросе прежняя генеративная и новая когнитивная грамматики сближаются:

«Некоторые базовые принципы когнитивной грамматики являются также базовыми принципами генеративной семантики. К ним относятся следующие:

— Язык является частью познания вообще и использует универсальные когнитивные механизмы.

— Основная функция языка — передача значения. Поэтому грамматика должна показывать как можно более непосредственно, каким образом параметры формы связаны с параметрами значения.

— Поскольку значение и коммуникативная функция

²²⁰ Лакофф Дж. Указ. соч. С. 86.

первичны, грамматики должны стремиться объяснить как можно больше параметров формы на основе параметров значения и коммуникативной функции.

— Прагматика рассматривается как семантика коммуникации, при ее описании используется тот же теоретический аппарат, который используется при описании семантики»²²¹.

Категории, переосмысленные в качестве прототипов, становятся той опорной точкой, на которой можно утвердить смыслообразование в языках:

«Категория видов каузации демонстрирует прототипические эффекты в том виде, как они представлены в естественных языках. Эти эффекты характеризуются относительным единообразием во всех языках.

Мы можем объяснить эти эффекты исходя из предположения, что прототипическая каузация понимается в терминах связанного пучка (кластера) интеракционных признаков. Как представляется, эта гипотеза наилучшим образом объясняет отношения между языком и концептуальной структурой, так же как и отношения между различными видами каузации. Прототипическая каузация характеризуется пучком признаков, а непрототипические разновидности каузации наилучшим образом могут быть определены в терминах отклонения от этого пучка»²²².

АПОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЗ РАЗМЫТЫХ: ПРОТИПИЧЕСКАЯ КАУЗАЦИЯ

Заметим, что «прототипическая каузация», основанная на теории фамильных сходств, представляет собой казуистичный способ преодолеть известную апорию значения в вербальном материале: «слово не имеет (точного) значения» *vs* «вербальная структура, имеющая понимаемое

²²¹ *Лакофф Дж.* Указ. соч. С. 753.

²²² Там же. С. 82.

значение, составлена из слов». Как объяснить процесс возникновения значения в высказывании, составленном из элементов, не имеющих (точного) значения?

В этой ситуации теория фамильных сходств, предложенная Витгенштейном («члены категории могут быть связаны друг с другом без того, чтобы все члены категории имели какие-либо общие свойства, конституирующие категорию»), дает, якобы, возможность объяснить, почему расплывчатое в своих смысловых границах слово все же может иметь доступный сознанию смысл: это происходит благодаря некоторому признаку или группе признаков, имеющих место в членах данной категории так же, как имеются черты сходства у сравниваемых членов семьи, при том что не все члены семьи обладают всеми общими признаками, хотя и составляют единую семью (так, категория «игра» является одной большой семьей для самых разных игр). Прототипическая каузация есть, по мнению Лакоффа, восхождение к данной черте сходства у мыслимого феномена, в т.ч. слова, и, соответственно, нахождение в нем единого базового смысла. Такую процедуру необходимо, по логике прототипов, установить, чтобы теоретически избавить самостоятельное слово (словесную категорию) от пустоты и бессмысленности, признать за ним потенцию к смыслообразованию.

В таком ракурсе вербальная структура по-прежнему видится как сумма значений (базовых) смыслов, а смыслообразование в речи признается делом самих слов, а не говорящего коммуниканта.

Единства (различия) не существуют, а назначены

В действительности, как уже было замечено, т. н. фамильное сходство (как и любое сходство) определяется чертой,

которая *назначается* сознанием или может быть им выделена. Стимулом к поиску и нахождению этой черты является заранее известный факт, что между сравниваемыми членами существует единство. Другими словами, единство можно найти между двумя сколь угодно «далекими» членами, лишь бы коммуникант в актуальной ситуации посчитал нужным объединить их в единый класс. Так, два «дерева» могут принадлежать одной категории или разным, в зависимости от назначаемого признака, а само сочетание «разные деревья» с позиции теории прототипов, пожалуй, даже выглядит абсурдом. И, напротив, «дерево» и «лед» могут составить единый класс, при назначении соответствующего объединяющего признака. Соответственно, что представляет собой изолированная категория как пучок признаков (каких?), — по меньшей мере, странный вопрос, указывающий на некорректно избранную отправную точку. Этой точкой, по-видимому, является предметное слово, взятое в качестве единицы речевого процесса, которое на уровне сознания превращается для исследователя в «катеорию», сперва размытую, а затем базовую. Это продемонстрировано Дж. Лакоффом в практической части книги, при исследовании конкретных слов и предложений языка:

«Цель настоящего исследования — показать, что в грамматике существуют радиальные категории и что они имеют ту же функцию, что и радиальные категории в лексике, а именно функцию мотивации соответствия между формой и значением. Мы покажем, что категория структур предложений (clause) в языке структурирована радиально и включает центральную субкатеорию и целый ряд нецентральных субкатеорий. Центральные структуры предложений демонстрируют прямые и регулярные отношения между формой и значением, определяемые общими

принципами, которые мы будем называть *центральными принципами*. Нецентральные структуры предложений систематически связаны с центральными структурами предложений, соотношение между формой и значением в них в значительной мере производно от более центральных структур. Таким образом, соответствие между формой и значением в нецентральных структурах в высокой степени мотивировано — их отношениями с более центральными структурами и соответствиями между формой и значением, определяемыми центральными принципами»²²³.

Как видно, вопрос о фамильных сходствах, базовых категориях, понимании в процессе речи, элементов смыслообразования и пр. требует определения статуса *отдельно взятого слова*, которое в теории прототипов автоматически становится указателем на некий мыслимый прототип. Но прежде этого стоит заметить еще одну черту, обнаруживающую родство данной теории с якобы отвергнутой платоновской парадигмой.

СТАТИКА В РАССМОТРЕНИИ РЕЧЕВОГО И МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ

Как процесс мышления, так и речевой процесс теория прототипов рассматривает статически. В первом случае сознательный процесс определяется как категоризация, т. е. установление видов и родов мысленно созерцаемых сущностей. Заметим, что динамизм этой схемы мог бы состоять в указании на отправную точку и определенную цель категоризации — игры, которая сама по себе, вне динамики и процессуальности, бессмысленна: «подбери категорию и уходи». Во втором случае речевой процесс определяется как высказывание мыслей («кошка находится на коврике»),

²²³ Лакофф Дж. Указ. соч. С. 597.

при полном отсутствии идеи о действенности любого речевого акта (заметим, что динамизм воззрений на языковой материал имел бы место в том случае, если бы речевой процесс определялся не как констатация фактов или высказывание мыслей, а как актуальное коммуникативное действие, предполагающее цель, адресата, мыслимую эффективность и пр. Иначе речевой процесс, в свою очередь, превращается в столь же бессмысленную игру — «назови факт (выскажи мысль) и уходи»). Игнорирование процессуальности в теории прототипов имеет тот же результат, что и в платоновской схеме: категории передаются словами, а слова сообщают нечто о категориях, — с той лишь разницей, что категории определяются прототипически, размыто, а не объективно и точно.

«ЯЗЫКОМ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ МЫСЛИ»

Статическая схема мышления и «языка», реализованная в теории прототипов, в конечном счете наследует платоновскую некорректную трактовку их отношений между собой. В основе этой некорректности лежит спонтанная констатация, что «языком высказываются мысли». Мышление и язык в такой ситуации фактически идентичны, отличаясь лишь некоторыми физическими характеристиками. Обращаясь к категориям, теория прототипов устремлена к мыслимым объектам, при том что соответствие этих объектов языковому материалу (словам) считается само собой разумеющимся, как, например, в рассуждении о базовых категориях цвета:

«Базисные наименования цвета называют базовые *категории* цвета, центральные члены которых универсально одни и те же. Например, всегда имеется психологически реальная категория красный,

с центральным красным цветом как лучшим, или «чистейшим», примером.

Категории цвета, к которым могут быть приложены базовые *наименования* цвета, являются эквивалентами английских категорий цвета, именуемых словами *black* “черный”, *white* “белый”, *red* “красный”, *yellow* “желтый”, *green* “зеленый”, *blue* “синий”, *brown* “коричневый”, *purple* “фиолетовый”, *pink* “розовый”, *orange* “оранжевый” и *gray* “серый” (вспомним также категории “высокий человек”, “птица»)»²²⁴.

Возникает образ вербальной структуры, идентичной мысли, которая высказана посредством слов, идентичных категориям, — что всецело совпадает с античной трактовкой отношения языка и мышления.

СЛОВЕСНЫЕ СТРУКТУРЫ — НЕ МЫСЛИ, А ДЕЙСТВИЯ

Подлинно новая схема их отношения возникает тогда, когда мышление однозначно отрывается от вербальности: словесные структуры — это не мысли, а действия в коммуникативном пространстве, т. е. результат осмысления; мысли же — нечто предшествующее действию, языковому или внеязыковому, или нечто вовсе не воплощенное в каком-либо действии. Соответственно, категории, так или иначе связанные в теории прототипов со словами, и теоретически представленные как когнитивные монады смысла и «языка», являются неудачной попыткой совместить несовместимое.

ИЗОЛИРОВАННОЕ СЛОВО: НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ КОММУНИКАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Таким образом, можно констатировать, что в рамках теории прототипов слово и категория смешиваются, и,

²²⁴ *Лакофф Дж.* Указ. соч. С. 44.

в конечном счете, лексема определяется как (языковая) категория, т. е. нечеткое «пушистое» множество, организованное по принципу витгенштейновских фамильных сходств. Для того чтобы объяснить процесс смыслообразования в реальных языковых структурах, составленных из «пушистых» неточных слов, вводятся общезначимые категории базового уровня, присутствующие в любой категории, в т. ч. в слове. В итоге на месте платоновского имени (как смыслообразующего слагаемого речевого процесса) появляется его почти полная копия — слово-категория, которая состоит из прочного центра, или базы, и окружающей ее неопределенности, возрастающей по мере отдаления от ядра и приближения к нечетким границам. В такой трактовке принимают участие прежние подлежащие лингвистического знания — корреляция «знак—значение» (несколько пошатнувшаяся, но выстоявшая); по-прежнему неприкосновенный «язык» как системный инструмент коммуникации; количественный подход к анализу вербальных фактов; несвободный говорящий, детерминированность которого граничит с его полным теоретическим отсутствием; смешение языка и мышления; игнорирование акциональности речевого акта и самого мышления и др. Иными словами, когнитивность в статике, трактующая изолированную лексему как носительницу некоего прототипического значения, редуцируется к той самой платоновской парадигме, которую теория прототипов декларативно отвергает. Напротив, когнитивность в динамике требует определения слова через осмысленный процесс коммуникации, который первичен по отношению к его искусственно выделяемым элементам — словам или категориям.

В соответствии с этим слово, изъятое из актуального коммуникативного процесса, вопреки прототипической точке зрения, следует, скорее, определить как *не имеющее никакого значения*, поскольку значение вербального материала возникает в процессе порождения актуального действия коммуниканта, — действия, которого нет в изолированной внеакциональной позиции слова. Только актуальные высказывания (ставшие реальностью вербальные действия) могут быть интерпретируемы. До совершения вербального действия его элементы, рассматриваемые в качестве автономных слагаемых — как звуки, так и слова, — не имеют никакого смысла.

Такая трактовка лексемы обыкновенно встречает два возражения.

**ПЕРВОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ: «Скажи «Здесь холодно»,
ИМЕЯ В ВИДУ «Здесь тепло»**

1) Если слова приобретают значение в процессе действия, совершаемого коммуникантом, тогда, якобы, следует полагать, что любое слово может приобрести какое угодно значение в актуальной структуре. Витгенштейн сформулировал эту проблему афористично: «Скажи “Здесь холодно”, имея в виду “Здесь тепло”. В состоянии ли ты это сделать?», — подразумевая, что слово «тепло» не может значить «холодно», даже когда сам говорящий так думает.

Нужно заметить, что сама формулировка этого возражения — «слова не могут приобретать какое угодно значение в зависимости от мыслимого актуального контекста, или ситуации вербального действия» — выдает прежний платоновский подход к анализу вербальной структуры: есть слова, их нужно понять, понять их невозможно, если в них не содержится определенного значения.

То есть [холодно] вместо [тепло] может означать только «холодно», а не «тепло». При таком подходе заметно, что первое, что увидел исследователь, моделируя реальный речевой процесс, — это слова. От них выстраивается причинная последовательность, якобы, позволяющая на выходе обрести смысл, по логике «от слов к смыслу».

В отличие от такого платонизирующего исследователя, реальный интерпретатор (читатель/слушатель) прежде всего созерцает ситуацию вербального действия, и если она не очевидна, он должен выстроить ее заново или достроить из имеющихся данных, чтобы воссоздать ее модель в том виде, в каком она была мыслима говорящим, производившим данное вербальное действие. Другими словами, реальный интерпретатор восходит на стадию порождения высказывания, чтобы его понять.

Таким образом, реальный читатель/слушатель при истолковании произносимых слов действует по схеме «мыслимая ситуация—вербальное действие—смысл», а не «слово—смысл». Тем более — сам говорящий, который, прежде чем сказать нечто, осознает параметры ситуации, «вмещающей» его словесное действие. Понятно, что слова (от которых требуют изменения значений) не являются из неоткуда, они заранее согласованы с мысленным планом действия говорящего и только поэтому могут быть затем поняты интерпретатором. Поэтому на аргумент: «Попробуйте вместо одних слов сказать другие — пусть они приобретут мыслимое значение», — можно ответить следующее: «Вы заставляете меня бессмысленно, несознательно, бездумно реализовывать какую-то *другую* ситуацию, производить *другое* действие. Я никогда так не делаю — не говорю бездумно. Слова никогда *сами по себе* не говорятся. И *сами по себе* ничего не значат. Слова

осознаются не в последовательности «слово—смысл», а в последовательности «смысл—слова—смысл». Тот, кто воспринимает слово, сказанное ради эксперимента, и видит его бессмысленность, в действительности видит абсурдность *действия в данной ситуации, а не слова*».

Иначе говоря, в реальном процессе говорения/понимания никогда не бывает так, чтобы слова миновали того, кто их произносит, т. е. явились бы прежде того момента, как их осмыслил сам говорящий (о самозначном языке, см. п. 2.9). Значения слов — это личное действие, которое производит говорящий. Поэтому невозможно требовать *от слов* приобрести какое угодно значение — значения им назначает мыслящий субъект, как считает нужным, и он же является главным и единственным участником смыслообразования для своих слов, когда производит ими действия. Весь «произвол», относимый к слову, в действительности совершается в процессе вербального действия в сознании говорящего, который ориентируется на достижение результата своего словесного акта. Каким он мыслит себе этот результат? От этого и зависит «какое угодно» значение. Слово не может сначала приобрести значение, а потом продемонстрировать актуальный контекст в сознании говорящего, поскольку невербальные смыслы в сознании первичны по отношению к смыслу употребленных вербальных моделей. Любое «значение слова» является с этой точки зрения «каким угодно», поскольку до актуального вербального действия у данного искусственно выделенного слова не было *такого* значения. Предметная единообразная форм слова не означает ничего, пока дело не дошло до осмысленного вербального действия.

ВТОРОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ: «ПОЧТИ ЕДИНООБРАЗНЫЕ» АССОЦИАЦИИ

2) Другое возражение — факт того, что в сознании носителя языка при внеконтекстуальном употреблении слова возникают определенные ассоциации, приблизительно единообразные у всех (это составляет предмет исследования в теории прототипов). Они, якобы, и указывают на значение, присущее данному слову самому по себе.

Если же определять лексему через коммуникативный процесс, то нужно, по-видимому, признать, что ассоциации, возникающие у носителя языка при изолированном произнесении слова, есть не что иное, как *воспроизведение в памяти некоей (минимальной) коммуникативной ситуации, в которой данный говорящий считает возможным употребить данный звуковой комплекс*. В таком случае значение слова, даже рассматриваемого изолированно, становится феноменом дискурсивно синтаксическим, подлинно коммуникативным, поскольку ассоциируется с употреблением в представимой коммуникативной практике, т. е. мыслится интегрированным в коммуникативную ситуацию, переставая быть самостоятельным смыслообразующим элементом. Значение ему придает коммуникативный процесс, отсчитанный от невербальной стадии планирования действия, а не наоборот (то же — в случае звука, который не имеет смысла сам по себе, а лишь в составе существующих слов, и, соответственно, в составе мыслимых актуальных коммуникативных ситуаций; о предложении и тексте, см. след. параграф).

«ВПЕРЕД, ОТ ПРЕДМЕТНОЙ ПОЧВЫ ЯЗЫКА!»

Таким образом, предметность речевого процесса на минимальном строевом уровне (фон, лексема), чтобы получить

представимое смысловое содержание, должна возводиться к уровню когниции, в невербальную сферу осмысления вербального действия, т. е. в мыслимую коммуникативную ситуацию осуществления действия. В самих выделяемых предметных элементах не может содержаться значений. Любая возможность производить смыслообразование — четкое или нечеткое, «пушистое» или точное — происходит из довербальной, когнитивной области. Первенство невербального смысла и идея действия, содержащегося в любом актуальном высказывании, делают любые элементы, их сочетания, валентности в них, якобы, заданные «языком», несамостоятельными и зависимыми от осознанного коммуникативного процесса.

Как и в случае звуков и лексем, развитие когнитивных идей о других уровнях «языка», так же как и о самом «языке», в полном соответствии с сознательным вектором, требует выхода за пределы предметности. Это закономерно, поскольку поиск этиологии вербальных феноменов, с очевидностью приводящий к говорящему, одновременно приводит и к тому, что сам по себе «язык, понимаемый как инструмент и система» (т. е. якобы, самообусловленный вербальный материал) не интересен, пуст, лишен содержания, как упаковочная бумага, поскольку в нем, абстрагированном от личного актуального действия, не содержится никаких смыслов и значений. Соответственно, для того, чтобы понимать вербальные факты, необходимо понимать конкретного коммуниканта — причину словесного феномена. Акцент, таким образом, смещается в сторону исследования мыслящего субъекта, т. е. в сторону личных особенностей поведения в данной коммуникативной ситуации, т. е. к тем фактам сознания, которые служат причиной данного высказывания. В самом деле,

субъективность вербального действия является искомым в любой интерпретации вербального материала.

Кроме того, очевидная невербальность сознания сама собой отрицает детерминанту «словесный язык». Свобода выделения объектов, их сочетаний и вовлечения в структуру действия в конечном счете не согласуется с идеей словесного устройства, которое, якобы, делает эту работу автономно и единообразно.

2.7. «Язык» в тексте

ЗНАЧЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК — ДЕЙСТВИЕ

Как известно, уже Аристотель признавал, что смысл, образуемый словами «без соединения и разъединения», отличен от того, который заключают в себе слова, организованные в высказывание:

«Имена же сами по себе и глаголы подобны мысли без соединения или разъединения, например, «человек» или «белое»; пока ничего не прибавляется, такое слово не ложно и не истинно, хотя и обозначает нечто» (*Об истолковании*, 16a)²²⁵.

Покидая уровень слов, лингвистическое рассуждение, признавшее за словами значения, тотчас (как это продемонстрировал Аристотель) замечает, что составленные из них высказывания уже могут быть истинными или ложными, в отличие от самих слов, которые значат нечто совсем в другом роде. В чем же отличие между значением

²²⁵ По изданию: *Аристотель. Сочинения: В 4-х т. / Ред. В.Ф. Асмус. Т. 2. М., 1978. С. 93—99 / Перевод Э.Л. Радлова (1891), переработанный.*

высказывания и значением слова, которое ясно видел Аристотель?

По-видимому, отличие состоит в том, что в высказывании уже просматривается действие (которое Аристотель, правда, сразу сводит к констатации истинности или ложности факта). Другими словами, созерцать значение изолированного слова, значит, не вмешиваться самому ни во что, не действовать, в то время как передавать некое положение дел можно, по мысли Аристотеля, верно или неверно, — в этом уже присутствует «вина говорящего», т. е. личное действие, совершенное правильно или неправильно.

Как видно, идея действия в формулировках Аристотеля только брезжит, не получая затем никакого теоретического развития. То, что называется им вполне определенно как точный признак, отличающий «значимое» слово от значимого высказывания — это предметный критерий, достоверно определяемый по наличию (отсутствию) слов: есть соединение (или разъединение) слов или нет; прибавляется ли к слову другое слово или нет. Иначе говоря, правильно или неправильно констатировать факт можно, судя по высказыванию Аристотеля, только в том случае, если имеется сочетание одного слова с другим; если нет как минимум *двух* слов, истинно или ложно констатировать факт невозможно.

Такую откровенно не безупречную позицию Аристотель, по-видимому, обнаруживает вынужденно, как некогда Платон (устами Сократа), взявшись делить на части заведомо наделенный значением предметный материал «языка», вынужден был признать, что звуки должны содержать смыслы, поскольку предложения — заведомо осмысленные — в конечном счете состоят из звуков. В свою

очередь, Аристотель видит, что статическое значение со-держится в слове; чтобы что-то сообщить, необходимо, во-первых, «означить» то, о чем сообщается, и, во-вторых, «означить» то, что о нем сообщается — т. е. произнести как минимум *два* слова. Ясно при этом, что автор «Категорий» не мог не замечать существования однословных предложений, и даже более того — возможности бессловно констатировать факты (киванием головы и пр.). Однако, как видно, его интересует структура мысли-суждения, т.е. структура констатации факта (подлежащее—сказуемое), и если уж «мысль выражается словами», то, соответственно, — сочетание как минимум *двух* слов становится просто «не-избежно, ибо у нас нет ничего лучшего, к чему мы могли бы прибегнуть», как говорил Платон.

Итак, изолированное слово не имеет того же значения, что и предложение (а попросту не имеет никакого значения вне действия), а предложение уже значимо по причине того, что является действием в коммуникативном пространстве, при том что количество слов и их форма, как продемонстрировал отрицательный пример Аристотеля, здесь вовсе ни при чем: парадоксальным образом слов может вообще не быть, а смысл при этом — быть выраженным, т.е. смыслодержущее предложение может иметь место. Как видно, процесс смыслообразования на уровне предложения (высказывания) также интегрируется мыслимым действием, а не словами с их значениями.

ОТКАЗ ОТ ПРЕДМЕТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С этой точки зрения от определений предложения как сочетания слов и текста как множества предложений нужно сразу отказаться: предложение, заключающее в себе действие, может быть вообще лишено слов, замененных

жестами, междометиями и пр., а текст может состоять из одного предложения, которое к тому же может быть тем самым, лишенным слов. Другими словами, дефиниция предложения и текста по предметным признакам, пожалуй, не даст результата, как в случае Аристотеля. Определяя предложение и текст (как общепризнанно имеющие иное, нежели слово, значение) необходимо определять *мыслимое действие*, которое либо содержится в вербальном материале (как в актуальном высказывании), либо не содержится (как в изолированной лексеме, звуке, морфеме).

Характерно, что дать определение смыслодержашего предложения только по форме — даже в рамках словоориентированной предметной парадигмы — оказывается невозможным: нельзя признать убедительным, что, для того чтобы быть предложением, грамматическая структура должна непременно обладать существительным, глаголом, прилагательным и пр. Определять вербальный феномен приходится через мысль («законченную мысль», как это сделал некогда Аристотель, или «сообщение о чем-либо» и т. д.). Устанавливая, что мысль говорящего и значение вербального материала не тождественны (одно — внутреннее размышление перед совершением действия, не имеющее к вербальности отношения, другое — само производимое действие), с некоторым приближением можно согласиться на то, что «предложение есть фонетический комплекс, содержащий тождественно осознаваемое действие в мыслимом коммуникативном пространстве».

Единство коммуникативных действий: момент мыслимой ситуации

С помощью идеи действия можно сразу избавиться от излишней драматизации отличий текста и предложения при

интерпретации смыслообразования в речи. Действие присутствует как в тексте, так и в предложении. Если заметить, что в последнем их более, чем одно, и в этом увидеть отличие текста от предложения, то, по-видимому, такой способ их различения снова отсылает к предметным признакам речевого процесса — к видению слов, которые были или не были произнесены прежде данных, подвергаемых рассмотрению.

Между тем условия говорения в коммуникативном пространстве всегда одинаковы в том смысле, что действие — в отдельном предложении (которое может находиться в последовательности предложений) — осуществляется всегда в единый момент мыслимой коммуникативной ситуации. Мыслимая ситуация, определенная в своих параметрах говорящим, имеет место всегда, независимо, были ли до того произнесены какие-либо слова или нет. Наступление новых моментов ситуации происходит как при участии других словесных действий, так и без них. Другими словами, как «здравствуйте», произнесенное мельком при встрече, так и развернутое «предложение из середины большого текста», — все они одинаковым образом представляют собой единичные действия и одинаково обладают условиями, мыслимыми в данный момент говорящим (пишущим). Как в первом, так и во втором случае первоначально устанавливается тождество мыслимых условий действия. Для произнесения «здравствуйте» — это визуально воспринятые на данный момент факты, для «предложения из середины текста» — это также мыслимые на данный момент факты, которые идентифицированы сознанием как благодаря ранее произнесенным высказываниям-действиям, так и благодаря невербальным культурным реалиям и практикам. В том, и в другом случае

«подлежащим» высказывания выступает мыслимая в данный момент ситуация, в которой говорящий осознал возможность оказать личное влияние на адресата, а «сказуемым» — само действие в коммуникативном пространстве. В этом смысле реальные коммуникативные «подлежащее» и «сказуемое» не совпадают с аристотелевскими *двумя словами*, именующими предмет высказывания и его предикат.

Таким образом, если значение высказывания есть действие говорящего, а действие параметрируется помысленными невербальными условиями его совершения, то определять отличие осмысленного текста от предложения через количество слов или последовательность словесных предложений представляется невозможным: любой актуальный словесный материал вписывается в мыслимый континуум *в данный момент*, независимо от произвольно определяемых границ словесной последовательности, независимо от того, есть ли вообще какие-либо слова до и после данного вербального действия. Сознание говорящего и слушающего всегда пребывает в одном моменте ситуации и понимает одно данное действие — входит оно в ряд или предметно изолировано от других.

ЛИНЕЙНОСТЬ ПРЕДМЕТНЫХ СЛОВ: МЫСЛИМОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕЛИНЕЙНО

В связи с одномоментностью нужно заметить, что линейность текста — относительна. Линеен словесный ряд, но для установления значений, т. е. понимания действий, необходимо нелинейное измерение — как в случае «текста», так и в случае предметно изолированного высказывания: для генерирования и интерпретации моментального действия сознание совершает нелинейные интегрирующие

операции. Так, чтобы установить, к примеру, на ком (или на чем) фиксирует внимание собеседника (слушателя, читателя) адресант, говоря [он], — сознание определяет «денотат» не в уже произнесенных словах, а в мыслимом в настоящий момент невербальном коммуникативном пространстве, лишенном линейности.

ВРЕМЕННОСТЬ ПРЕДМЕТНЫХ СЛОВ: МЫСЛИМОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕЛИНЕЙНО

То же следует сказать и о временном измерении, якобы, свойственном тексту и предложению. Так же как и линейное, оно относительно. Говорить о временном измерении смыслообразующего высказывания или текста можно только в том случае, если рассматривать его по-платоновски — как постепенное суммирование предметных слов. Если же признать, что значение высказывания состоит в действии говорящего, то смысл того, что сделал коммуникант посредством словесного высказывания (ради чего он и говорил), не имеет временной протяженности — оно собирается сознанием в одну точку в момент идентификации действия. Так, задаваемый вопрос, состоящий из физических слов, действительно, длится во времени, но *значение* того, что было произнесено, собирается сознанием в одно целое на стадии обдумывания высказывания или на стадии его понимания, и только тогда становится единым действием, доступным пониманию. Так, к примеру, в актуализованной ситуации высказывание «Мне нужно позвонить» на стадии [мне] не имеет того значения, которое мыслил коммуникант, произносящий эти слова (т.е. не имеет никакого значения), то же — на стадии [мне нужно], и только [мне нужно позвонить] в актуальной ситуации (с ее особенностями) будет означать именно то, что

замышлял сам говорящий на довербальной стадии. Взойдя к замыслу действия, вневременно помысленному коммуникантом до произнесения слов, адресат понимает сказанное столь же вневременно, сводя все «временные» слова в одну точку — единое действие).

СНЯТИЕ РАЗЛИЧИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЕКСТА

Итак, традиционное разделение предложения и текста носит, скорее, предметный и количественный характер, но не затрагивает невербальных когнитивных составляющих смыслообразующей речи. Определяя предложение и текст (как прежде звук и лексему) через коммуникативный процесс, нужно, по-видимому, обратиться к осознаваемому действию, которое удаляется от несамотождественной вербальной предметности и снимает вопрос о различиях.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА

Между тем лингвистика текста возникает именно под лозунгом выхода за границы предметного предложения и постулирования новой главной единицы смыслообразующей речи — текста. Другими словами, в момент возникновения и становления новая методология описания языкового факта констатирует явное различие этих единиц, что, по-видимому, означает сохранение прежних предметных критериев анализа вербального материала.

ЛОНГАКР: НУЖНА ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ

Так, Р. Лонгакр в своем программном выступлении «Почему нам необходима вертикальная революция в лингвистике» (1978) сравнивает поворот теории от предложения к тексту с заменой геоцентрической модели мира на гелиоцентрическую. В докладе демонстрируются «те зада-

чи, с решением которых может справиться дискурсивная грамматика и с которыми не может справиться фразовая грамматика»²²⁶. Заметим, что дискурс и, соответственно, дискурсивная грамматика понимаются Лонгаком предметно и словесно, т. е. как развернутая вербальная структура (=текст), перешагнувшая границы предложения:

«Систематический анализ и изучение единств, больших, чем предложение, не просто возможно, не просто желательно, но насущно необходимо. Это выражается в том, что любая лингвистическая структура должна быть непременно соотнесена со структурой контекста. Короче говоря, для текстлингвиста или исследователя грамматики дискурса дискурсивный анализ не роскошь, а необходимое условие»²²⁷.

Новизна лингвистики текста: расширение словесного контекста

В текстовой (или т. н. дискурсивной) грамматике Лонгакра речь идет о взаимодействии слова и его окружения. В сравнении с традиционным взглядом, новизна текстлингвистического подхода состоит в том, что контекст понимается более широко — не как вербальное предложение, содержащее в себе слово, а как вербальный текст:

«По всей видимости, в настоящий момент уже не вызывает сомнения тот факт, что лексическая единица имеет значение только в контексте и это ее значение есть в значительной мере результат ее взаимодействия с контекстом. Совершенно неопровержимо, с использованием рациональных аргументов, можно доказать и то, что значение слова не выводимо из его позиции внутри отдельного предложения»²²⁸.

²²⁶ Longacre R. Why We Need a Vertical Revolution in Linguistics. The Fifth Lacus Forum. Columbia, 1978. P. 247.

²²⁷ Ibid. P. 48.

²²⁸ Ibid. P. 49.

Для иллюстрации Лонгакр приводит пример:

«Давайте зададимся вопросом: когда мы говорим a dog, когда — the dog, и когда — that dog, и какова функция a, the и that в английском предложении? Безусловно, нам нужен контекст для выяснения значения и функций этих слов. Возьмем последовательность из трех предложений: As I stepped out of my front door, I saw a dog coming down the sidewalk. Before I knew what was happening the dog had bitten me. That dog, I learned later, had bitten three people before I came on the scene. Здесь мы видим, что «dog» введено неопределенным артиклем как дополнение в первом предложении. Но уже во втором предложении этот участник стал тематическим (известным) и как таковой стал обозначаться the dog. В третьем предложении рассказчик этой истории дает пояснение об этой собаке, которая до этого уже была идентифицирована и стала известной. Вводя этот комментарий, он отсылает к ней посредством «that dog», поскольку это подходящая структура для такого пояснения. *Здесь мы были вынуждены использовать последовательность из трех предложений для объяснения различных употреблений одного и того же имени с различными значениями и функциями сопутствующих артиклей и указателей (курсив мой. — А. В.)*»²²⁹.

Вайнрих: в границах вербального текста

В том же смысле один из основателей европейского текст-лингвистического направления Г. Вайнрих в своей интерпретации лингвистического материала не выходит за границы вербального текста²³⁰. Для него объяснение словесной структуры, большей, чем предложение, сводится к коллекционированию т. н. шифтеров, которые представляют собой слова или предметные элементы вы-

²²⁹ Longacre R. Op. cit. P. 52.

²³⁰ Weinrich H. Tempus: Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart, 1964.

сказывания (окончания, суффиксы и пр.), выстраивающие иерархию предложений:

«Синтаксис описывает все грамматические указатели текста, которые обеспечивают первоначальное разграничение мира говорящего и слушающего. К этим указателям, прежде всего, следует отнести личные и указательные местоимения и глагольные формы. Они маркируют область, к которой отсылает говорящий в данный момент текста. Так, речь с использованием форм второго лица указывает на область внутри актуальной коммуникативной ситуации, речь с использованием форм третьего лица отсылает к внешней для актуальной коммуникативной ситуации области. На материале глагольных систем некоторых европейских языков Вайнрих сделал вывод о том, что все глагольные формы можно соответственно разделить на две большие группы: первая (внутри коммуникативной ситуации) — дискурсивная, вторая (вне коммуникативной ситуации) — нарративная. Таким образом, глагольные формы рассматриваются и описываются прежде всего как лингвистические маркеры, которые вводят и определяют способ организации коммуникации, как, например, во французском языке *présent*, *passé composé* и *futur* составляют первую группу (дискурс), *conditionnel*, *imparfait* и *passé simple* — вторую (нарратив). Эти умозаключения, наряду с рассмотрением роли определителей предложения (союзы, отрицания и др.), ведут к формулированию ряда лингвистических параметров, которые определяют три основные оппозиции, интегрирующие данную коммуникативную ситуацию: *наррация* «дискурс (на уровне способа реализации коммуникации); *передний план* «фон (на уровне текстового рельефа); *предшествование* «(одновременность) «следование за актуальной коммуникативной ситуацией (на уровне текстовой перспективы)»²³¹.

²³¹ Talstra E. A Hierarchy of Clauses in Biblical Hebrew Narrative // Narrative Syntax And The Hebrew Bible. Papers of the Tilburg Conference 1996 / Ed. E. Van Wolde. Brill, 1997. P. 85—86.

КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНТЕКСТ: НЕ СЛОВЕСНЫЙ ТЕКСТ, А МЫСЛИМАЯ СИТУАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ

Понятно, что в действительности то или иное употребление *a*, *the* и *that*, о котором говорил Лонгакр, объясняется не структурой словесного текста, который имеет, якобы, некие особенности до или после рассматриваемых словоформ, а структурой мыслимой в данный момент ситуации, которая, в свою очередь, характеризуется мыслимыми (а не словесными) параметрами. То же — в случае глагольных форм Вайнриха: не глагольные формы (и прочие особенности слов) указывают на то или иное время в тексте, а мыслимая ситуация вербального действия определяет выбор и значение глагольной формы. Мыслимое действие при генерировании высказывания и, соответственно, его воссоздание при понимании и есть значения вербальной структуры. Таким образом, не особенности текста определяют значение, а, наоборот, особенности текста заданы невербальными значениями коммуникативных действий, которые решил произвести говорящий.

Как видно из приведенных примеров, текстлингвистический метод продолжает оставаться в пределах слов, ища закономерности в вербальных элементах, организующих, якобы, словесные структуры на уровне большем, чем предложение. В конце концов, речь идет о новой *словесной* грамматике — текстовой и, соответственно, о все том же «языке» как системе организации словесных структур.

БОРЬБА С ПРЕДМЕТНЫМ ПОНИМАНИЕМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

В этой ситуации стоит заметить то, как лингвистическая теория борется с предметностью, совершая последовательные шаги по преодолению значения видимых слов и их

частей — главного камня преткновения на ее пути. Уже Аристотель замечает, что лексема в соединении и разъединении значит нечто иное, нежели в изолированной позиции. Речь, таким образом, идет о том, что предложение (или словосочетание) отрицает изолированное значение слова. Заметим, к этому суждению остается добавить, что в реальном коммуникативном процессе нет других, кроме связанных и разъединенных, позиций слов; тогда, казалось бы, следует признать, что изолированного значения лексемы нет вообще; однако, поскольку у нее есть предметно единый облик, понятие об изолированном значении остается у Аристотеля нерушимым.

Далее, при текстлингвистическом восприятии языкового факта устанавливается корреляция контекста — более обширного, чем предложение — с отдельно взятым словом, значение которого признается не выводимым из себя самого и даже из предложения. Снова, пожалуй, было бы логичным заключить, что в изолированном положении лексема не имеет «своего» значения, но приобретает его только в реальной единственно существующей текстовой позиции. Однако и здесь значение изолированной лексемы как слагаемого смысла парадоксальным образом остается нерушимым: так, например, Вайнрих, говоря о детерминировании слова текстом²³², признает тем не менее существование неких «размытых» «неопределенных» значений у самих лексических единиц.

Как видно, для языка в тексте (как, впрочем, и для «языка» в сознании, и в употреблении) точкой опоры оказывается предметное слово, воспринимаемое в целом

²³² E.g. *Weinrich H. Linguistik der Luege* 1966. Ср. тж. *Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека*. М., 1999. С. 1 vs сс. 16—17, 20—27 и др.

так же, как некогда в античной теории: в нем имеется свое значение. Если значение в отдельном слове есть, то Платон прав вместе со всей предметной парадигмой описания языкового факта. Субъектная модель речевого процесса при такой постановке вопроса лишается своего главного основания — свободного говорящего, поскольку его, как и две с половиной тысячи лет назад, оказывается возможным вынести за скобки и признать ненужным в теоретической схеме, раз сами слова объективно значат нечто. Здесь, заметим, идея личного действия в субъектно назначаемом коммуникативном пространстве должна, казалось бы, спасти теоретическую ситуацию. Но согласовать эти идеи или поступиться одной из этих очевидностей фактически невозможно, соответственно, современная лингвистическая теория зачастую строится на аксиомах, откровенно противоречащих друг другу: «слова, из которых состоит значимая вербальная структура, имеют собственные значения» vs «слова субъективны, поскольку они входят в общую структуру личного действия, которое вне говорящего представить невозможно».

От словесного текста к мыслимой коммуникативной ситуации (дискурсу)

Таким образом, с одной стороны, слово интегрируется предложением («соединение и разъединение») и текстом.

С другой стороны, если некие внетекстуальные значения в лексических единицах все же существуют, тогда сами слова заключают в самих себе принципы образования лингвистических структур, превращаясь из интегрируемых элементов в интегрирующие.

Такой подход отрицает коммуникативную парадигму лингвистического описания, скорее, даже просто сводит

ее на нет, поскольку любая категория, большая чем слово, теряет свой системообразующий смысл, и языковое описание возвращается к описанию слов «языка».

Подлинное преодоление этого затруднения состоит в отказе от вербальной предметности как источника смыслообразования, и в признании того, что феномен лексемы определяется через коммуникацию, т.е. полностью интегрируется коммуникативным процессом, в котором ключевую роль играет мыслимый коммуникантом смысл действия-высказывания, а не предметная форма последнего. Смысл и форма не слиты (как признает словоориентированная теория речевого процесса), более того, предметный элемент речи оказывается несамостоятельным до смыслообразующего личного действия, которое и придает словам значение. Другими словами, мыслимое действие (смысл высказывания) и есть главный материал лингвистики, в котором вербальная предметность — интегрируемый, а не интегрирующий компонент.

Преодоление предметности вербального материала, в конечном счете, сводится к признанию внесловесного источника, из которого возникает и в который возвращается любая актуальная словесная структура, облекаясь смыслом. Это — *дискурс*, или *мыслимая коммуникативная ситуация*, в которой говорящий производит действие (или момент мыслимой ситуации). Она полностью лишена вербальных характеристик, но именно в ней говорящий решает воспользоваться известными ему вербальными моделями для коммуникативного влияния на мыслимых адресатов.

Другими словами, тот путь, который совершает теория, преодолевая вербальный материал, ведет не к словесному предложению и не к ряду предложений

(словесному тексту), а к дискурсу, понимаемому, в отличие от словориентированных определений, несловесно, как осознанная коммуникативная ситуация, или набор актуализованных на данный момент или готовых актуализоваться фреймов в сознании. В этом мыслимом пространстве коммуникации говорящий назначает параметры своего вербального поведения.

**СИНТАКСИС КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ:
НЕ ВАЛЕНТНОСТИ СЛОВ, А МЫСЛИМОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Следует заметить, что в таком понимании речевого процесса синтаксис, мыслимый ранее как связь слов в предложении или в тексте, должен пониматься совершенно иначе. Если лингвистическое описание выходит из границ предложения и текста и констатирует, что слова связаны в значимую последовательность не внутренними для предложения связями, а значимым внефразовым принципом, и что этот интегрирующий, «связывающий» принцип есть субъектное действие в мыслимой коммуникативной ситуации (с ее фреймами, актуальными особенностями, моделями, паралингвистическими факторами и дектикой, о ней далее), то понимание синтаксиса становится существенно другим. Прежняя «связь слов в предложении», описываемая в традиционной теории по внутри-фразовым отношениям, лишь иногда с некоторыми элементами сверх-фразовости в целях грамматикализации отдельного предложения, — организуется уже не валентностями самих слов, а понимается как интегрированность вербальных элементов в мыслимое коммуникативное действие, или интегрирование вербальных элементов коммуникативным действием. Такой синтаксис можно назвать *дектическим*, воспользовавшись термином Ю.С. Степано-

ва, который предложил заменить объектно ориентированный термин «прагматика» на субъектный — «дектика» (от греч. δέχομαι «принимаю»), имея в виду «восприимчивость» любых прагматических условий при вовлечении в структуру высказывания²³³. Только в составе дектической (а не вербальной) синтагмы высказывание или данный его элемент приобретает смысл.

С этой точки зрения синтаксис реальных словесных структур не существует до назначения параметров действия в сознании говорящего. Сама возможность предикации, как видно, состоит в свободном разумном выборе одной из свойственных ситуации потенций воспринять, вместить личное вербальное действие. С этой точки зрения вербальный компонент актуального речевого процесса есть предикат мыслимой коммуникативной ситуации: словесный текст (предложение) как личное действие содержится в мыслимом дискурсе как своем «субъекте» и определяется им; по мере того текст представляет собой функцию мысленной коммуникативной ситуации, в которой говорящий принял решение словесно действовать.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕЙСТВИИ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Именно здесь ощущается необходимость разрешить указанную оппозицию двух утверждений: «Мыслимое действие определяет свои минимальные единицы (в т. ч. значения слов)» vs «Минимальные единицы (в т. ч. значения слов) определяют мыслимое действие». Разрешение этой апории состоит в последовательной коммуникативной и когнитивной интерпретации, а именно, в признании того, что значение любого изолированного элемента

²³³ Степанов Ю. С. Язык и метод. М., 1998. С. 377—380.

(слова или любого другого, предметно определенного феномена) есть *представление о действии в реальной коммуникативной ситуации*. Значение предметного элемента становится, в таком случае, полностью коммуникативным, выводимым из мыслимого процесса коммуникации, а не из слов в виде текста или предложения. Таким образом, коммуникативная (дискурсивная) модель описания языкового факта становится непротиворечивой: значение изолированного элемента становится феноменом полностью дискурсивно-синтаксическим, поскольку ассоциируется с представимым коммуникативным действием, т. е. мыслится интегрированным в коммуникативную ситуацию, переставая быть самостоятельным смыслообразующим элементом. Любое «лексическое значение», даже в изолированной позиции, оказывается неизбежно синтаксическим при дискурсивном понимании вербального факта.

Как видно, рассмотрение «языка» за границами предложения, т. е. в тексте, с опорой на главную данность предметной модели — слово как смыслоформальное единство — в конце концов приводит к необходимости упразднить слово как минимальную единицу, а также «язык» как систему слов: смыслообразование происходит не благодаря словам и системе слов, а благодаря невербально мыслимым действиям, к которым сводится нетождественный вербальный материал и только после этого получает идентифицируемый смысл. Теоретизирование любого изолированного языкового явления возможно только в том случае, если сделать его конкретным и актуальным, поместив не в текст, а в невербальный дискурс, т.е. последовательно признать первенство осмысленного

коммуникативного процесса над его искусственно выделяемыми элементами. Ключевым понятием становится действие в коммуникативной ситуации и, соответственно, мыслимая типология этих действий, или типология деклических синтагм.

2.8. «Язык» в употреблении

ЕДИНСТВЕННАЯ ФОРМА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Употребление со всей очевидностью является единственной формой существования лингвистического материала. На основании естественного узуса или его избранного сегмента составляются словари, пишутся грамматики и выводятся правила «языка». Названные филологические практики, среди прочих, представляют собой *способ обобщения и структурирования* естественного материала. Способ, по-видимому, не должен затмевать или заменять сам материал, как это случилось в упомянутой полемике о сущности «прямого» («именительного») падежа стоиков и перипатетиков, которые — и те, и другие — как будто перестали отдавать себе отчет в том, что падеж — грамматическая абстракция, выводимая из естественного материала, глубоко вторичная по отношению к нему, напрямую не связанная с ним, а содержащаяся в более или менее адекватной теоретической схеме его описания (см. п. 1.3). Другими словами, коммуникативное взаимодействие с использованием слов первично по отношению к способам его теоретического представления. Эти способы обоснованы постольку, поскольку позволяют непротиворечиво отражать реальность речевого и мыслительного

процессов. В конечном счете, при описании лингвистического материала речь идет о выборе такой теоретической абстракции (таких абстракций), к которой (к которым) должен быть редуцирован узус, с учетом и без нарушений его аутентичных свойств.

НЕУДОБСТВО УЗУСА

Рассмотрение естественного коммуникативного процесса в модели «знак—значение» неизбежно сводится к признанию единого инструмента, который известен всем говорящим. Искомой абстракцией оказывается «язык». Узус, таким образом, редуцируется к некоей системе, которая не присутствует в материале, но которая необходима как удобный искусственный объект, позволяющий исследователю снять все противоречия и чувствовать себя вполне комфортно при описании словесной структуры.

Действительно, если признать, что понимание осуществляется благодаря словам, которые имеют свои значения и комбинаторные валентности, то они должны составлять единую самоорганизующуюся систему; соответственно, «язык» сам собой оказывается автономной системой слов. Остается констатировать или заново открыть внутренние и внешние связи ее предметных элементов. При таком подходе сам узус — вечно изменчивый и творческий — становится главным препятствием, откровенно мешающим исследователю воссоздавать единообразный «язык».

Эта «неуместность» узуса в лингвистических исследованиях наблюдается как в античной полемике аналогистов и аномалистов, так и в программном сосюрловском отделении «языка» от речевой деятельности и в признании последнего единственным объектом, достойным строгой

лингвистики. В результате приложения предметной модели «знак—значение» возникает картина вопиющей несправедливости: реально существующий материал — причина всех филологических рассуждений и исследований, словарей и грамматик, учебников и справочников — оказывается непризнанным, не допущенным на церемонию чествования, а его законное место занимает фантом-самозванец, возникший из теоретической ошибки.

Устная речь вне «языка»

Причина отделения «языка» от узуса и ущемления прав последнего заключается в том, что узус, как и остальные лингвистические объекты, понимается исключительно предметно, т.е. восстанавливается по словам: если понимание и смысл заключены в словах, то нарушение их строгой правильности при производстве и понимании речи следует полагать недопустимым в рамках словоориентированной теории. Стоит только записать спонтанную речь от слова до слова, как обнаружится множество свидетельств ущербности строгого инструмента понимания — от «неправильных» звуков до «неправильных» слов и конструкций. Устный узус в виде произносимых слов не соответствует статусу строгого лингвистического объекта.

Письменная речь вне «языка»

В этой ситуации гораздо более похожей на подлинное свидетельство «языка»-инструмента становится *письменная* речь, к анализу которой зачастую и сводятся лингвистические исследования. Но и письменная речь всегда не лишена «недочетов» и «ошибок», а кроме того, в столь же сильной степени зависит от ситуативного и личного, принадлежащего автору и интерпретатору. Этот факт, не

позволяющий констатировать языковое единообразие и в письменной речи, снова должен быть объяснен и оправдан, поэтому он снова списывается на узус: так, например, авторский стиль, согласно традиционным представлениям, состоит в *индивидуальном использовании* имеющихся в «языке» потенций. В результате получаем, с одной стороны, только узус в реальном речевом процессе и, с другой, необходимость полностью избавиться от него при теоретизировании.

Как видно, такая противоречивая картина возникает при наделении слов невозможными для них свойствами в рамках предметного восприятия речевого факта, т. е. при применении модели «знак—значение»: исследователю необходимо найти *единый словесный механизм*, но в том, что он видит перед собой, *единства нет*, соответственно, необходимо найти выход из теоретической апории. Тогда на сцену выступает абстракция «язык», якобы, лишенная индивидуальности, которая затем замыкает порочный логический круг и причудливым образом становится «особым (в т. ч. индивидуальным) языком» — «языком Маяковского», «языком Шекспира», «языком Андрея Белого», «языком молодежи», «языком рекламы» и пр., что фактически означает, что никакого единого словесного механизма нет, а сама модель «знак—значение» и само понятие «язык» не эффективны и в целом непригодны для моделирования естественного вербального процесса.

НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА («НЕ-ЯЗЫК»)

Оставив в стороне призрачный «язык», только в узусе можно созерцать подлинную форму речевого процесса, или подлинные условия естественного говорения, и они дале-

ки от того, чтобы быть только вербальными. Элементами той картины, которую со всей очевидностью предоставляет исследователю узус (а не простейшая искусственная схема «слово—значение»), являются: 1) говорящий (пишущий), 2) осознанная им ситуация совершения вербального (воз)действия, в которую входят мыслимые адресат, мыслимые обстоятельства совершения действия, мыслимые (назначенные говорящим) актуальные объекты, явления и их связи, мыслимые цели вербального действия в данной ситуации; затем, 3) известные говорящему вербальные модели, 4) возможные интерпретанты, не входившие в число адресатов, мыслимых говорящим. Без этих элементов не обходится никакой письменный или устный речевой процесс. Другими словами, любое реальное использование слов *актуально, коммуникативно, ситуативно* и *лично осознанно (когнитивно)*, чего не может теоретически вместить модель «знак—значение», поскольку эти характеристики полагаются за пределами вербальной формы. Так, звуковой комплекс [ja] не значит ничего до тех пор, пока не установлены внеязыковые параметры данного языкового действия (то же — в случае любого слова). Они устанавливаются говорящим в результате личного невербального сознательного процесса, после чего является само языковое действие (в состав которого может войти, к примеру, [ja]). К установленным параметрам (т. е. к обретению невербально мыслимого тождества) стремится затем прямой адресат или косвенный адресат (интерпретант), понимая все то, что было кем-то актуально сказано (написано).

Иначе говоря, в реальном речевом процессе реальный коммуникант не только *не думает словами*, но и не говорит

только словами. Сами слова до помещения в актуально мыслимую систему координат можно теоретизировать как физические или физиологические объекты, но говорить об их значениях, как и вообще о каких-то самостоятельных вербальных объектах в сфере смысла, в принципе невозможно — как в только что приведенном случае с [ja]. Таким образом, узус, где присутствуют не только слова, несет в себе полноту признаков естественного лингвистического факта, чего нельзя сказать о «языке». Другими словами, поиск абстракции, к которой редуцируется естественный материал, возможен только в области узуса, при этом процедура сведения узуса к «языку» очевидно ошибочна.

Узус и язык в языкознании нового времени

Противостояние узуса и «языка» образует драматическую коллизию, на которой выстраивается эволюция языковой теории XX века. Очевидно, что узус постоянно нарушает границы теоретических схем, в которые его необходимо ввести для придания словесному материалу вида целостного инструмента, и тем самым все время обязывает исследователя не довольствоваться очередной схемой. «Непричесанность» узуса стала особенно явной после того, как в конце XIX в. в сферу лингвистических исследований был вовлечен материал новых, в т. ч. устных и современных письменных, текстов. Тогда предметно ориентированная теория «языка» оказалась перед фактом своей полной несостоятельности и для самоспасения устами Соссюра заявила о том, что узус ее не устраивает. Это определило собой уход от реальности речевого и мыслительного процессов.

Как уже было замечено, в этой ситуации шаг в противоположном направлении, т. е. в сторону реальности,

делает Л. Витгенштейн. Его «язык в употреблении», «слово в употреблении» обнаруживает открывающееся видение речемыслительной реальности сквозь мутное стекло описательной схемы и, в целом, — интуицию иных механизмов, лежащих в основании естественного коммуникативного процесса. Впрочем, как уже было замечено, идею единства коммуникативного инструмента, его целостности и всеобщности Витгенштейн сохраняет во всех рассматриваемых теоретических эпизодах.

Его последователи, принадлежащие к школе «обыденного языка», уже более не могли теоретически игнорировать узус, как это некогда сделал Соссюр. Но они также не могли отрицать теорию «языка». В результате учение о речевых актах явно или косвенно признает и то, и другое. Сводящей их воедино формулой становится «функционирование языка в естественных условиях коммуникации». Получается, что, с одной стороны, теория естественного языка удаляется от словесной предметности: так, в высказанных просьбе или вопросе трудно найти определенные языковые черты, которые с точностью идентифицировали бы их как просьбу или вопрос, зато всегда можно указать *содержание действия* коммуниканта в конкретных условиях и признать данное высказывание одной из разновидностей совершаемых словесных действий, т.е. вопросом или просьбой. С другой стороны, единая система слов в теории остается нерушимой, по-видимому, вследствие мнимой общепонятности слов, единства их предметного облика, мнимой устойчивости связей слов между собой и в целом — благодаря традиционной инструментальной метафоре.

Как уже было замечено, в рассуждениях Витгенштейна речевой факт разлагается на «язык» и сопутствующее этому действие. Единообразная предметная и когнитив-

ная часть речевого процесса признается общим достоянием всех говорящих, что нивелирует роль данного коммуниканта и превращает речевой процесс во всеобщее следование правилам. Словесный материал, таким образом, не связывается с личным действием теоретически определенно и последовательно, скорее, речь идет о *приближении* к адекватному пониманию словесного материала.

Дж. Остин: ЗАЩИТА ЛОГИКИ

ПЕРФОРМАТИВЫ: ОТСУТСТВИЕ ЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

Следующим шагом по теоретическому освоению узуса, или естественного вербального материала, следует, по-видимому, считать идею перформативных («исполнительных», «совершительных») высказываний, сформулированную Дж. Остином²³⁴. Рассуждая как логик, Остин обратил внимание на значительную часть вербального материала, в котором не присутствует суждений, составлявших единственное твердое основание логики как специальной науки:

«Среди философов слишком долго было укоренено убеждение, что «утверждение» может только «описывать» положение вещей или «утверждать нечто о каком-либо факте», который при этом должен быть либо истинным, либо ложным. Лингвисты, разумеется, регулярно указывали на то, что не все «предложения» (в их реальном употреблении) являются утверждениями: так, традиционно помимо утвер-

²³⁴ *Austin J.L.* How to do things with words. Cambridge, 1962. Русский перевод: *Остин Дж.* Избранное / Перевод с англ. В.П. Руднева. М., 1999. С. 15—138.

ждений сами лингвисты выделяют вопросы и восклицания, предложения, выражающие команды или желания, уступительные значения...

Общими усилиями мы [философы и лингвисты. — А. В.] пришли к тому, что многие употребления, которые выглядят похожими на утверждения либо в целом, либо отчасти, не предназначены для сообщения некой новой информации о фактах: например, «этические пропозиции» полностью или частично призваны вызывать некие эмоции, или предписывать указания, или влиять на них определенным образом»²³⁵.

ПЕРФОРМАТИВЫ: СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

Так называемые перформативы, о которых говорит Остин, «ничего не «описывают» и ни о чем не «сообщают», ничего не констатируют, не являются «истинными или ложными»; употребление этих предложений является частью поступков или действий, которые в обычных случаях не описываются как говорение о чем-либо».

«Употреблять [такие] предложения (при определенных обстоятельствах, разумеется) не значит *описывать* мое действие в акте употребления того, что я говорю, или утверждать, что я что-то делаю: скорее, это значит производить само действие... Это не нуждается в доказательстве подобно тому, как выражение «Да пошел ты!» не является ни истинным, ни ложным»²³⁶.

Замеченный факт существования перформативных высказываний небезосновательно поднимается Остином на огромную высоту:

«Эта тема развивает одно из направлений — среди

²³⁵ Остин Дж. Указ. соч. С. 16.

²³⁶ Там же. С. 16-19.

многих других — в современном движении философии, цель которого — оспорить сложившееся веками убеждение, в соответствии с которым сказать что-либо, по крайней мере, во всех рассматриваемых случаях, означает всегда и *попросту утверждать* что-либо. Это убеждение, будучи, несомненно, неосознанным, несомненно, ложным, представлялось философам вполне естественным»²³⁷.

ПЕРФОРМАТИВЫ: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ

Кроме того, как кажется, огромное значение имеет установление прямой связи между словесным действием и условиями его совершения, в число которых попадают не только слова:

«Употребление слов действительно есть обычное или даже *главное* событие в осуществлении определенного типа действия (спора или чего-то в том же духе), и это осуществление действия является целью употребления, но обычно и даже, может быть, никогда нельзя осуществить какое-либо действие при помощи *одних* только слов. В целом всегда необходимо, чтобы *обстоятельства*, при которых употребляются слова, были бы *соответствующими*, и обычно является необходимым *также*, чтобы говорящий и другие участники речевого акта тоже совершали определенные другие действия, будь то «физические» или «ментальные» действия или даже действия произнесения каких-то других слов»²³⁸.

НЕДОСТАЮЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ

В совокупности идея перформативов и идея невербальных условий совершения словесных действий могли привести Остина к кардинальному изменению теории вербального

²³⁷ Остин Дж. Указ. соч. С. 16.

²³⁸ Там же. С. 20—21.

процесса. Для этого, по-видимому, ему оказались бы необходимыми недостающие теоретические звенья, которые отчасти уже содержатся имплицитно в высказанных им позициях, отчасти полагаются где-то рядом. Речь идет:

1) о признании, что *все* вербальные факты (а не только перформативы) представляют собой действия говорящих (пишущих), соответственно, об отмене классической логики суждений с их истинностью и ложностью;

2) о субъективности всех коммуникативных ситуаций, т. е. о *говорящем*, в *сознании* которого осуществляются процессы смыслообразования, и соответственно,

3) о свободном назначении параметров вербального действия в мыслимом коммуникативном пространстве;

4) о несамотождественности единиц языка вне тех мыслимых действий, в которых данные единицы используются;

5) об окончательном отделении мысли от вербальной формы.

ИЗЫСКАНИЕ ТОЧКИ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ ПЕРФОРМАТИВАМИ И КОНСТАТИВАМИ

Однако после констатации перформативов все последующие рассуждения Остина, содержащиеся в цикле джемсовских лекций, имеют характер уступок традиционной теории, или приспособления новооткрытых фактов к прежней схеме, описывающей вербальный процесс, — так, как будто изыскивается точка равновесия между несовместимыми теоретическими позициями: перформативы—констативы, локуция—иллокуция, успешность (неудача)—истинность (ложность), язык—употребление, локутивное значение—иллокутивная сила, вербальное действие—невербальное действие, всеобщее—личное.

Главный вопрос Остина

Огромная часть рассуждений Остина так или иначе сводится к вопросу о том, каковы отношения между перформативами и констативами (утверждениями). Без сомнения, это — главная тема, которая обсуждается в лекциях: являются ли перформативными *все* употребления естественного языка или же по ряду свойств *часть* высказываний, а именно *утверждения*, не вписываются в определение «совершительных» высказываний.

Сомнения и метания

В первой лекции, выдвигая главный тезис — существование перформативов, — Остин говорит о них как об *особом* сегменте лингвистического материала. В число перформативов явно не попадает *любой* материал естественного языка:

«Можно обнаружить в речи употребления, удовлетворяющие этим условиям [имеющие грамматические признаки утверждения. — А. В.], и в то же время:

А. они ничего не «описывают» и ни о чем не «сообщают», ничего не констатируют, не являются «истинными или ложными»; а также

В. употребление этих предложений является частью поступков или действий, которые в обычных случаях не описываются как говорение о чем-либо...

Как мы должны обозначить предложение или употребление подобного рода? Я предлагаю назвать его *перформативным предложением*, или перформативным употреблением, или для краткости просто «перформативом»²³⁹.

Во второй лекции обсуждаются факторы успешности или неудачи при совершении словесного действия опреде-

ленного типа, например, «Я соглашаюсь».

В третьей вводится понятие эксплицитного и имплицитного перформатива:

«Все перформативные употребления, которые я рассматривал в качестве примеров, представляют собой высокоразвитые образцы того типа, что мы позже назовем *эксплицитными* перформативами в противоположность чисто *имплицитным* перформативам. То есть они все начинаются или включают в себя высокозначимое и недвусмысленное выражение, такое, как «Спорим», «Я обещаю», «Я завещаю», выражение, весьма обычно также используемое в акте именования, который, если делается такое употребление, я совершаю — например, споря, обещаю, завещаю и т. д. Но, конечно, и, очевидно, важно, что мы можем по случаю употреблять «Иди», чтобы достичь практически того же самого, чего мы достигаем посредством употребления «Я приказываю тебе идти»: и мы с большой вероятностью говорили в любом случае, описывая последовательно, что происходило, что он приказал мне идти. Может быть, это кажется фактически не вполне определенным, что имеет место всегда, когда мы используем такую неопределенную формулу как чистый императив «Иди», приказывает ли мне говорящий идти (или подразумевает, что приказывает) или просто советует, просит или бог весть что еще»²⁴⁰.

Вслед за этим дана примечательная оговорка:

«Фраза «Бык на поле» сходным образом *может быть* и предостережением, а может быть просто описанием сцены, а «Я буду там» может быть, а может и не быть обещанием. Здесь мы имеем примитивный в отличие от эксплицитного перформатив; и здесь может не быть ничего в обстоятельствах, посредством которых

²³⁹ Остин Дж. Указ. соч. С. 19.

²⁴⁰ Там же. С. 39.

мы можем решить, является ли вообще это утверждение перформативным)»²⁴¹.

Иначе говоря, Остин явно отличает «просто описание сцены» от «предостережения», «просто утверждение» от «перформативного утверждения».

В четвертой лекции можно констатировать первые сомнения в том, что перформатив и утверждение ничем принципиально не отличаются:

«В качестве вывода мы можем констатировать следующее: для того, чтобы объяснить, что может быть неверного применительно к утверждениям, мы не можем просто иметь дело с пропозициями, включающимися в это утверждение (каким бы оно ни было), как это делалось традиционно. Мы должны рассмотреть ситуацию, в которой сделано употребление в целом — целостный речевой акт, — если мы хотим понять параллель между утверждениями и перформативными употреблениями и понять то, как и почему они могут не удаваться. Возможно, в действительности не существует такого уж большого различия между утверждениями и перформативными употреблениями»²⁴².

В пятой лекции пушице сомнения заставляют Остина искать критерии, по которым можно с точностью установить факт перформатива или утверждения:

«Мы должны теперь сделать новый шаг по направлению к пустыне сравнительной точности (*precision*). Мы должны спросить: существует ли точный способ, посредством которого мы могли бы окончательно разграничить перформативы и употребления? И, в частности, следовало бы прежде всего спросить, существует ли *грамматический* (лексикографический)

²⁴¹ Остин Дж. Указ. соч. С. 39.

²⁴² Там же. С. 53.

критерий для разграничения перформативного употребления.

До сих пор мы рассмотрели лишь небольшое число классических примеров перформативов, все с глаголами первого лица настоящего времени изъявительного наклонения активного залога»²⁴³.

Попутно Остин отмечает, что эти поиски словесных указателей мало эффективны:

«Все это заводит в тупик поиски *единственного простого* критерия перформативности в грамматике или в словаре. Но, может быть, возможно сформулировать комплексный критерий или как минимум множество критериев, простых или сложных, включающих и грамматику, и словарь?»²⁴⁴.

Здесь же, в пятой лекции, поиски точного лексического критерия приводят его к указанию на личность, ибо именно личность совершает действие:

«Мы сказали, что идея перформативного употребления состояла в том, что оно должно было быть осуществлением действия (или включаться в это осуществление на правах его части). Действия могут быть осуществлены только лицами, и очевидно, что в наших случаях говорящий и должен быть исполнителем: отсюда наше законное ощущение — мы ошибочно отливаем его в грамматические формы — предпочтительности «первого лица», которое и должно возникать, быть отмеченным или с которым мы должны соотноситься; более того, если говорящий производит действие, он должен делать нечто — отсюда наше, вероятно, неудачно выраженное предпочтение грамматического настоящего и грамматического активного залога. Существует нечто, что *делается говорящим в момент говорения*.

²⁴³ Остин Дж. Указ. соч. С. 56.

²⁴⁴ Там же. С. 59.

Там же, в словесной формулировке употребления, где *нет* соотнесенности с лицом, производящим это употребление и тем самым действие с помощью местоимения «Я» (или его личного имени), то тогда фактически оно будет «соотноситься» (referred to) с одним из следующих двух способов:

(а) В устных употреблениях *посредством того, что он есть лицо, которое осуществляет* это употребление — то, что мы можем назвать употреблением-источником, которое используется в целом в любой системе вербальных референтных координат.

(б) В письменных употреблениях (или «инскрипциях») *посредством проставления им своей подписи* (это должно быть сделано, ибо, конечно, письменные употребления не привязаны к своему источнику, как это имеет место в случае устных)²⁴⁵.

Такой способ на время удовлетворяет Остина:

«Такой способ расширения эксплицирует и тот факт, что употребление является перформативом, и то, что это за действие, которое совершается. До тех пор пока перформативное употребление не редуцировано к такой эксплицитной форме, остается регулярная возможность рассматривать его неперформативным способом: например, «Это ваше» может быть рассмотрено «Я дарю вам это» или «Это (уже) принадлежит вам». Фактически можно даже себе представить игру на перформативных и неперформативных употреблениях запрещающего объявления «Запрещается (Вас предупредили) (You have been warned)»²⁴⁶.

Однако шестая лекция начинается с отрицания достигнутых успехов в поисках точных критериев:

«Поскольку мы предположили, что перформатив не настолько разительно отличается от констатива — пер-

²⁴⁵ Остин Дж. Указ. соч. С. 60.

²⁴⁶ Там же. С. 61.

вый успешен или неуспешен, второй истинен или ложен, — мы начали рассматривать проблему, как определить перформатив более точно. Первыми были предложены критерий грамматики, критерий словаря или и того, и другого вместе. Мы отметили, что определенно не существует ни одного абсолютного критерия подобного рода и что, весьма вероятно, вообще невозможно задать даже список возможных критериев; более того, они определенно не разграничивали бы перформативы и констативы, которые являются зачастую *одним и тем же* предложением, используемым в различных случаях как употребления обоих видов — и перформативов, и констативов. Дело казалось безнадежным, если бы мы продолжали подыскивать критерии к употреблением *в том виде*, как они есть»²⁴⁷.

Далее для различения констативов и перформативов Остин предлагает составить список перформативных глаголов, а также всякий раз осуществлять процедуру редукции спорного случая к эксплицитному перформативу, имеющему форму, например, «Я отказываюсь», однако, и список, и редукция не кажутся ему твердым критерием, и это, в свою очередь, ведет к рассуждению о сущности эксплицитных перформативов:

«Давайте тогда более подробно остановимся на самом выражении «эксплицитный перформатив», который мы ввели, скорее, явочным порядком. Я противопоставлю его «первичному перформативу» (скорее, так, нежели неэксплицитному, или имплицитному, перформативу). В качестве примера напишем следующее:

(1) первичный перформатив: «Я там буду»,

(2) эксплицитный перформатив: «Обещаю, что буду там»,

²⁴⁷ Остин Дж. Указ. соч. С. 64.

и мы сказали, что последняя формула делает его эксплицитным — но что это за действие, которое совершается при помощи употребления, то есть «Я там буду»? Если кто-то говорит: «Я там буду», мы можем спросить: «Это что — обещание?» Мы можем получить ответ: «Да» или «Да, я обещаю это», в то время как ответ может быть и иным: «Нет, но я собираюсь быть там» (выражающий или объявляющий о намерении) или же «Нет, но я могу предвидеть, зная свою слабость, что я (возможно) там буду»²⁴⁸.

Как видно, фраза «Я там буду», по мнению Остина, может быть или не быть перформативом. Но выражение «Я обещаю, что там буду» — несомненный, с его точки зрения, перформатив. Отметим, что снова деление лингвистического материала на утвердительные и совершительные высказывания очевидно, но критериев их различения по-прежнему нет.

Поиски и сомнения целиком составляют содержание и седьмой лекции, в финале которой Остин снова разводит руками:

«Теперь давайте посмотрим, на каком мы сейчас свете: начав с предполагаемого контраста между перформативным и констативным употреблениями, мы обнаружили отчетливые указания на то, что неуспешности, тем не менее, кажутся характерными для обоих типов употреблений, а не только для перформативов и что требования соответствия или подтверждения фактами, различные в различных случаях, кажутся характеризующими перформативы вдобавок к требованию, что они должны быть успешными, точно так же как это характерно для констативов.

И вот мы не смогли найти грамматического критерия для перформативов, но подумали, что, вероятно, мы можем полагать, что каждый перформатив мог бы

²⁴⁸ Остин Дж. Указ. соч. С. 66.

в принципе взять форму эксплицитного перформатива, и затем мы могли бы составить список перформативных глаголов. Еще мы обнаружили, тем не менее, что часто нелегко быть уверенным в том, даже когда мы имеем подходящую эксплицитную форму, является ли употребление перформативным или нет; и достаточно типично некоторым образом, что мы еще имеем употребления, начинающиеся с “Я утверждаю, что...””, которые, кажется, удовлетворяют требованиям перформативности, но все же, безусловно, являются утверждениями и, безусловно, существенным образом являются поэтому истинными или ложными»²⁴⁹.

Как видно, поиски критериев перформативности и констативности снова ни к чему определенному не привели. Ввиду этого Остин решает обратиться к рассуждению о том, что такое само действие, которое содержится в перформативе:

«Настало время сделать “свежий старт” в решении проблемы. Мы хотим пересмотреть в целом смыслы, в которых сказать что-то значит сделать что-то или, говоря что-то, мы делаем что-то (а также, возможно, рассмотреть другой случай, в котором *посредством* говорения чего-либо мы делаем нечто). Возможно, некоторое прояснение может помочь нам выбраться из этой путаницы. Ибо в конце концов “делать что-то” — это очень неясное выражение»²⁵⁰.

Это приводит к выделению различных типов действия, которые как будто должны помочь ответить на кардинальный вопрос — чем все-таки констативы отличаются от перформативов: фонетическое, фатическое и ретическое действия. В восьмой лекции они характеризуются кратко:

²⁴⁹ Остин Дж. Указ. соч. С. 82.

²⁵⁰ Там же. С. 82.

«Фонетическое действие есть просто действие по употреблению определенных звуков. Фатическое действие есть употребление определенных вокабул, или слов, то есть звуков определенного рода, принадлежащих (и в качестве принадлежащих) определенному словарю и соотносящихся (и в качестве соотносящихся) с определенной грамматикой. Ретическое действие это совершение действия использования таких вокабул с определенными или более или менее определенными смыслом и референцией»²⁵¹.

Но затем снова наступает разочарование:

«Но хотя все это чрезвычайно интересно, все это вовсе не проливает никакого света на нашу проблему констативов в их противоположности перформативному употреблению»²⁵².

Здесь Остин неожиданно переходит к исследованию локуции, иллокуции и перлокуции, так и не дав ответа на вопрос, столь долго его занимавший. В результате кажется, что предложенное поуровневое рассмотрение вербального материала распространяется на *любые* высказывания. Другими словами, у любого высказывания как будто есть локутивное значение, иллокутивная сила и перлокутивный эффект. Так, в десятой лекции находим:

«Забыв на время о начальном разграничении между перформативами и констативами, а также о программе определения списка эксплицитных перформативных слов, преимущественно глаголов, мы сделали свежий старт посредством рассмотрения смыслов, в которых сказать что-либо значит сделать что-либо. Так, мы разграничили локутивное действие (и внутри него фонетический, фатический и ретический акты), которое обладает *значением*; иллокутивное действие, которое обладает определенной *силой* при

²⁵¹ Остин Дж. Указ. соч. С. 85.

²⁵² Там же. С. 87.

произнесении чего-либо; перлокутивное действие, которое *достигает* определенного *результата* посредством произнесения каких-то слов»²⁵³.

Значит ли это, что *любые* высказывания (а все они имеют какую-то иллокутивную силу) являются действиями?

Продолжая искать отличия, в одиннадцатой лекции Остин, казалось бы, достигает определенности:

«Являются ли эти противопоставления [перформативов и констативов. — *А. В.*] в действительности разумными? Наше последующее обсуждение того, что делается и что говорится, кажется, определенно наметило вывод, в соответствии с которым, когда бы я ни «сказал» что-либо (за исключением, возможно, чистого восклицания типа «черт» или «ох»), я всегда осуществляю как локутивное, так и иллокутивное действия, и эти два типа действия кажутся теми самыми вещами, которые мы пытались использовать как средства разграничения (под именами «делания» и «говорения») перформативов от констативов. Если мы в целом всегда осуществляем обе эти вещи, как может выжить наша дистинкция?»²⁵⁴.

Но в итоге дистинкция, поставленная под сомнение, «выживает»:

«Тем не менее, глядя на дело с точки зрения перформативов, мы можем все же чувствовать, что они теряют нечто, чем располагают утверждения, даже если, как мы показали, обратное неверно. Перформативы, конечно, по ходу дела высказывают что-то, а не только осуществляют действия, но мы можем чувствовать, что они, по существу, не являются истинными или ложными, как утверждения. Мы можем чувствовать, что здесь существует измерение, в котором мы судим, определяем значимость, даем оценку констативного употребления (понимая в качестве исходной предпосылки, что оно является успешным), чего не

²⁵³ Остин Дж. Указ. соч. С. 102.

²⁵⁴ Там же. С. 112.

возникает в связи с неконстативными или перформативными употреблениями»²⁵⁵.

В финале одиннадцатой лекции Остин выносит окончательный приговор своим сомнениям:

«Что же тогда в конце концов остается от разграничения между перформативными и констативными утверждениями? На самом деле мы можем сказать, что у нас на уме по этому поводу следующее:

(а) в случае констативного употребления мы абстрагируемся от иллокутивного аспекта речи (оставим пока в покое перлокутивный) и сконцентрируемся на локутивном; более того, мы используем упрощенное понятие соответствия фактам — упрощенное потому, что, по существу, оно подключает иллокутивный аспект. В идеале мы стремимся к тому, что было бы правильным сказать при всех обстоятельствах, для любой цели, любому слушателю и т. д. Возможно, иногда это реализуется;

(б) в случае перформативного употребления мы уделяем столько внимания, сколько можем, иллокутивной силе высказывания в противоположность измерению соответствия фактам»²⁵⁶.

Двенадцатая лекция, в свою очередь, также содержит определенное указание на долгое Остину разделение:

«Как же выглядит разграничение «констативов» — «перформативов» в свете позднейшей теории? В целом для всех употреблений, которые мы рассмотрели (кроме, возможно, ругани), мы обнаружили:

(1) измерение успешности/неуспешности, (1а) иллокутивную силу,

(2) измерение истинности/ложности,

(2а) локутивное значение (смысл и референцию).

²⁵⁵ Остин Дж. Указ. соч. С. 117.

²⁵⁶ Там же. С. 121.

Доктрина различия перформативов/констативов относится к доктрине локутивных и иллокутивных действий в тотальном речевом действии так же, как *специальная теория к общей теории*²⁵⁷.

Итак, Остин говорит об отличии перформативов и констативов вполне определенно. Следовательно, не все речевые употребления представляют собой совершительные высказывания, т. е. не все речевые употребления, согласно ему, представляют собой действия.

Однако нужно заметить, что эта определенность погружена, как уже было показано, в многочисленные сомнения и оговорки, прямо отрицающие принципиальное различие перформативов и констативов:

«Мы однажды осознали, что то, что мы склонны изучать, это не предложение, но использование употребления в речевой ситуации, и мы не можем не понимать с этой поры, что утверждение — это совершение действия» (*Лекция*)²⁵⁸.

«Истинность или ложность утверждения зависит не только от значений слов, но и от того, какое действие вы совершили и при каких обстоятельствах»²⁵⁹.

«Но действительный вывод, безусловно, должен заключаться в том, что мы нуждаемся: (а) в разграничении локутивных и иллокутивных действий и (б) в установлении для каждого типа иллокутивного действия — предостережения, оценки, вынесения приговора, утверждения и описания»²⁶⁰.

«В целом локутивное действие в той же мере, что и иллокутивное, является лишь абстракцией: каждое речевое действие является и тем, и другим»²⁶¹.

²⁵⁷ Остин Дж. Указ. соч. С. 123.

²⁵⁸ Там же. С. 116.

²⁵⁹ Там же. С. 121.

²⁶⁰ Там же. С. 122.

В особенности противоречит всему сказанному об отличиях следующее высказывание:

«Если что и не переживет перехода или останется на правах маргинального ограниченного класса, что и не вызывает удивления, поскольку оно создавало проблемы в самом начале, так это понятие чистоты перформатива: оно в основном базировалось на вере в противопоставление перформативов и констативов, которое, как мы видели, должно быть заменено в интересах более общих *семей* связанных между собой или пересекающихся речевых действий»²⁶².

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА

Результатом этих сомнений и двусмысленностей (наряду со вполне определенными высказываниями) стала недостаточная ясность позиции Остина для позднейших исследователей: составляют ли перформативы *часть* высказываний естественного языка или следует наделять свойствами перформативов *любой* актуальный лингвистический материал? Другими словами, вопрос, столь занимавший Остина, остался, в конце концов, нерешенным. Однако почему же он был столь важным и увлекательным для него?

ПРИЧИНА НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ: СЛОВОМ НЕ ВЫРАЖАЕТСЯ МЫСЛЬ?

По-видимому, снова можно говорить о конфликте между традиционной теоретической схемой и наблюдаемой реальностью речевого и мыслительного процессов. Остин коснулся существа этого конфликта. С одной стороны,

²⁶¹ Остин Дж. Указ. соч. С. 121.

²⁶² Там же. С. 124.

теоретические основания его взглядов образует спроецированная на лингвистический материал логика, т.е. наука о суждениях. Последние вольно или невольно признаются речемыслительными единствами в рамках классической схемы — по крайней мере, ключевую позицию логической теории, а именно, что *мысль выражается словом* и что *в любом слове содержится мысль*, до Остина всерьез не отрицал никто. Поскольку мысль и есть суждение (утверждение/отрицание), то в доостиновском словесном материале имеющимся логическим инструментарием ничего, кроме суждений, различить было невозможно (по существу, именно об этом Остин говорит во введении, обозначая место перформативов в логической теории). С другой стороны, наблюдаемая реальность заставляет его констатировать, что существуют вполне бесспорные случаи употребления языка, в которых найти суждения невозможно, и в которых содержится только действие (Остин говорит, что данное положение настолько очевидно, что ему даже не нужно это доказывать, хотя, правда, зачастую такие высказывания грамматически обряжаются в «маскарадные костюмы суждений»). Получается, что *существуют употребления, в которых не содержится мысли — главного объекта логики*. Соответственно, для каких-то сегментов «языка» не верна формула: «Языком выражаются мысли». Не вдаваясь в прочие последствия такой констатации, можно сразу ощутить инородность перформатива в корпусе логики и логической грамматики. Возможно ли на этом фоне признать, что *все высказывания естественного языка являются действиями* и, соответственно, *все они не выражают мысли*?

ВСЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛОГИКИ?

Другими словами, идея перформативов, как замечает Остин, выводит из сферы влияния логики значительное число высказываний естественного языка. При этом логическое учение о суждениях не справляется с вербальным действием как теоретическим объектом: так, например, для действия невозможно определить подлежащее и сказуемое (или субъект и предикат, или члены пропозиции). Стоит только представить, что *все высказывания* могут стать действиями, как почувствуется подлинная причина внутренних сомнений Остина в разрешении поставленного вопроса — тождественны или различны перформативы и констативы: в случае тождества *весь* материал естественного языка выводится из сферы влияния логики и логической грамматики.

Таким образом, конфликт схемы и реальности имел вполне определенные очертания: он провоцировал исследователя либо совершить радикальные теоретические шаги, либо — что и выбирает Остин — оставаться в растерянности.

МЫСЛЬ И ВЕРБАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НЕ ИДЕНТИЧНЫ: МЫСЛЬ — ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ, СЛОВО — ДЕЙСТВИЕ

Чтобы разрешить конфликт между реальностью и описательной схемой, в который Остин оказался вовлеченным, необходимо, по-видимому, признать, что *все высказывания представляют собой действия говорящих*. Возникающее при этом логичное следствие, а именно то, что «во *всех* высказываниях не присутствует суждений, а значит, и мысли», — нужно отбросить ввиду того, что *мысль и вербальный материал («суждение») не идентичны друг другу даже в случаях утверждений или отрицаний*: мысль, не имея

вербальной формы, «локализуется» на стадии планирования словесных и несловесных действий; соответственно, признание перформативности любого вербального материала не отрицает его связи с мыслью и сознанием. Иными словами, мысль говорящего *отражается косвенно* в том, что он делает (в т. ч. когда он говорит), но *не идентична* тому, что он делает и говорит. Такая констатация отнюдь не означает примирения с классической логикой, которая, ввиду принципиальных отличий вербального суждения от невербальной мысли, теряет лингвистическую почву под ногами и требует новой, внелингвистической, теории. Труд по созданию такой теории, вероятно, казался Остину слишком громоздким.

АРИСТОТЕЛЬ: ИЗГНАНИЕ ПЕРФОРМАТИВОВ ИЗ ГРАММАТИКИ

Его реальную задачу, по-видимому, можно рассматривать как параллельную той, которую некогда исполнил Аристотель, но с противоположным направлением теоретического вектора. Как уже отмечалось, основополагающей позицией Стагирита было признание единства вербального суждения и мысли. Для него словесная конструкция, в которой присутствует утверждение (отрицание), фактически была идентична логической конструкции. Грамматика, или логическая грамматика, должна заниматься, по его мнению, только мыслями-суждениями. Логический аппарат, созданный Аристотелем, был предназначен только для исследования суждений и затем достраивался и развивался только на этом материале (а к материалу, содержащему не-суждения, несколько неуклюже приспособлялся).

Вместе с тем сам автор «Аналитик» со всей очевидностью сознавал, что в вербальном материале присутствуют

далеко не только суждения (см. п. 1.3). Однако, видя невозможность анализировать не-суждения логическим инструментарием, но не имея иного, Аристотель предусмотрительно изъясил не-суждения из сферы грамматики:

«Не всякое предложение есть суждение, а лишь то, в котором заключается истинность или ложность чего-либо; так, например, пожелание есть предложение, но не истинное или ложное. Остальные виды предложений здесь выпущены, ибо исследование их более приличествует риторике или поэтике, только суждение относится к настоящему рассмотрению» (*Об истолковании*, 4.5)²⁶³.

В результате императивы, восклицания, вопросы и пр. не попали в область активного внимания (логической) грамматики, но были отнесены к компетенции другой науки — риторики или поэтики. Ввиду этого вся последующая традиция европейского языкознания всегда испытывала неудобство (доходящее до полной неспособности) в истолковании высказываний типа императивов или вопросительных предложений, которые должны были интерпретироваться в терминах классической логики.

Таким образом, при создании логико-грамматической теории Аристотель пребывал в уверенности, что мысль тождественна вербальному суждению и что среди вербального материала встречаются не-суждения, которые необходимо игнорировать при создании грамматической теории.

Остин: ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕРФОРМАТИВОВ В НАУКУ О «ЯЗЫКЕ»

Ко времени Остина европейская грамматика значительно удалилась от своих истоков, что нашло выражение в том,

²⁶³ По изданию: *Аристотель. Сочинения*: в 4-х т. Т. 2. М., 1978. С. 96.

что ее компетенция стремилась распространиться уже на *все* вербальные факты. Аристотелевская осторожность в применении логического инструментария была забыта, но кардинально новых инструментов изобретено не было: по-прежнему действовали принципы «знак—значение», отсутствие говорящего, «язык выражает мысли», «слова организованы в систему», «слово имеет значение», «высказывание есть сумма значений слов» и пр. Другими словами, грамматика суждений, оставшись прежней по методу, включила в свой состав то, что Аристотель из нее исключил. Это привело к теоретической двусмысленности и неадекватности, описанной Остином во введении к своим лекциям:

«Среди философов слишком долго было укоренено убеждение, что “утверждение” может только “описывать” положение вещей или “утверждать нечто о каком-либо факте”, который при этом должен быть либо истинным, либо ложным. Лингвисты, разумеется, регулярно указывали на то, что не все “предложения” (в их реальном употреблении) являются утверждениями: так, традиционно помимо утверждений сами лингвисты выделяют вопросы и восклицания, предложения, выражающие команды или желания, уступительные значения. И философы, несомненно, не собирались отрицать существование таких особых предложений, если, конечно, не принимать в расчет в некотором смысле слишком свободное употребление термина “предложение” в значении “утверждение”. Несомненно также и то, что как лингвисты, так и философы очень хорошо отдавали себе отчет в том, насколько трудно отграничить, скажем, те же вопросы, команды и так далее от утверждений при помощи тех тощих средств, которые предоставляет грамматика, таких, например, как порядок слов, модальность (mood), и тому подобных: хотя, возможно, было просто не принято обращать внимание на те трудности, которые

благодаря этому факту возникают. Ибо как нам решить, что к чему относится? Каковы пределы и дефиниции каждого из подобных случаев?»²⁶⁴.

Таким образом, задачей Остина, параллельной, но противоположной по вектору аристотелевской, было: вернуть материал не-суждений, исключенный Аристотелем, в теоретическое поле науки, внутренне «оборудованной» только для работы с суждениями, но претендующей на то, чтобы охватить все факты языка. Ясно при этом, что для успеха необходимо было изменить логический инструментарий теоретической грамматики, или модель описания вербального материала (в частности, признать, что мысль и вербальное действие далеки друг от друга). Этого Остин не успел, не пожелал или не смог предпринять. Его двусмысленность и, в конце концов, теоретическая неудача вызваны несоответствием оснований («несомненных подлежащих теоретической схемы») замеченным им свойствам самого материала. Другими словами, предъявленные перформативы становились «вещественным доказательством» неправоты логической грамматики, но ни логику, ни грамматику Остин не имел желания компрометировать.

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ: ЛОГИКА СУЖДЕНИЙ VS ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ ЛЮБЫХ ЯЗЫКОВЫХ ФАКТОВ

Итак, Остин не смог однозначно признать, что все высказывания представляют собой действия. Но одновременно не смог также не признать, что отдельный сегмент вербального материала («перформативы») содержит действия (в отличие, якобы, от суждений). Эта противоречивость выразилась в том, что Остин был вынужден спасти классическую логику с ее суждениями, и по мере того —

²⁶⁴ *Остин Дж.* Указ. соч. С. 16.

остановиться на полпути в интерпретации перформативности языковых фактов.

ПОПЫТКИ СПАСЕНИЯ ЛОГИКИ: ДВА АРГУМЕНТА

Остиновское оправдание логики, т. е. отстаивание вне-перформативных суждений, основано по преимуществу на двух аргументах: во-первых, суждения верифицируются как истинные и ложные, и, во-вторых, суждения занимают особое место в сформулированной Остином схеме «локуция—иллокуция—перлокуция»:

«Как же выглядит разграничение “констативов” — “перформативов” в свете позднейшей теории? В целом для всех употреблений, которые мы рассмотрели... мы обнаружили:

(1) измерение успешности/неуспешности, (1a) иллокутивную силу, (2) измерение истинности/ложности, (2a) локутивное значение (смысл и референцию)...

Доктрина различия перформативов/констативов относится к доктрине локутивных и иллокутивных действий в тотальном речевом действии так же, как *специальная теория к общей теории*»²⁶⁵.

ПЕРВЫЙ АРГУМЕНТ: СООТВЕТСТВИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Первый аргумент («верифицируемость») выглядит в интерпретации Остина вполне классически. Речь идет о соответствии высказывания некоему положению дел. В конце концов, как и для Аристотеля, для него «началом умозаключений является существо вещи»²⁶⁶, т. е. все сводится к объективным вещам, их свойствам и отношениям:

²⁶⁵ Остин Дж. Указ. соч. С. 123.

²⁶⁶ По изданию: *Аристотель*. Сочинения: в 4-х т. Т. 2. М., 1978. С. 97.

если высказывание соответствует сущностям или акциденциям вещей или явлений, то оно истинно, если нет — ложно. В начале курса своих лекций Остин вполне красноречиво освещает эту тему, когда говорит о псевдоутверждениях:

«В последние годы многие вещи, которые ранее безоговорочно принимались философами и лингвистами в качестве «утверждений», были рассмотрены с новой тщательностью. Подобное рассмотрение началось достаточно косвенным путем, по крайней мере, в философии. Поначалу появилась точка зрения — которая, впрочем, не всегда формулировалась без излишнего догматизма, — в соответствии с которой утверждение (факта) должно быть «верифицируемым», и это привело к тому взгляду, в соответствии с которым многие «утверждения» суть лишь то, что может быть названо псевдоутверждениями. Прежде всего и с наибольшей очевидностью оказалось, что многие «утверждения» — вероятно, впервые это было систематически сформулировано Кантом — представляют собой совершенную бессмыслицу, несмотря на их безупречную грамматическую форму; и дальнейшее открытие свежих типов бессмыслицы — хотя и никак не систематизированных, а если и объясняемых, то объяснения часто оставались таинственными — в целом приносило скорее пользу, чем вред. И все же мы, даже философы, накладываем определенные ограничения на количество бессмыслицы, которую мы готовы допустить до обсуждения: поэтому было так естественно продолжать в том же направлении и на следующей стадии исследования задать вопрос о том, следует ли вообще соответствующие многочисленным псевдоутверждения включать во множество «утверждений»²⁶⁷.

Другими словами, чтобы высказывание стало суждением, ему недостаточно иметь соответствующую грамматическую форму, а нужно пройти процедуру верификации —

²⁶⁷ Остин Дж. Указ. соч. С. 16.

соответствовать реальности (материальный критерий) или быть выводимым из других истинных суждений (формальный критерий). Заметим, что правильная грамматическая форма воспринимается как неперенный признак суждения. Более того, именно грамматическая форма провоцирует принимать бессмыслицу за суждение, что само по себе отсылает к античному смысло-формальному единству, вполне актуальному для логики Остина.

ОБЪЕКТЫ И ИХ СВЯЗИ НАЗНАЧАЮТСЯ СОЗНАНИЕМ

Однако, по-видимому, не следует повторять ошибку Аристотеля и всей классической схемы: суждения возникают не из реальности вещей, а из реальности *мысли*, или *мыслимой* реальности. Очевидно, что сущностей вещей, их акциденций, их объективных связей и объективной причинности в сознании говорящего нет: вещи, их признаки и связи обособливаются, группируются, связываются и организуются в ходе актуального свободного мыслительного процесса. Другими словами, ассоциирование правильной мысли с истинным положением дел (как и смешение означаемого и вещи/явления в языкознании) ведет к теоретическому детерминированию сознания природой вещей, и, одновременно, — логикой и «языком», в то время как в действительности любая вещь, явление, признак и их причинные связи *назначаются* сознанием, не существуют независимо от сознания. Так, любое «подлежащее» суждения не существует объективно в предметном мире, а возникает как результат когнитивных процедур индивидуального сознания (именно поэтому одни и те же «вещи» могут называться различными *назначенными* именами, входить одновременно в разные множества *ситуативно назначенных* родов, видов и классов, объединяться

с любыми другими «вещами» на основании *актуально назначенных* признаков и пр.). Другими словами, как нельзя говорить о том, *что* представляет собой правое и левое, горячее и холодное, высокое и низкое вне той системы координат, которая задана сознанием наблюдателя, так невозможно говорить о «подлежащем» суждения вне лично актуального и лично предпринятого *назначения* «подлежащего». То же — о «сказуемом» суждения.

Иначе говоря, в реальном речевом процессе на месте подлежащего присутствует не «субъект» с объективными свойствами, который, якобы, определяет «предикат», а «объект», созданный говорящим, т.е. замеченный им, выделенный им из прочих возможных, оказавшийся для него важным, поставленный в определенную связь с другими выделенными объектами, наделенный актуальными признаками и пр. Эти «назначения» необходимы говорящему для реализации своих целей в мыслимом коммуникативном пространстве.

ВСЕ РЕЧЕВЫЕ ФАКТЫ ПЕРФОРМАТИВНЫ

В этом смысле все речевые факты перформативны — т. е. необходимы говорящему как совершенный им выбор в ситуации коммуникации. Так, высказывание «Я приношу извинения» столь же перформативно, как и высказывание «Он мне задолжал», «Земля имеет форму шара» или «Сократ есть человек»: во всех случаях речь идет о действии говорящего в мыслимой коммуникативной ситуации или о попытке воздействия на мыслимого адресата в актуальных условиях. Во всех случаях говорящий считает необходимым привлечь внимание мыслимой аудитории к избранному факту (осознает, зачем ему производить данное воздействие, избирает объект, на котором фиксируется

внимание собеседников и который может совпадать с «грамматическим подлежащим», свидетельствует о нужном ему факте, идентифицирует ситуацию и возможные фреймы в сознании аудитории и пр.). При этом воздействие, которое производит говорящий посредством произнесения слов, во всех приведенных случаях необходимо ему в каких-то целях. Несомненным является лишь то, что *говорящий посчитал необходимым оказать данное воздействие на адресата*, но при этом он мог не испытывать чувства вины в первом примере, попросту лгать во втором, сознавать, что шар — слишком приблизительное сравнение, в третьем и в четвертом — что данное действие несколько странно ввиду своей очевидности и ненужности в конкретной ситуации. Во всех случаях речь идет не о внутренних состояниях (мыслях) говорящего, которые прямо соответствовали бы его словам или истинному положению дел, а о влиянии, которое он решил оказать на адресата в результате осмысления определенной ситуации и своих целей в ней. В этом смысле субъектом любого высказывания является говорящий, который действует, однозначно приписывая сказанное себе — т. е. реализует свое влияние в коммуникативной ситуации.

Суждение — тоже действие

Ясно, что суждение в такой интерпретации (в отличие от классической, где в качестве подлежащего выступает самостоятельная вещь/явление с ее объективной природой), — такое суждение приобретает отчетливые черты *действия*, производимого говорящим. Соответственно, получается, что пытаться верифицировать любое актуальное суждение — значит, верифицировать проявление свободной воли того, кто действовал, — т. е. впадать

в абсурд, поскольку словесное действие, направленное на мыслимого адресата, как, впрочем, и любое действие, может быть открытым, коварным, целенаправленным, эффективным, дерзким, необдуманым, вероломным, неловким и пр., но оно *не может быть истинным или ложным*. В том же смысле не может быть истинным или ложным забивание гвоздя, наполнение ведер дождевой водой или словесно выраженное недовольство начальника подчиненным. Другими словами, даже в том случае, когда можно проверить «истинное» положение дел (хотя таких случаев в действительности немного), проверяющий может убедиться лишь в том, что тот, кто произносил суждение, по каким-то причинам представил в своем действии иное положение дел, нежели то, которое наблюдает верификатор. Но само действие (как попытка влияния на слушателя в определенной ситуации) было совершено: говорящий выделил объект действия, избрал аудиторию, констатировал нужные ему связи, приписал необходимые мыслимые свойства выделенным объектам и пр., — и это невозможно верифицировать, поскольку это совершилось со всей очевидностью на глазах слушателя. Так, если даже реальное положение дел не соответствует тому суждению, которое было высказано, неправота относится не к суждению, а к тому, кто его произнес, поскольку вне говорящего суждения нет и не может быть. Другими словами, суждение, рассматриваемое как коммуникативное действие (а не как нечто абстрагированное от коммуникативного процесса, к чему стремится аристотелевская логика), не может верифицироваться как истина или ложь. Оценка суждения есть в действительности оценка действия говорящего.

В этом смысле относиться серьезно к верификации суждения можно лишь в том случае, если признавать, что

существуют истины сами по себе и что вербальная форма суждения в состоянии прямо констатировать существующую истину. Поскольку как обособление объекта (с последующим признанием за ним, скажем, статуса «подлежащего» суждения), так и приписывание предиката выделенному объекту («сказуемое суждения») представляют собой всецело психические процессы, обусловленные особенностями антропоцентрического дискретного мышления, — проблему истины следует рассматривать как субъективный когнитивный феномен, а не как объективное состояние дел, выраженное в мысли и слове.

Второй аргумент: многослойность актуальной речевой структуры

Второй аргумент в пользу существования вне-перформативных констативов (утверждений) отсылает к трехчленной схеме «локуция—иллокуция—перлокуция», сформулированной Остином. Необходимость введения этих понятий возникает вследствие желания Остина рассмотреть подробнее, что такое действие, что, в свою очередь, вызвано намерением определить различие между перформативом и констативом:

«Включившись в программу по определению списка эксплицитных перформативных глаголов, мы обнаруживаем, что в том, что мы собираемся найти, не всегда просто разграничить перформативные употребления и констативы, и поэтому представляется целесообразным вернуться на некоторое время назад, к основаниям, и рассмотреть с самого начала, как много имеется смыслов, в которых сказать что-либо *и есть* сделать что-либо или, говоря что-либо, мы тем самым делаем это и даже *посредством* самого говорения мы делаем что-либо. И мы начали отграничивать целую группу смыслов “делания чего-то”, которые мы все включили вместе, когда отметили, что, очевидно,

сказать что-либо есть в полном и нормальном смысле сделать что-либо — что включает употребление определенных звуков, определенных слов в определенных конструкциях и употребление их с определенным “значением” в любимом философами смысле этого слова, то есть с определенным смыслом и определенной референцией»²⁶⁸.

Сначала Остин разграничивает фонетические, фатические и ретические действия:

«Мы произвели три приблизительных разграничения между фонетическим, фатическим и ретическим действиями. Фонетическое действие есть просто действие по употреблению определенных звуков. Фатическое действие есть употребление определенных вокабул, или слов, то есть звуков определенного рода, принадлежащих (и в качестве принадлежащих) определенному словарю и соотносящихся (и в качестве соотносящихся) с определенной грамматикой. Ретическое действие — это совершение действия использования таких вокабул с определенными или более или менее определенными смыслом и референцией. Так, “Он сказал: ‘Кошка сидит на ковре’” — фатический акт, в то время как “Он сказал, что кошка сидит на ковре” является ретическим актом»²⁶⁹.

Это различие дает основания для перехода к рассуждениям о похожем, но несколько ином типе действий — локуции, иллокуции и перлокуции:

«Вначале мы разграничили группу вещей, которые мы делаем при произнесении чего-либо, обобщив это разграничение словами о том, что мы совершаем *локутивное действие*, которое приблизительно эквивалентно употреблению определенного предложения с определенным смыслом и определенной референцией, что, опять-таки, приблизительно эквивалентно

²⁶⁸ Остин Дж. Указ. соч. С. 84.

²⁶⁹ Там же. С. 85.

“значению” в традиционном смысле. Затем мы сказали, что мы также можем совершать иллокутивные действия, такие, как информирование, приказ, предостережение, предпринимание и т. д., то есть употребления, которые имеют определенную (конвенциональную) силу. Наконец, мы можем совершать также *перлокутивные действия* — то, что мы приносим или достигаем *посредством* говорения чего-либо, например, убеждение, принуждение и даже, скажем, удивление или заведение в тупик»²⁷⁰.

Первое разграничение соотносится со вторым следующим образом: локутивному действию соответствует в совокупности фонетическое и фатическое, иллокутивному — ретическое, перлокутивному действию из второго деления ничего не соответствует в первом.

Задача: АССОЦИИРОВАТЬ ЛОКУЦИЮ С КОНСТАТИВАМИ, ИЛЛОКУЦИЮ — С ПЕРФОРМАТИВАМИ

В дальнейшем риторическая задача Остина сводится к тому, чтобы утверждения и перформативы — главный предмет рассмотрения — распределились по *различным* уровням действий, тем самым доказывая свое сущностное различие. Для этого, по его мнению, оказывается достаточным сконцентрироваться на различиях локуции и иллокуции, оставив в стороне перлокуцию, и затем *ассоциировать локуцию с констативами, а иллокуцию — с перформативами*:

«Мы можем прояснить в определенном случае, что значит “использование предложения” в смысле локутивного действия, не касаясь, в сущности, на самом деле его использования в смысле *иллокутивного действия*»²⁷¹.

²⁷⁰ Остин Дж. Указ. соч. С. 85.

²⁷¹ Там же. С. 89.

Именно к такому результату Остин приходит в финале своих рассуждений:

«Что же тогда в конце концов остается от разграничения между перформативными и констативными утверждениями? На самом деле мы можем сказать, что у нас на уме по этому поводу следующее:

(а) в случае констативного употребления мы абстрагируемся от иллокутивного аспекта речи (оставим пока в покое перлокутивный) и концентрируемся на локутивном; более того, мы используем упрощенное понятие соответствия фактам — упрощенное потому, что, по существу, оно подключает иллокутивный аспект. В идеале мы стремимся к тому, что было бы правильным сказать при всех обстоятельствах, для любой цели, любому слушателю и т. д. Возможно, иногда это реализуется;

(б) в случае перформативного употребления мы уделяем столько внимания, сколько можем, иллокутивной силе высказывания в противоположность измерению соответствия фактам»²⁷².

А также:

«Но действительный вывод, безусловно, должен заключаться в том, что мы нуждаемся: (а) в разграничении локутивных и иллокутивных действий и (б) в тщательном анализе и установлении для каждого типа иллокутивного действия того, в чем заключается, если он вообще в чем-нибудь заключается, специфический способ, посредством которого они осуществляют намерение...»²⁷³

(Справедливости ради следует отметить, что тотчас за этим следует характерная для Остина оговорка, оставляющая у читателя впечатление двусмысленности и незавершенности темы:

²⁷² Остин Дж. Указ. соч. С. 121.

²⁷³ Там же. С. 122.

«В целом локутивное действие в той же мере, что и иллюкутивное, является лишь абстракцией: каждое подлинное речевое действие является и тем, и другим»²⁷⁴).

Итак, имеет ли место в реальном коммуникативном процессе некое раздельное существование локуции, иллюкуции и перлокуции? Или — настолько ли варьируется в реальных высказываниях мера их присутствия, чтобы можно было говорить о соответствующих им разновидностях и приписывать констативам локутивность, а перформативам — иллюкутивность (вовсе оставив в стороне перлокуцию)? Иными словами, насколько правомерно остиновское деление речевых действий на локутивные и иллюкутивные (перлокуция, по мнению самого Остина, не участвует в этой оппозиции) и, соответственно, — насколько правомерен последний аргумент в пользу отличий перформативов от констативов?

Локуция на основе оппозиции «язык—речь»

Теоретическое основание для признания локуции в качестве обособленного теоретического объекта образует оппозиция «язык—употребление», или «язык—речь», которую Остин принимает за нечто самоочевидное. Замечания на эту тему рассеяны по всем лекциям:

«Язык при таких обстоятельствах определенным образом употребляется несерьезно, в каком-то смысле *паразитирует* на нормальном употреблении»²⁷⁵.

«Представляется правдоподобным, что эксплицитное разграничение различных *сил*, которые может иметь данное употребление, является позднейшим

²⁷⁴ Остин Дж. Указ. соч. С. 122.

²⁷⁵ Там же. С. 31.

достижением языка, причем весьма значительным; примитивные, или первоначальные, формы употребления будут сохранять “абмивалентность”, или “двусмысленность”, или “затемненность” примитивного языка в этом отношении; они не будут делать эксплицитной точную силу употребления»²⁷⁶.

«Фема является единицей языка: ее характерный дефект в том, что она бессмысленна — не обладает значением. Однако рема является единицей речи; ее же типичный дефект в том, что она может быть неясной, или пустой, или расплывчатой и т. д.»²⁷⁷.

«Итак, мы грубо разграничили три типа действий — локутивные, иллокутивные и перлокутивные. Давайте прокомментируем в целом эти три класса, оставляя их еще пока не уточненными. Первые три пункта будут вновь касаться «использования языка»²⁷⁸.

«(1) Наш интерес в этих лекциях сконцентрирован по преимуществу на втором, иллокутивном, действии в его противопоставлении двум другим. Существует постоянная тенденция в философии затушевывать его (размывать) в пользу одного или другого, в то время как оно отличается от них. Мы уже видели, как выражения “значение” и “использование предложения” размывают различие между локутивным и иллокутивным действиями. Теперь мы отметим, что говорить об “использовании” языка — это также размывать разграничение между локутивными и иллокутивными действиями — поэтому мы через пару минут разграничим их более точно. Говорить об “использовании ‘языка’” для убеждения или предупреждения — все равно что говорить об “использовании ‘языка’” для “принуждения, побуждения, поднятия тревоги”; все же первое можно приблизительно противопоставить второму, сказав, что оно конвенционально в том смысле, что по крайней мере его можно эксплицитировать

²⁷⁶ Остин Дж. Указ. соч. С. 68.

²⁷⁷ Там же. С. 87.

²⁷⁸ Там же. С. 90.

посредством перформативной формулы; но последнее нельзя. Так, мы можем сказать “Я утверждаю, что” или “Я предупреждаю тебя, что”, но мы не можем сказать “Я убеждаю тебя в том, что” или “Я тревожу тебя с тем, чтобы”. Далее, мы можем достаточно ясно уточнить, утверждал ли кто-либо нечто или нет, не рассматривая вопроса о том, убеждал ли он кого-то или нет.

(2) Прежде чем продолжать дальше, давайте выясним, что выражение “использование языка” может скрывать другие материи, даже более разнообразные, чем иллокутивные и перлокутивные действия. Например, мы можем говорить об “использовании языка” для чего-либо, например для того, чтобы пошутить; и мы можем использовать “в” способом, отличным от иллокутивного “в”, когда мы говорим “в случае, когда я говорил *p*, я шутил”, или “принимал участие”, или “читал стихи”; или, опять-таки, мы можем говорить о “поэтическом использовании языка” в противоположность “использованию языка в поэзии” Этим референциям к “использованию языка” нечего делать с иллокутивным действием. Например, если я говорю: “Иди и схвати падающую звезду”, то может быть совершенно ясно, каковы и значение, и сила моего употребления, но все же может оставаться нерешенным, какую именно из других вещей я смогу совершить. Существует паразитическое использование языка, которое является “несерьезным”, не “полностью нормальным использованием”. Нормальные условия референции могут быть приостановлены, если не делаются ни попытки стандартного перлокутивного действия, ни попытки заставить вас сделать что-либо, как Уолт Уитмен несерьезно призывает орла свободы парить²⁷⁹.

Независимость локуции в конечном счете обеспечивается для Остина независимостью «языка» — грамматики и словаря, т. е. тех выражений в соответствии с грамматикой

²⁷⁹ Остин Дж. Указ. соч. С. 91.

и словарем, которым еще не придана иллокутивная сила. Так, определяя фонетическое и фатическое действия, которые в совокупности составляют локуцию, он подчеркивает, что основанием этих действий является системный компонент «языка»:

«Мы можем согласиться, не настаивая на формулировках и уточнениях, что сказать что-либо есть:

(А.а) всегда совершить действие употребления определенных звуков (“фонетическое” действие), что употребление есть звук;

(А.б) всегда совершить действие употребления определенных вокабул, или слов, то есть звуков определенного типа, принадлежащих определенному словарю, в определенной конструкции, то есть соответствующих определенной грамматике с определенной интонацией и т. д. Это действие мы можем назвать “фатическим”»²⁸⁰.

В том же смысле Остин замечает:

«Очевидно, при определении фатического действия две вещи накладываются друг на друга: словарь и грамматика. Так, мы не назвали бы особым именем лицо, которое производит, например, такие употребления, как “Кошка абсолютно если” или “Хливикие шорьки пырялись по нове”. Возникающий в дальнейшем еще один фактор связан с интонацией, важной не менее, чем грамматика вместе со словарем»²⁸¹.

«Фонетическое действие есть просто действие по употреблению определенных звуков. Фатическое действие есть употребление определенных вокабул, или слов, то есть звуков определенного рода, принадлежащих (и как принадлежащих) определенному словарю

²⁸⁰ Остин Дж. Указ. соч. С. 68.

²⁸¹ Там же. С. 85.

и соотносящихся (и в качестве соотносящихся) с определенной грамматикой»²⁸².

В том же смысле Остин противопоставляет иллокутивную силу высказывания и его значение:

«Вначале мы разграничили группу вещей, которые мы делаем при произнесении чего-либо, обобщив это разграничение словами о том, что мы совершаем *локутивное действие*, которое приблизительно эквивалентно употреблению определенного предложения с определенным смыслом и определенной референцией, что, опять-таки, приблизительно эквивалентно “значению” в традиционном смысле. Затем мы сказали, что мы также можем совершать иллокутивные действия, такие, как информирование, приказ, предостережение, предпринимание и т. д., то есть употребления, которые имеют определенную (конвенциональную) силу»²⁸³.

Таким образом, первая риторическая стратегия, которой пользуется Остин для оправдания обособленной локуции, — это возведение к общепризнанному разделению «языка» и употребления, или — значения и иллокутивной силы: если «язык» оправдан как теоретический объект, и локуция соответствует языку, то локуция тоже оправдана как особый теоретический объект. То же в отношении значения: если самостоятельное значение оправдано как теоретический объект, и локутивная сила соответствует значению, то локутивная сила оправдана как особый теоретический объект.

²⁸² Остин Дж. Указ. соч. С. 82.

²⁸³ Там же. С. 94.

ДОЗИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Второй стратегией является своего рода дозирование коммуникативного компонента при рассмотрении вербальных фактов. В одних случаях, когда речь идет о перформативах (которые, по некоторым суждениям Остина, существенно отличны от констативов), в рассуждении присутствуют все основные компоненты реального коммуникативного процесса — говорящий, адресат, вербальные модели, осознанные условия совершения вербальных действий:

«Например, на вечеринке, выбирая себе пару, вы говорите “Я выбираю Джорджа”. Джордж ворчит: “Я не умею играть”. Выбран ли Джордж? Несомненно, ситуация неуспешная. Ладно, мы можем сказать: вы выбрали Джорджа либо потому, что не существовало такой договоренности, которая позволяла бы выбирать людей, не умеющих играть, либо потому, что Джордж в этой ситуации неподходящий объект для процедуры выбора. Или, находясь на пустынном острове, вы можете сказать мне “Пойди и набери дров”; а я могу сказать “Почему это ты мне приказываешь!” или “Ты не уполномочен раздавать мне приказания”. Я не принимаю приказов, идущих от вас, когда вы пытаетесь навязать мне свой авторитет (которому я могу подчиниться, а могу и не подчиниться) на необитаемом острове в противоположность тому случаю, когда вы — капитан корабля и поэтому имеете подлинный авторитет»²⁸⁴.

Когда же Остин приводит пример констативов (в отношении которых он убежден, что они не составляют действия в том же смысле, что перформативы), коммуникативные признаки вербального материала отодвигаются в тень:

²⁸⁴ Остин Дж. Указ. соч. С. 36.

«Можем ли мы совершать ретическое действие без соотнесения или без именованя? В целом кажется, что ответ должен заключаться в том, что не можем, но существуют некоторые загадочные случаи. В чем состоит референция высказывания “Все треугольники имеют три стороны”? Соответственно, ясно, что мы можем совершить фатическое действие, которое не будет ретическим действием, хотя обратное неверно. Так, мы можем повторять чье-то замечание, или бормотать какие-то слова, или мы можем читать латинское предложение, не понимая значения слов»²⁸⁵.

В результате перформатив обнаруживает подлинные черты любого вербального факта, а констатив (утверждение) выступает под прежней логической маской — т. е. абстрагированным от аутентичной коммуникативной реальности, парящим в безвоздушном пространстве, или в идеальном мире чистой мыслительной формы, так, как будто данное суждение не высказано кем-то для кого-то, а само собой прямо констатирует (или отрицает) реальность:

«Прежде всего какова связь между употреблением “Я прошу прощения” и фактом, что я прошу прощения? Важно понять, что эта связь отлична от связи между “Я бегу” и тем фактом, что я бегу (или в случае подлинного “чистого” сообщения — между “он бежит” и тем фактом, что он бежит). Это отличие в английском языке маркировано употреблением не-континуального настоящего времени в перформативных формулах; в других языках это не всегда так — в них длительное настоящее вообще может отсутствовать, и даже в английском оно не всегда употребляется. Мы можем сказать: в обычных случаях, например в случае бега, имеется факт, что он бежит, который делает утверждение о том, что он бежит, истинным; или, опять-таки, что истинность

²⁸⁵ *Остин Дж.* Указ. соч. С. 86.

констативного употребления “он бежит” зависит от того, что он действительно бежит. В то время как в нашем случае факт, что я прошу прощения, продуцируется успешностью перформатива “Я прошу прощения” — и то, преуспею ли я в том, что прошу прощения, зависит от успешности перформатива “Я прошу прощения”. Это один способ, при помощи которого мы можем оправдать перформативно-констативное разграничение — разграничение между словом и делом»²⁸⁶.

Другими словами, в приведенном Остином примере перформатив «Я прошу прощения» рассматривается как вербальная модель, кем-то произнесенная и кому-то адресованная, в то время как констатив «он бежит» сразу соотносится с фактом реального мира, как будто тот, кто это произнес в актуальной ситуации, просто констатировал факт, не преследуя никаких целей, не фокусируя на объекте чье-то внимание, не пытаясь достичь этим высказыванием нужного эффекта в сознании адресата, и пр. Снова возникает картина непонятной бессмысленной вербальной игры «Назови правильно факт действительности», в которую говорящие как будто играют без всякой цели и смысла.

ПРИЗНАНИЕ САМОТОЖДЕСТВЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Здесь же заметна и другая стратегия Остина — опора на вербальную форму как на самоотжественное выражение сознательного процесса, или мысли. По-видимому, Остин доверяет предметному слову не меньше, чем его предшественники. Так, он всерьез ищет *грамматические* критерии отличия перформативов от констативов, полагая, что

²⁸⁶ Остин Дж. Указ. соч. С. 49.

в высказывании может присутствовать определенный предметный знак, указывающий на его перформативность:

«Мы должны спросить: существует ли точный способ, посредством которого мы могли бы окончательно разграничить перформативы и употребления? И, в частности, следовало бы прежде всего спросить, существует ли *грамматический* (лексикографический) критерий для разграничения перформативного употребления»²⁸⁷.

Это, в свою очередь, изобличает прежнюю схему «знак—значение» и традиционное заблуждение — приписывание предметному слову самотождественного значения. Нужно отметить, что Остин и здесь проявляет двойственность — с одной стороны, ему не удастся найти твердых грамматических критериев для перформативов. Но с другой, он вполне определенно полагается на найденную грамматическую черту, маркирующую перформатив — глагол особой семантики в форме первого лица единственного числа. Список этих глаголов приводится как результат исследования, предпринятого в цикле лекций.

В том же смысле, т. е. полагаясь на самотождественное предметное слово, Остин рассуждает об эксплицитных и имплицитных перформативах. И в этой ситуации высказывания типа «Я там буду» невольно называются-таки у него перформативами, но имплицитными. Чтобы стать настоящим, такому перформативу следует стать эксплицитным, т.е. иметь в своем составе предметный знак — перформативный глагол (список которых затем станет главным критерием отличия констативов от перформативов):

«В качестве примера напишем: (1) первичный перформатив: “Я там буду”, (2) эксплицитный

²⁸⁷ Остин Дж. Указ. соч. С. 56.

перформатив: “Обещаю, что буду там”, и мы сказали, что последняя формула делает его эксплицитным — но что это за действие, которое совершается при помощи употребления, то есть “Я там буду”? Если кто-то говорит: “Я там буду”, мы можем спросить: “Это что — обещание?” Мы можем получить ответ: “Да” или “Да, я обещаю это”, в то время как ответ может быть и иным: “Нет, но я собираюсь быть там” (выражающий или объявляющий о намерении) или же “Нет, но я могу предвидеть, зная свою слабость, что я (возможно) там буду”²⁸⁸.

Другими словами, по мнению Остина, пока нет соответствующего слова, называющего действие («обещаю»), нет и самого действия, словно тот, кто в актуальной ситуации сказал «я там буду» вместо «я обещаю, что я там буду», сделал нечто не обладающее актуальным смыслом, т. е. невразумительное и абсолютно никому не нужное.

Все эти стратегии, как видно, имеют основанием общепризнанные подлежащие прежней лингвистической модели: слово как самотождественное смыслоформальное единство; высказывание как логический, а не коммуникативный феномен; язык как систему предметных слов, которая противостоит узусу; ассоциирование мысли с вербальным утвердительным предложением. В результате Остин считает доказанным положение, что можно совершать локутивные действия без совершения иллюкутивных, т. е. что перформативы и констативы различны:

«Можем ли мы совершать ретическое действие без соотнесения или без именованя? В целом кажется, что ответ должен заключаться в том, что не можем, но существуют некоторые загадочные случаи. В чем состоит референция высказывания “Все треугольники имеют три стороны”? Соответственно, ясно, что мы

²⁸⁸ Остин Дж. Указ. соч. С. 66.

можем совершить фатическое действие, которое не будет ретическим действием, хотя обратное неверно. Так, мы можем повторять чье-то замечание, или бормотать какие-то слова, или мы можем читать латинское предложение, не понимая значения слов»²⁸⁹.

СОХРАНЕНИЕ КОНСТАТИВОВ

Таким образом, констативы (утверждения), несмотря на все самопроверяющие наблюдения Остина, продолжают оставаться не-действиями, или неполноценными действиями. Они по-прежнему образуют основание для логического подхода к высказыванию и для самой классической логики и грамматики. Соответственно, грамматика продолжает оставаться логической, предметно обусловленной, смыслоформальной, рассматривающей слово в качестве самотождественной единицы одновременно смысла и высказывания.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ДВУСМЫСЛЕННОСТИ

Как видно, Остин вплотную приблизился к отрицанию прежних подлежащих теории, но далее не ступил. По-видимому, правомерным было бы избавить его рассуждения от двусмысленности и недосказанности: поскольку любое использование естественной устной или письменной речи представляет собой коммуникативный акт, и соответственно, совершается в некоторых условиях и предполагает участников, один из которых генерирует речь, а другой как минимум мыслится говорящим, то любая порождаемая речь со всей очевидностью является попыткой действия, или влияния (или моделированием такого влияния). Совершенно очевидно также и то, что попытка воздействия

²⁸⁹ Остин Дж. Указ. соч. С. 86.

коммуниканта на мыслимого адресата имеет место и в тех случаях, когда речь идет о констатации каких-то фактов в утверждении: эти факты — как «подлежащее», так и «сказуемое» утверждения — назначаются кем-то с какой-то целью, и их констатация адресована кому-то. Остин, желая дать особое место суждениям и тем самым спасти классическую логику, был вынужден попирать аутентичные свойства актуальных вербальных феноменов, т. е. коммуникативность, мыслимость (когнитивность), ситуативность и акциональность.

Позиция Остина обусловлена «языком»

В конечном счете ошибка Остина сводится к признанию «языка» в качестве самоочевидной данности, или самоочевидного подлежащего теории. Внеакциональные высказывания, которые с появлением на сцене перформативов стали не единственными в вербальном материале и защита которых составляет главный предмет заботы Остина, обоснованы только «языком» как самоочевидной системой предметных элементов:

«Когда мы осуществляем локутивное действие, мы пользуемся речью [т. е. в данном контексте “языком”. — *А. В.*]: но каким образом в точности мы пользуемся ею в данном случае? Поскольку существует огромное число функций или способов, при помощи которых мы пользуемся речью [т. е. “языком”. — *А. В.*], и это образует огромные различия в нашем действии — каким способом и в каком смысле мы “использовали” это употребление [т. е. данные выражения “языка”. — *А. В.*]. Большая разница, советовались ли мы или просто предполагали, или на самом деле приказывали, давали ли строгое обещание, или только заявляли о неясном намерении и тому подобное. Эти проблемы слегка проникли, хотя не без путаницы, в грамматику, но мы постоянно обсуждаем их в том

смысле, *имеют ли* определенные вопросы (определенные локуции) *силу* вопроса или должны быть *рассмотрены в качестве* оценки и т. д.

Я объяснил осуществление действия в этом новом и втором смысле как осуществление “иллокутивного” действия, т.е. осуществление действия, состоящее в говорении чего-либо в противоположность осуществлению действия говорения чего-либо; я буду отсылать к доктрине различных типов функций языка, которая здесь обсуждается, как к доктрине “иллокутивных сил”.

Можно сказать, что философы слишком долго игнорировали подобного рода исследования, изучая все проблемы как проблемы “локутивного употребления”, и в самом деле, эта “дескриптивная ошибка”, отмеченная мною в первой лекции, обыкновенно возникает из ошибочного понимания проблем первого типа как проблем второго типа. Действительно, мы начали из этого выбирать; в течение нескольких лет мы все больше и больше начинаем осознавать, что ситуация, связанная с употреблением, вполне серьезна и что слова, используемые в некотором содержании, должны быть объяснены “контекстом”, для которого они предназначены или в котором употреблены в ходе реального языкового обмена. Но все же, вероятно, мы еще слишком склонны давать эти объяснения в терминах “значений слов”. Понятное дело, что мы можем использовать “значение” наравне с референцией применительно к иллокутивной силе — “Он обозначил это как приказ” и т.д. Но я хочу разграничить *силу* и значение в том смысле, что значение является эквивалентом смысла и референции, так же как внутри значения становится порой существенным разграничить смысл и референцию»²⁹⁰.

Другими словами, согласно Остину, одно и то же высказывание (локуция), созданное в соответствии

²⁹⁰ Остин Дж. Указ. соч. С. 88.

с грамматикой и словарем «языка», может иметь различные употребления. Высказывание получает правильное объяснение только при определении его иллокутивной силы, которая возникает в реальном языковом обмене. Давать объяснение высказыванию в терминах «значений слов» «языка» — недостаточно или даже просто ошибочно, хотя именно это до сих пор зачастую случается. Иллокутивной силе соответствует значение высказывания, которое составляет локуцию и организуется по правилам «языка». Силу и значение необходимо разделять.

Как видно, Остин, с одной стороны, признает, что рассмотрение вербальных фактов в качестве только локуций (т. е. только «языка» как грамматики и значений слов) было ошибкой философии. Однако, с другой стороны, самостоятельное значение слов и грамматики (т.е. «языка») Остином не отрицается. Это признание самостоятельного статуса локуции используется в лекциях как главное доказательство существования утверждений, отличных от перформативов. Другими словами, осужденная и отвергнутая «философская» ошибка (рассмотрение высказывания как «только локуции») становится затем доказательством главной мысли Остина — что независимые констативы (утверждения) существуют сами по себе и как таковые составляют оппозицию перформативам.

Это противоречие адекватно очерчивает позицию Остина по отношению к предшествующей традиции. С одной стороны, в результате предпринятого им (вероятно, не без влияния Витгенштейна) обращения к «совершительным» высказываниям обнаруживается главное свойство актуального вербального материала — акциональность, которое, впрочем, в полной мере приписывается только перформативам. С другой стороны, преодоление аристотелевского

направления в науке о «языке» остается нереализованным, поскольку Остин остается на прежнем основании — предметной модели, основополагающие черты которой принимаются им безоговорочно и некритично. Отсюда — двойственность и непоследовательность в трактовке вербального материала.

Так или иначе, перформативы Остина можно считать начатком новой модели лингвистического описания, в которой весь искомый процесс смыслообразования в речи интегрируется понятием личного осознанного действия, совершаемого в коммуникативном пространстве с использованием слов.

То же направление теоретического вектора — а именно, *недоверие к предметной стороне «языка» и удаление от нее в трактовке смыслообразования* — в различной мере можно видеть и в других идеях, высказанных в течение 20-го столетия и составивших его отличительные черты. Главные из них: понятие интерсубъективности (Э. Гуссерль); идея асимметричности языкового знака (С. Карцевский); понятие эволюционных рядов (Э.Б. Тайлор); теория истины как консенсуса (Л. Витгенштейн, Дж. Остин и др.); концепция возможных миров; прагматика (Ч. Моррис) с заменой ее на дектику (Ю.С. Степанов); распространение идеи действия на весь языковой материал (Дж. Р. Серль); общая тенденция антропоцентричности, или антропологизма в изучении языка; увязывание языкового значения с действием (П. Грайс); появление неклассических логик; теория социального действия (Ю. Хабермас) и др.

Несмотря на это, идея «языка» как последний, но главный бастион предметной модели, остается нерушимой во всех упомянутых теоретических схемах, не говоря уже

о тех, которые без лишних сомнений продолжают развивать предметный (аристотелевский) подход к вербальным феноменам (например, категориальные грамматики, грамматика Монтегю).

2.9. НЕВОЗМОЖНОСТЬ «САМОЗНАЧНОГО» ЯЗЫКА

Итак, направления, заданные формулами «язык в сознании», «язык в тексте» и «язык в употреблении», каждое по-своему ведет к отрицанию самоидентичности вербального материала и самой абстракции «язык».

НЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ВЕРБАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА: «ЯЗЫК В СОЗНАНИИ»

«Язык в сознании», в конечном счете, предполагает *несловесность* выражаемых значений. Мысль локализуется на стадии планирования действия, в т. ч. словесного высказывания. Кванты мыслительного процесса никоим образом не совпадают с автономными словами, которые, в свою очередь, никоим образом не соответствуют платоно-аристотелевским «сущностям вещей» — ни «первым», ни «вторым». Сознание, которому вне коммуникации «язык» не нужен вовсе, назначает объекты и их связи, актуализованные в данный момент, т.е. другими словами, «сущности вещей» не сами по себе отражаются в «языке» и действуют в сознании, а попросту не существуют — не могут быть ни выделены, ни поименованы — до актуального мыслительного процесса. Оформление объектов и их множеств, разбиение на части или классы ранее выделенных объектов происходит в сознании по мере субъектной актуальности. Если результатом «мыслей» становится

признание необходимости и возможности действовать в коммуникативном пространстве, привлекаются известные вербальные модели, которым сознание говорящего приписывает соответствующее значение. Процесс смыслообразования, протекающий в сознании воспринимающего речь адресата, состоит в усвоении «внутренних состояний», или «мыслей» говорящего, послуживших причиной данного действия.

НЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ВЕРБАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА: «ЯЗЫК В ТЕКСТЕ»

Последовательное рассмотрение «языка в тексте», в конце концов, выводит *за пределы вербального текста* и отсылает к осознанной коммуникативной ситуации, мыслимой в каждый конкретный момент актуального говорения. Текст, составленный из устных или написанных «предложений», представляет собой ряд действий, которые осуществляются в каждый раз заново осознанных меняющихся условиях. Этот ряд организован активным сознательным процессом, направленным на достижение результата коммуникации. Другими словами, место вербального текста, составленного из несамотождественных элементов, занимает «связность» иного рода — мыслимая коммуникативная ситуация, предлагающая собственные семантические и синтаксические параметры, посредством которых сознание интегрирует предметные вербальные элементы. Любая совокупность слов вне актуального действия оказывается обманчивой, поскольку никакой текст (или произвольно избранный его отрезок) не может теоретизироваться как автономный количественный объект.

НЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ВЕРБАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА: «ЯЗЫК В УПОТРЕБЛЕНИИ»

В свою очередь, «язык в употреблении» вбирает все аутентичные условия естественного вербального процесса, среди которых со всей очевидностью *не находится места* «единственному предметному инструменту говорения и понимания». Актуальный вербальный процесс (использование словесных моделей в целях (воз)действия) всегда реализуется как мыслимый (когнитивность), обусловленный воспринятыми обстоятельствами (ситуативность), необходимый говорящему (актуальность), предполагающий мыслимого адресата (коммуникативность), предназначенный к воздействию (акциональность). Абстракция «язык» не в состоянии вместить ни одного из аутентичных свойств естественного лингвистического материала, поскольку слово и, соответственно, словесный «язык», понимаемые по-платоновски и признаваемые самотождественным теоретическим объектом, не оставляют никаких шансов коммуниканту, хотя именно он — один из немногих самоочевидных участников реального речевого процесса — и задает собой все аутентичные признаки естественного вербального материала.

Для концепции «языка» главным неудобством становится свобода говорящего, которую традиционная «языковая» теория фактически вынуждена отрицать, констатируя общий «инструмент» говорения/понимания. Парадоксальным образом в естественном вербальном процессе самотождественным (понимаемым в единстве) оказывается субъективное содержание, а не объективная форма: первое, оставаясь одним и тем же, может быть выражено различными словами, на разных языках и пр., в то время как вторая, не имея жесткой платоновской

привязанности к «идеям», чтобы приобрести «значение», должна быть наделена субъектным содержанием и субъектно интерпретирована, т. е. сопряжена с говорящим и лично воспринятой ситуацией вербального действия.

ВЕРБАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ВМЕСТО «ЯЗЫКА»

Несмотря на общую тенденцию недоверия к предметности, обозначенную этими направлениями, абстракция «язык» остается в них главным средством для объяснения феномена естественного говорения (понимания). По-видимому, в приведенных формулах несомненное подлежащее — предметный «язык» — следует заменить на «вербальные модели» и оставить, наконец, попытки собрать из них единый пазл: «вербальные модели в сознании», «вербальные модели в тексте», «вербальные модели в употреблении». В свою очередь, для «естественного языка», который зачастую используется для именованного естественного говорения, во избежании путаницы можно предложить термин «вербальный коммуникативный процесс», признавая за ним по умолчанию актуальность, субъектность, т. е. вовлеченность словесных действий в условия их совершения.

ВНЕСУБЪЕКТНАЯ БЕССМЫСЛЕННОСТЬ «ЯЗЫКА»

Неэффективность абстракции «язык» ощущается особенно остро, когда замечается его внесубъектная бессмысленность, или отсутствие в нем (самом по себе) каких-либо актуальных значений. Комбинаторика элементов, описываемая грамматикой и словарем как всеобщие правила «языка», не выражает ничьих «мыслей», интенций, «ментальности», «духа» или каких-то психических состояний, которые свойственны любому естественному говорению.

Другими словами, только проекция на коммуникативную ситуацию, которая воспринята лично и в которой реализуется личное действие, позволяет осуществить процедуру смыслообразования — со стороны говорящего или слушающего. Чье-то спроецированное на ситуацию действие составляет единственный интерес как самого коммуниканта, так и любого интерпретатора, прямого или косвенного. Любой предметный факт «языка», лишенный аутентичных условий, в которых он стал (или может стать в мыслимой проекции) личным действием, превращается в нечто иное, отличное от *актуального* употребления данного предметного вербального факта. Так, «пришел, увидел, победил» не значит ничего до помещения в актуальную ситуацию (непонятно кто, где, когда, зачем сказано и пр.). На фоне того, что «язык» (т. е. оторванные от коммуникативной почвы «грамматика и словарь») традиционно считался носителем выражаемых значений, его реальная пустота выглядит парадоксом.

Вероятно, именно здесь сталкиваются две ключевые позиции и две парадигмы — античная и коммуникативная. Речь идет о возможности или невозможности утверждать, что словесное высказывание значит нечто само по себе. Одним из вариантов традиционного ответа на этот вопрос является признание так называемых самореферентных высказываний. Другими словами, логический подход, согласно которому само высказывание имеет значение, оказывается последним оплотом античной схемы вербального материала и элиминируется признанием, что высказывание *само по себе* не может что-либо означать.

Эта проблема, по-видимому, была инициирована Остином, который, как уже было замечено, попытался, оставаясь на почве логики, спасти традиционно логическую

часть вербального материала, а именно *суждения* (*констативы*), от причисления к новооткрытым перформативам, которые с очевидностью не имеют свойств истинности или ложности. Тем самым он пытался спасти не только классическую логику, но и сам античный «язык», который с появлением на сцене «действия» и, соответственно, «деятеля» (говорящего, т. е. реального источника всех смыслов и действий) утрачивал свои позиции в смыслообразовании. Как уже было замечено, несмотря на усилия Остина, действием оказывается любое высказывание. Из этого, в свою очередь, следует, что никакое актуальное высказывание не может быть самозначным (словесное действие осуществляется только для того, чтобы реализовать интересы говорящего). Соответственно, высказывание не может быть и самореферентным. В свою очередь, это означает, что самозначащий «язык» также не может рассматриваться как корректный теоретический объект.

Адекватным выражением этой проблематики является, с одной стороны, так называемый «парадокс лжеца», с другой — теорема Патнэма.

ПАРАДОКС ЛЖЕЦА

«ПАРАДОКС БЕССМЫСЛЕННОГО ЯЗЫКА» ЧЕРЕЗ ПАРАДОКС ЛЖЕЦА

Парадокс лжеца традиционно интерпретируется логически и в результате ставит в тупик классическую логику. Упомянутый «парадокс языка» (бессмысленный «язык» vs выражаемые значения) в целом адекватно представлен парадоксом лжеца, поскольку проблема последнего состоит как раз в мнимой самореферентности (самозначности) —

что со времен Платона приписывалось и «языку». Другими словами, в парадоксе лжеца фокусируется недостаточность «языкового» и логического подхода, а его разрешение (вернее, снятие) равносильно изобличению «языка» в его античном понимании.

В наиболее древней форме этот парадокс представлен восходящим к Эпимениду высказыванием: «Все критяне лжецы», притом что сам автор и источник высказывания был критянином.

Традиционно логическая апория видится в том, что предположение об истинности данного высказывания ведет к его ложности: Эпименид называет всех критян лжецами; *если это истинно*, значит, и он сам лжец, значит, он лжет и в этом высказывании, и *значит высказывание ложно*. То же — в других вариантах этого парадокса: «Я лгу», «Я высказываю сейчас ложное предложение», «Все, что Х утверждает в промежуток времени Р — ложь», «Это утверждение ложно», «Это утверждение не принадлежит к классу истинных высказываний».

Выход за пределы логики

В данном случае необходимо не очередное *логическое* разрешение этого затруднения, а *выход за логические пределы* в сторону речевой и мыслительной реальности. Только так, по-видимому, внесубъектная самозначная логика избавляется от искусственных парадоксов, а естественные вербальные факты — от самой логики.

Реальность состоит в том, что формулировка парадокса словесна, как словесны любые факты, составляющие объект логики и грамматики. Для снятия (элиминирования) парадокса его следует рассмотреть как естественный вербальный материал, который наделен обычными для

него свойствами, в частности, несамотождественностью вне актуального коммуникативного процесса и акциональностью («отделенностью» мысли от слова). Как о значении слова невозможно рассуждать вне естественных условий употребления данного звукокомплекса, так же невозможно лишать естественный языковой эпизод («парадокс») аутентичных для него условий и свойств. Именно эти аутентичные условия должны заменить собой некорректные условия его формулирования.

САМОЗНАЧНОСТЬ ЯЗЫКА В ОСНОВАНИИ ПАРАДОКСА

Для того чтобы парадокс имел место, необходимым является мнимая *самозначность*, или *самореферентность*, которая в эпименидовой версии выражается в том, что говорящий посредством сказанного якобы указывает *одновременно на критян и на себя* («если сам Эпименид критянин, значит, слово «все» включает и его самого»). Эта исходная позиция как будто вводится самой словесной формулировкой, против которой, казалось бы, нет аргументов, кроме того, что: 1) слово никогда не бывает тождественным (не означает нечто) само по себе, и что 2) актуальные вербальные факты представляют собой чьи-то личные действия. Для снятия этого парадокса остается, таким образом, отбросить самостоятельное значение слов и ответить на вопрос, *что сам Эпименид имел в виду своим словесным действием, когда говорил о «всех критянах».*

НЕВОЗМОЖНОСТЬ АВТОНОМНЫХ СЛОВ И ФАКТОВ

Другими словами, реально произнесенные слова, абстрагированные от говорящего, и факты, якобы существующие объективно, не могут сами по себе обозначать что-либо определенное и вводить в апорию. Они не могут быть

само-значными и *само*-референтными. Факты создаются посредством выделения актуального объекта и констатацией актуальных отношений, что осуществляет говорящий. В свою очередь, слово «все» и слово «критяне» получают только такое значение, которое подразумевал в них сам Эпименид. Он мог вовсе не думать о себе, когда произносил свои слова. В то же время он мог иметь в виду и себя (хотя это гораздо менее вероятно). Он мог (а мог и не) причислять себя к тем критянам, о которых говорил. Он мог говорить предельно «точно», беря на себя тяжелый труд «серьезно» констатировать нечто о *всех* критянах, а мог говорить аффективно, имея в виду лишь свое отношение к ним, не причисляя при этом к ним себя.

РАЗРЕШИТЬ ПАРАДОКС — СПРОСИТЬ ЭПИМЕНИДА

Как видно, на эти сомнения не дает ответа словесная форма, которой располагает интерпретант. Так или иначе, вопрос о смысле этого (и любого другого) высказывания сводится к тому, *что* имел в виду сам Эпименид, даже если определить его мысль с точностью не представляется возможным. Это главная опорная точка, которую необходимо твердо обозначить — и только после этого становится возможным сопоставление данного высказывания с другим «фактом», а именно с тем, что сам Эпименид — критянин. Последнее может иметь значение для истолкования фразы «все критяне лжецы», а может не иметь никакого — если сам Эпименид не подразумевал этого. То же — в случае иных формулировок «парадокса»: содержание словесного действия, которое осуществляется с целью влияния на слушающих, задается содержанием мысли говорящего.

ДЕЙСТВИЕ ВМЕСТО КОНСТАТАЦИИ ИСТИН

Как сам Эпименид, так и другие, в чьих устах озвучиваются парадоксы, в реальном коммуникативном процессе не констатируют истин, которым можно было бы приписать свойство истинности или ложности, — они вместо этого *действуют*. По крайней мере, Эпименид не был автором парадокса, так же как и те, кто произнес актуальное высказывание «Я лгу». Его автором, по-видимому, является *посторонний интерпретатор*, который обращает внимание на этот словесный эпизод и решает представить его в виде апории, выступая своеобразным хакером, подвешивающим когнитивную систему «ради искусства» и себя в нем. Как это возможно?

КОНСТРУКЦИЯ ПАРАДОКСА: СВЕДЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОГО ФАКТА К ЛОГИЧЕСКОМУ

Это становится возможным путем сведения естественного вербального факта к логическому, т. е. лишением вербального феномена его естественных свойств. Началом интеллектуальных злключений является момент, когда посторонний интерпретатор как бы говорит: смотрите, слова [все критяне] *по необходимости* означают «множество всех критян»; заметьте также, что Эпименид — критянин, значит, он сам *по необходимости* попадает в число критян-лжецов. После этого сознание доверчивого адресата, к которому обращается посторонний интерпретатор-«хакер» (назовем его прямо — «логиком»), начинает метаться в поисках ответа на неразрешимый вопрос: включать ли Эпименида во множество всех критян в момент высказывания, т. е. — как Эпименид может быть правдивым, будучи одновременно лжецом?

НЕКОРРЕКТНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ: ЖЕСТКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ СЛОВОМ И ЗНАЧЕНИЕМ ВНЕ ГОВОРЯЩЕГО НЕТ

Другими словами, логик устанавливает *жесткую неправомерную связь между словами [все критяне] и самим говорящим* Эпименидом и требует, чтобы этой связи придерживались адресаты, аргументируя необходимость так поступать тем, что именно этого требуют *сами слова*, — они, якобы, самореферентны и соответствуют фактам. Некорректность процедуры состоит в том, что связь между словесной формулой, фактами и когнитивным содержанием, или между словом, вещью и мыслью, признается однозначной. Однако именно эту ситуацию, к которой обязывает логическая процедура, следует элиминировать за отсутствием реального коммуникативного содержания: *Эпименид не мог сам путаться в том, что сам же хотел совершить посредством говорения*. В любом случае он производил *определенное* осмысленное действие, в содержании которого логика призывает мучительно сомневаться, отсылая к мнимо самозначным словам. Именно таких условий коммуникации невозможно найти в действительности: *значат всегда не слова, а целенаправленные действия говорящего, которые имеют место в реальном коммуникативном процессе и которые искусственно элиминированы в логическом способе представления вербального факта*. Говорящему необходимо повлиять на адресата и, соответственно, сформировать свое действие вполне определено для исполнения назначенной коммуникативной задачи. Если его намерение состояло лишь в том, чтобы оставить адресата в замешательстве, то сделать это можно любым способом, например, сказав «Входить сюда категорически запрещено. Входи!». Или — создать ситуацию, в которой об Эпимениде становится известным не тот факт,

что он критянин, а что *он уже умер, когда говорил*, или что *он не умел говорить, когда столь критически высказывался о критянах*. Такие коммуникативные стратегии действительно существуют, но не рассматриваются в качестве парадоксов, хотя по «логической» конструкции они в точности соответствуют парадоксу лжеца. Заметно, что, когда сознание адресата оказывается перед «фактом» типа «Когда он говорил, он молчал», как раз и наступает та самая апория, которая нужна «хакеру»-логику.

ПАРАДОКС ЛЖЕЦА КАК КОММУНИКАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Итак, сформулировал парадокс тот, кто заметил, что Эпименид был критянином, — т. е. логик, привлечший внимание к факту, что автор высказывания входит во множество лжецов, о которых сам говорит. Формулировка парадокса, как и все актуальные вербальные факты, предстает коммуникативным действием, которое организовал говорящий-«хакер» и которое ему зачем-то необходимо. Он создает фрейм, в котором (или по которому) развивается мысль адресата, обнаруживающего, в конце концов, себя в тупике: «кто-то, зная, не знал; говоря правду, лгал, и пр.». Главными инструментами сценария оказываются логические *самозначащие объективные слова и факты*, которые, заметим, в коммуникативной реальности противостественны.

НЕ ЗАКОНЫ ЯЗЫКА, А ЦЕЛИ ГОВОРЯЩЕГО

Иначе говоря, логик предлагает адресату набор правил, которым нужно следовать для того, чтобы оказаться в полной растерянности. По-видимому, стоит заметить, что предложенные правила не существуют сами по себе, а назначаются заинтересованным участником коммуникации.

Как не значат сами по себе слова и факты, так не значат ничего сами по себе логические инструкции: они изобретены говорящим-«хакером». Важно понять его личные цели и сформулировать ввиду них собственные, по мере вовлечения данного эпизода в актуальную коммуникативную ситуацию. Предложенные правила (фреймы) можно пересмотреть, отменить, нарушить, назначить новые и пр. То есть — не стоит делать вид, что западня, которую участники коммуникации сами создали и в которую добровольно попали, — безвыходная и что она существует «от природы». Другими словами, не сами элементы объективно составляют объективные множества, а мыслящий коммуникант актуально назначает единства, и в них по мере лично осознанной актуальности включает единицы на основании назначенных (выделенных) признаков.

Так, при обращении отца к семилетней девочке последняя делает вид, что уже заснула. Однако он знает, что та не спит, и, подходя к ней, произносит: «Если малыш спит, он скажет «Мяу» или «Гав», если же он не спит, он ничего не скажет». Девочка некоторое время лежит неподвижно. Разговор тем не менее не прекращается: «Это значит, что малыш не спит. Тогда вставай и выпей лекарство». Девочка, желая, скорее, посмеяться (а лекарство ее вовсе не пугает), говорит «Мяу», чем с очевидностью себя выдает.

Понятно, что правила, назначенные отцом, нужны ему для определенной цели — сделать очевидным, что его маленькая дочь не спит. Она это понимает и сперва, не желая по ним играть, назначает свои правила: убедить в том, что она спит, можно только всем своим спящим видом. Но отец претворяется, что делает выводы из назначенных им же самим логических посылок: выходит, что дочь не спит и должна вставать. Девочка решает долее не играть по своим

правилам и не претворяться (хотя могла бы), а рассмеяться, говоря «Мяу» — тем более, что ей уже известен подобный эпизод из сказки про братца Кролика и братца Лиса. Как видно, все фреймы назначены с определенной целью; имеет место свобода соглашаться или не соглашаться с ними в актуальной ситуации; все слова представляют собой действия.

В том же акциональном смысле обращался когда-то к неким слушателям Эпименид. Апостол Павел, подтверждая свободу интерпретирования, понял его слова как полноценное вербальное действие и истолковал недвусмысленно:

«Из них же самих один стихотворец сказал: “Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые”. Свидетельство это справедливо» (Тит. 1:12—13).

Но логик стал искать в словах и фактах мнимую присутствующую в них истинность или ложность, независимо от самого Эпименида-говорящего, поскольку объективные слова «языка» (или объективный «язык» слов) вкупе с «объективными» фактами всегда считались самореферентными, или самозначными. Так в тесном единстве логики и грамматики возникает парадокс, сам автор которого, похоже, некогда всерьез поверил в его самозначность, исповедуя классический подход к лингвистическому материалу. Кажется, сами логики и грамматисты не заметили, что западня, в которой они оказались, ими самолично создана в ответ на собственное желание в нее попасть.

ГЛАВНЫЙ ЛЖЕЦ

Как видно, главным «лжецом» оказывается «язык», на логико-грамматическую самозначность которого опирается классическая схема описания, требуя подчинения этому

центральному постулату («самозначности») во всех исследовательских и истолковательных процедурах. По-видимому, в этом состоит главная инсинуация, невольно организованная традиционной логической и грамматической теорией. В действительности нет ни самозначности «языка», ни самого «языка» — вернее, для моделирования речевой и мыслительной реальности, в которой главным выражаемым/понимаемым является личное действие коммуниканта, эти абстракции оказываются не эффективными.

ТЕОРЕМА ПАТНЭМА

ФОРМУЛИРОВКА

Ценным самоизобличающим свидетельством логики (и построенной на ней грамматики) является на сегодняшний день известная теорема Патнэма (1980 г.):

«Теорема. Пусть L будет язык с предикатами F_1, F_2, \dots, F_k (необязательно одноместными). Пусть I будет интерпретацией, в смысле приписывания интенционала каждому предикату в L . Тогда, если I не является тривиальной в том смысле, что, по крайней мере, один предикат имеет экстенционал, который не является пустым или всеобщим, по крайней мере, в одном возможном мире, существует вторая интерпретация J , которая не согласуется с I , но которая делает те же предложения истинными в каждом возможном мире, в котором их делает истинными I »²⁹¹.

В более лингвистической формулировке теорема выглядит следующим образом:

²⁹¹ Лакофф Дж. Указ. соч. С. 330.

«Ни одна точка зрения, которая фиксирует только истинностные значения целостных предложений, не может фиксировать референты, даже если она определяет истинностные значения предложений в любом возможном мире»²⁹².

Сам Патнэм поясняет содержание теоремы в довольно экстравагантной форме. В приводимом примере он отмечает, что когда некто говорит о кошках и коврике («кошка сидит на коврике»), он, быть может, имеет в виду вишни и дерева («вишня висит на дереве»). Различие в указании не будет проявляться для двух этих интерпретаций, поскольку все, в чем уверен один человек (некоторая кошка находится на некотором коврике), выражается предложением, которое в интерпретации другим человеком есть нечто, в чем уверен уже он (некоторая вишня висит на некотором дереве). Всякий раз, когда один человек говорит о кошках, он может иметь в виду то, что другой человек называет вишнями, и наоборот. И если один человек собирался бы сказать, что кошка находится на коврике, другой человек согласился бы, поскольку считал бы, что первый человек говорит о том, что вишни находятся на дереве. Иными словами, может быть достигнуто полное согласие между двумя людьми относительно того, каковы факты мира, т.е. относительно того, какие предложения являются истинными, и все же тот факт, что когда один человек говорит о кошках, другой говорит о том, что первый называет вишнями, может не проявиться ни в чем²⁹³.

²⁹² *Putnam H.* Reason, Truth and History. Cambridge, 1981. P. 33. Здесь и далее перевод цитат Л.Б. Макеевой.

²⁹³ См. *Хакинг Я.* Представление и вмешательство. М., 1998. С. 114—115.

СМЫСЛ ТЕОРЕМЫ

Смысл теоремы, как видно, сводится к тому, что от высказывания невозможно ожидать фиксированного однозначного соответствия «знак—значение» — будь то математический или словесный «язык»; одни и те же предметные знаки не гарантируют самождественности — они могут означать разное для различных носителей (или пользователей) одного и того же «языка»; не существует независимых референций единиц «языка».

Используя уже приведенную аналогию, можно сказать, что, согласно теореме, кубики-слова (высказывания) *не слиты* с нарисованными картинками-значениями, которые в действительности всякий раз как бы наносятся на них извне; кубики-слова в процессе смыслообразования должны быть наделены внешним для них смыслом. По отношению к суждению прямая корреляция «знак-значение» не правомерна, поскольку единицы «языка» (математического или словесного), использованного для оформления суждения, подвержены *не закрепленной* за ними интерпретации. При этом различные интерпретации одного и того же (по форме) суждения могут обладать истинностью. Внутреннее различие суждений ввиду единой формы может не обнаруживаться вовне, поскольку единая словесная формула может устраивать всех, будучи выразителем сразу нескольких истинностей.

НЕДОУМЕНИЕ

Теорема, таким образом, оставляет сторонников схемы «знак—значение» в полном недоумении: на каком основании, в таком случае, происходит естественная коммуникация, если факты естественного языка не имеют определенной (и, соответственно, понимаемой) интерпретации?

Этот вопрос, похоже, должен ставить в тупик и самого Патнэма, поскольку теорема предполагает два прямо противоречащих друг другу утверждения:

1. Язык L , заданный условиями теоремы, не может быть бессмысленным, поскольку *он должен иметь определенную референцию для выражения смыслов* (для этого «язык» и нужен «пользователям»).

2. *Нет языка с фиксированной референцией.*

Другими словами, постулирование языка L в качестве исходных данных теоремы необходимо Патнэму для того, чтобы представить затем *осмысленное предложение*, созданное на этом языке. Обладая предикатами $F_1, F_2 \dots F_k$, язык L *обеспечивает создание такого предложения*. Парадоксальным образом доказываемое утверждение состоит именно в том, что предложения, созданные на этом языке, могут иметь *несколько истинных интерпретаций*, что, в свою очередь, равносильно признанию, что *язык L не может быть средством создания определенных (в смысловом отношении) предложений*, понимание которых должно быть тождественно, стабильно и в целом достаточно хотя бы для совместных практических действий, совершаемых пользователями этого «языка» (заметим, что примером нетождественной интерпретации как раз могут служить столь далекие друг от друга «кошки» и «вишни», которые ни в коем случае нельзя признать достаточным основанием для совместной практики).

НУЖЕН ЛИ ТАКОЙ ЯЗЫК?

Таким образом, исходные данные теоремы отрицаются доказываемым утверждением: *язык, обеспечивающий предложение «кошка сидит на коврике», отрицается признанием того факта, что данное предложение может означать*

«вишня висит на дереве». Пригоден ли для чего-то или для кого-то — в особенности для реальных пользователей — такой «инструмент передачи мысли», в котором под любым знаком может подразумеваться едва ли не любой референт? Доказанная теорема становится вариантом парадокса лжеца: *осмысленное предложение создано на языке, на котором нельзя создать осмысленного предложения.*

Такое следствие теоремы, по-видимому, не предполагалось самим Патнэмом. Однако интерес представляет не столько строгая внутренняя когерентность концепции, которая всегда может быть признана ложной или сомнительной по предъявленным основаниям (заметим, что как само доказательство, так и логические следствия теоремы спровоцировали различные реакции, не только положительные, но и отрицательные), сколько то, какое значение сам автор придавал отрицанию фиксированной референции в высказывании. Несмотря на очевидную противоречивость, в суждении Патнэма обнаруживается вектор, адекватный «языковой» и мыслительной реальности. Попытаемся показать это и в итоге внести коррективы в предложенную автором формулировку. Для этого сначала необходимо кратко представить всю философскую программу Патнэма, в которую вписывается его теорема²⁹⁴.

КРИТИКА МЕТАФИЗИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА («ЭКСТЕРНАЛИЗМА»)

С 70-х годов прошлого века в философской концепции Патнэма центральное место занимает последовательная критика так называемого «метафизического реализма»

²⁹⁴ При изложении философской программы Патнэма (на сс. 384—397) использована книга: *Макеева Л.Б.* Философия Х. Патнэма. М., 1996.

(«экстернализма»), в основе которого лежит корреспондентная теория истины. В реконструкции Патнэма атакуемый им метафизический реализм сводится к следующей совокупности положений:

— признание независимой от сознания реальности. Согласно Патнэму, метафизический реализм предполагает, что «мир состоит из некоторой фиксированной совокупности независимых от сознания объектов»²⁹⁵;

— объективное понимание истины. По мнению Патнэма, метафизический реалист считает, что истина — это «некоторый вид отношения соответствия между словами и знаками мыслей, с одной стороны, и внешними предметами и множествами предметов, с другой стороны»²⁹⁶;

— независимость истины от позиции «наблюдателя». Согласно Патнэму, такое понимание истины предполагает взгляд на мир с точки зрения Бога (находящегося вне мира и способного сравнивать объекты мира и мысли человека), или, иначе говоря, метафизический реализм считает истину независимой от наблюдателя;

— единственность истинного описания. Метафизический реализм, согласно Патнэму, связан с признанием возможности только одной истинной картины мира или, иначе говоря, только одного описания мира, каков он есть на самом деле.

Для того чтобы предупредить возражение, что не все философы, придерживающиеся корреспондентной теории истины, признавали существование независимых от сознания вещей, что некоторые из них понимали истину как соответствие данным опыта, Патнэм отмечает, что такая трактовка истины предполагает наличие в человеческом

²⁹⁵ *Putnam H.* Op. cit. P. 49.

²⁹⁶ *Ibid.* P. 49.

опыте таких компонентов, которые ни в коей мере не оформлены понятиями или языковыми средствами, то есть таких компонентов, которые «допускают только одно описание, независимое от всех концептуальных средств»²⁹⁷. А поскольку в философии и психологии убедительно показано, что в человеческом опыте нет ничего, что не было бы «осквернено» концептуализацией, то Патнэм полагает, что точку зрения такого «наивного» эмпиризма можно не учитывать при философской экспликации корреспондентной теории истины. Патнэм отмечает, что

«...невозможно найти ни одного философа до Канта, который не был бы метафизическим реалистом»²⁹⁸.

Разногласия между философами касались вопроса о природе реально существующего, а не понимания истины. Создание наиболее древнего варианта корреспондентной теории истины Патнэм приписывает Аристотелю и называет этот вариант теорией референции через подобие (*similitude theory of reference*). Согласно теории референции через подобие, отношение между ментальными репрезентациями (фантазмами по Аристотелю) и внешними объектами, на которые указывают фантазмы, в буквальном смысле является отношением подобия. Согласно Патнэму, Аристотель понимал это подобие как наличие общей формы у фантазма и внешнего объекта.

Описывая дальнейшую историю корреспондентной теории истины, Патнэм отмечает, что в XVII в. Локк и Декарт подвергли критике теорию подобия в отношении так называемых «вторичных качеств» (под которыми понимаются цвет, вкус и т. д.), сохранив ее для «первичных

²⁹⁷ Putnam H. Op. cit. P. 54.

²⁹⁸ Ibid. P. 57.

качеств» (таких, как форма, движение и расположение). Однако уже Беркли обнаружил очень неприятное следствие теории референции через подобие: из нее вытекало, что не существует ничего кроме ментальных сущностей («душ и их идей»). Этот вывод Беркли сделал на том основании, что выдвинутый Локком аргумент против вторичных качеств верен и для первичных качеств. Согласно Беркли, достаточно спросить, имеет ли мой образ стола ту же самую длину, что и сам стол, чтобы понять всю абсурдность вопроса. Отсюда вытекало, что ничто не может быть подобным ощущениям или образам, кроме других ощущений или образов. Этот вывод, отмечает Патнэм, поставил философов, которые не захотели последовать за Беркли в субъективный идеализм, перед необходимостью предложить другое понимание истины. Согласно Патнэму, выполнение этой задачи выпало на долю Канта, который первым сформулировал концепцию истины, опирающуюся на интерналистскую перспективу. Во-первых, Кант показал, что, говоря о каком-либо объекте, мы никогда не описываем его таким, каков он есть «сам по себе» независимо от его воздействия на нас, существ с определенной рациональной природой и биологической конституцией. И хотя Кант не сомневался в существовании независимой от сознания реальности (называя ее элементами вещами-в-себе или ноуменами) и утверждал, что придерживается корреспондентной теории истины, он, по мнению Патнэма, в действительности отказался от идеи соответствия между вещами-в-себе и вещами для-нас.

Внутренний реализм («интернализм»)

Взамен «догматичного» и повинного в создании неразрешимых философских проблем метафизического реализма

(«экстернализма») Патнэм, стремясь остаться на «реалистической платформе», предложил новую концепцию истины, которую он назвал «внутренним реализмом», или «интернализмом».

Согласно Патнэму, интерналистскую концепцию истины (или интерналистскую перспективу) можно сформулировать в виде следующей совокупности тезисов.

— В отличие от метафизического реалиста интерналист считает, что

«...вопрос о том, из каких объектов состоит мир, имеет смысл задавать только в рамках некоторой теории или описания»²⁹⁹.

Это означает, поясняет Патнэм, что

«“объекты” не существуют независимо от концептуальных схем. Мы разрезаем мир на объекты, когда вводим ту или иную схему описания. Поскольку и объекты, и знаки являются одинаково внутренними по отношению к схеме описания, то можно сказать, что к чему относится»³⁰⁰.

— Согласно интерналисту, истина — это

«некоторый вид (идеализированной) рациональной приемлемости, некоторый вид идеальной когерентности наших представлений друг с другом и с нашим опытом, поскольку этот опыт находит выражение в нашей системе представлений»³⁰¹.

Поэтому единственным критерием для установления того, является ли некоторое утверждение фактом (т. е. является ли оно истинным), служит его рациональная

²⁹⁹ Putnam H. Op. cit. P. 49.

³⁰⁰ Ibid. P. 52.

³⁰¹ Ibid. P. 49—50.

приемлемость. Патнэм отмечает, что понимает это в буквальном смысле:

«так, если можно рационально принять, что картина прекрасна, то это может быть фактом, что картина прекрасна»³⁰².

Согласно Патнэму, наши концепции когерентности и рациональной приемлемости глубоко укоренены в нашей психологии, зависят от нашей биологии и культуры и ни в коей мере не являются «ценностно независимыми» (value free).

— Согласно интерналисту,

«не существует точки зрения Бога, которую мы можем знать или можем представить; существуют только разнообразные точки зрения конкретных людей, отражающие их разнообразные интересы и цели, которым служат теории и описания»³⁰³.

— В отличие от метафизического реалиста интерналист полагает, что возможно множество истинных теорий или описаний мира.

Сравнивая интернализм и экстернализм, Патнэм считает, что сама философская реконструкция гносеологической позиции, представленной в метафизическом реализме, должна служить сильным аргументом против метафизического реализма, поскольку простое выявление лежащих в ее основании философских допущений свидетельствует о слабости этой позиции. Однако в своей критике Патнэм идет дальше и пытается показать, что метафизический реализм порождает неразрешимые философские трудности, которые легко устранить, если перейти

³⁰² Putnam H. Op. cit. P. 50.

³⁰³ Ibid. P. 5

на позиции интернализма. К числу этих трудностей, по мнению Патнэма, относится невозможность избежать скептицизма в отношении человеческого познания, принципиальная непостижимость, с позиции метафизического реализма, природы референции, необъяснимость разнообразных «загадок» в отношении между сознанием и мозгом и т. д.

КРИТИКА МАГИЧЕСКОЙ РЕФЕРЕНЦИИ

Проблема референции закономерно возникает при рассмотрении экстерналистских теорий, в которых явно или неявно присутствует допущение о необходимой связи между репрезентациями и их референтами. Патнэм называет такие теории магическими, видя в них отголосок представлений примитивных народов о таинственной связи между именами и их носителями, благодаря которой знание «истинного имени» дает власть над его обладателем. По мнению Патнэма, магическая теория референции постулирует некоторую способность сознания (например, интенциональность), благодаря которой слова и другие ментальные образования могут указывать на (или обозначать) определенные объекты.

Несостоятельность этой теории для физических репрезентаций, по мнению Патнэма, с полной очевидностью вытекает из той возможной ситуации, когда из двух совершенно одинаковых физических объектов один является репрезентацией, а второй — нет. Например, кривая, прочерчиваемая муравьем в песке и по виду напоминающая карикатуру на Черчилля, не является его изображением, хотя будь эта же карикатура выполнена художником, она была бы репрезентацией. Это означает, что физический объект, выступающий в качестве репрезентации другого

объекта, не имеет с последним необходимой связи, объясняющей отношение референции.

Согласно Патнэму, этот же вывод можно сделать и в отношении ментальных репрезентаций. Предложенное им обоснование представляет собой серию научно-фантастических историй, иллюстрирующих тот факт, что одни и те же ментальные образования в одних случаях обладают референцией, а в других случаях — нет. Так, Патнэм предлагает допустить, что существует планета, населенная людьми, которые во всем похожи на нас, за тем лишь исключением, что они никогда не видели деревьев. Однажды пролетающий мимо космический корабль роняет на эту планету изображение дерева. Вполне вероятно, что после длительного изучения этого рисунка у жителей указанной планеты складывается точно такой же ментальный образ, каким обладаем и мы. Но если наш ментальный образ является репрезентацией дерева, то для жителей данной планеты он является репрезентацией какого-то странного объекта.

Патнэм конструирует множество аналогичных примеров для доказательства того, что слова и другие ментальные образования не обладают необходимой референцией. В заключение он отмечает, что если бы эти примеры имели место в действительности, они были бы

«замечательным доказательством важной концептуальной истины, состоящей в том, что даже большая и сложная система репрезентаций как вербальных, так и визуальных, не имеет внутренней, встроенной, таинственной связи с тем, что она репрезентирует»³⁰⁴.

³⁰⁴ Putnam H. Op. cit. P. 5

КОНЦЕПТЫ

Но если магическая теория референции не верна, если ментальные репрезентации не обладают необходимой референцией, то возникает вопрос — благодаря чему они в некоторых случаях все же обладают референцией? Согласно Патнэму, это происходит потому, что человек обладает концептами (или понятиями). Концепты же не являются

«ментальными репрезентациями, которые с необходимостью указывают на внешние объекты, по той серьезной причине, что они вовсе не являются ментальными репрезентациями. Концепты — это знаки, употребляемые определенным образом»³⁰⁵.

По мнению Патнэма, обладать концептом (и, следовательно, понимать) — значит быть способным использовать знаки ситуативно надлежащим образом. В этом смысле референция не может быть отделена от способностей носителей языка. В частности, референция предполагает способность узнавать и реагировать на видимые объекты.

КАУЗАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Кроме того, Патнэм подчеркивает необходимость каузального взаимодействия с объектами, выступающими в качестве референтов терминов. Согласно ему, люди могут не только думать о различных объектах, но и способны реагировать на них, манипулировать ими и использовать их в своих целях, поскольку существует глубинная связь между мыслями человека о различных предметах и его невербальными действиями в отношении этих объектов. При отсутствии этой связи любой разговор превращается в синтаксическую игру,

³⁰⁵ Putnam H. Op. cit. P. 8.

«которая, конечно, похожа на разумную речь, но не более, чем кривая, прочерчиваемая муравьем, похожа на язвительную карикатуру»³⁰⁶.

«Мозг в сосуде»

Опираясь на эти послышки (о невозможности магической референции и о каузальном взаимодействии), Патнэм, иллюстрируя бессилие экстерналистской и эффективность интерналистской позиций, предлагает доказательство самопроверяющего характера предположения, что все человеческие существа являются мозгами в сосуде. В основе этого доказательства лежит анализ условий истинности для предложения «Я являюсь мозгом в сосуде», когда оно по допущению произносится мозгом в сосуде. Этот анализ предполагает установление референтов слов, входящих в указанное предложение. Согласно Патнэму, произнесенные мозгом в сосуде слова не могут иметь в качестве референтов внешние объекты, поскольку между этим мозгом и внешними объектами отсутствует каузальное взаимодействие, а предположение о необходимой связи между словами и их референтами является неверным. Слова, произнесенные мозгом в сосуде, могут указывать только на «воображаемые объекты» (objects in the image) или, иначе говоря, — на некоторую совокупность чувственных впечатлений. Однако, для того, чтобы предложение было истинным, входящие в него слова должны обладать референцией на *реальные* объекты. Отсюда Патнэм заключает, что предложение «Я являюсь мозгом в сосуде», произносимое мозгом в сосуде, является ложным. Таким образом, допустив истинность предположения «Мы являемся мозгами в сосуде», мы в ходе рассуждения пришли

³⁰⁶ Putnam H. Op. cit. P. 11.

к его ложности, а это свидетельствует о том, считает Патнэм, что оно является самопроверяющимся.

ОБЪЕКТЫ ВЫДЕЛЯЮТСЯ БЛАГОДАРЯ СОЗНАНИЮ

Как видно, доказательство строится на различии реальных и воображаемых объектов. Для экстерналиста это различие становится критическим, в то время как для интерналиста это различие снимается: с интерналистской точки зрения, поскольку объекты и знаки являются внутренними по отношению к схеме описания, любой знак,

«используемый определенным образом и определенным сообществом пользователей, может соответствовать определенным объектам в рамках концептуальной схемы этих пользователей»³⁰⁷.

В этом случае, считает Патнэм, определение референции сводится к совокупности тавтологий типа: «заяц» указывает на (обозначает) зайцев; «инопланетянин» указывает на инопланетян и т. д. Более того, согласно Патнэму, интерналист может отбросить предположение, что все человеческие существа являются мозгами в сосуде, как «чисто лингвистическую конструкцию» или «историю», поскольку нельзя найти наблюдателя (кроме Бога), с точки зрения которого эта история могла бы быть рассказана. Само допущение, что человеческие существа являются мозгами в сосуде, «с самого начала предполагает понимание истины с точки зрения Бога»³⁰⁸. Это означает, по мнению Патнэма, что с позиции внутреннего реализма легко опровергнуть скептический вывод, выраженный в предположении о мозгах в сосуде.

³⁰⁷ Putnam H. Op. cit. P. 52.

³⁰⁸ Ibid. P. 50

Напротив, для метафизического реализма, по мнению Патнэма, предположение о мозгах в сосуде представляет непреодолимую трудность. Пытаясь обосновать референцию наших терминов на реальные объекты, экстерналист, по словам Патнэма, сталкивается со следующей проблемой:

«Вовне находятся объекты, имеется сознание/мозг, осуществляющее(ий) мышление/вычисление. Каким образом знаки осуществляющего мышление человека вступают в единственное соответствие с объектами и множествами объектов, находящихся вовне?»³⁰⁹.

Для ответа на этот вопрос экстерналисту нужно раскрыть природу указанного отношения «соответствия». По мнению Патнэма, экстерналист мог бы попытаться раскрыть природу соответствия с помощью каузальных связей между знаками и их референтами.

Однако, согласно Патнэму, каузальное взаимодействие не раскрывает природы референции, даже если предположить существование «каузальных цепочек соответствующего вида». Для обоснования этого утверждения Патнэм рассматривает, как устанавливается референция на примере таких простых слов, как «лошадь» или «заяц». Совершенно очевидно, что экстенционал слова «лошадь» содержит не только лошадей, с которыми мы имели каузальное взаимодействие, но и всех животных того же самого вида. Однако, как отмечает Патнэм, выражение «того же самого вида» утрачивает смысл вне категориальной системы, которая определяет, какие свойства выражают сходство, а какие — нет:

³⁰⁹ Putnam H. Op. cit. P. 51

«То, что делает лошадей, с которыми я не имел взаимодействия, принадлежащими к “тому же самому виду”, что и лошади, с которыми я имел взаимодействие, — так это тот факт, что и первые, и вторые являются лошадьми»³¹⁰.

Согласно Патнэму, с позиции метафизического реализма установление референции терминов выглядит, как если бы вначале имелись объекты сами по себе, а затем человек с помощью некоторого «лассо» заарканывал часть из них (то есть тех лошадей, с которыми он имел каузальное взаимодействие). Тогда возникает проблема, как охватить словом оставшуюся часть объектов (например, тех лошадей, с которыми не было каузального взаимодействия). Решить эту проблему, по мнению Патнэма, метафизический реалист может, если только примет допущение, что слово автоматически покрывает оставшиеся объекты, поскольку все объекты являются «самоидентифицирующимися». А это означает, что природа сама, а не человек сортирует вещи по родам. Но, как отмечает Патнэм, объекты, из которых состоит мир, в большей степени являются

«продуктами нашего концептуального изобретения, а не “объективного” фактора в опыте, фактора, независимого от нашей воли»³¹¹.

Поэтому хотя Патнэм и признает, что в определенном смысле мир состоит из самоидентифицирующихся объектов, однако, по его мнению, эти объекты нельзя считать независимыми от сознания.

³¹⁰ Putnam H. Op. cit. P. 53.

³¹¹ Ibid. P. 54.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕОРЕМЕ

Все сказанное передает ключевые позиции патнэмовской философии языка. Стратегию критического наступления на метафизический реализм, которая нашла отражение в приведенном аргументе («мозг в сосуде»), продолжает упомянутая теорема, или теоретико-модельный аргумент. В центре и того, и другого аргументов стоят проблема референции и анализ тех трудностей, с которыми связано решение этой проблемы. В целом теорема стремится обосновать положение о невозможности выделить какое-либо единственное отношение референции между терминами и их референтами в качестве отношения соответствия. Другими словами, основная цель этого аргумента состоит в том, чтобы доказать тезис о неопределенности референции. С точки зрения Патнэма, этот результат является хорошим опровержением метафизического реализма, который связан с признанием одного «действительного» отношения соответствия между языком и реальностью. В конечном счете, для обоснования неадекватности экстерналистской точки зрения Патнэм желает показать, что

«даже если мы имеем ограничения какой бы то ни было природы, определяющие значение истинности каждого предложения языка в каждом возможном мире, тем не менее референция отдельных терминов остается неопределенной»³¹².

По мнению Патнэма, неопределенность референции означает, что можно задать абсолютно различные интерпретации языка, которые тем не менее сохранят значение истинности каждого предложения в каждом возможном мире в неизменном виде.

³¹² *Putnam H. Op. cit. P. 33.*

Именно эта теорема, как уже было отмечено, дает основание для сомнений: 1) либо язык, на котором создано осмысленное предложение «Кошка сидит на коврике», исполняет свои задачи, т. е. служит пользователям для адекватного взаимодействия в (специальном) коммуникативном пространстве, — и тогда невозможно, чтобы единицы такого языка обозначали все что угодно, в т.ч. невозможно, чтобы указанное предложение обозначало «Вишни висят на дереве»; 2) либо приходится признать, что язык, данный в условиях теоремы, не исполняет своей задачи, т.е. создает непонятные (с неопределенной референцией и множественными истинностями) предложения, и тогда невозможно считать его «языком с предикатами $F_1, F_2... F_k$ » (т.е. невозможно считать, что в теореме «дано» нечто определенное и бесспорное для построения доказательства).

ПУЩЕЕ НЕДОУМЕНИЕ

Усугубляет неразбериху и то, что, несмотря на видимую противоречивость, даже не вдаваясь в подробности доказательства теоремы (которое, заметим, строится на основании простой таблицы истинности), а следуя всего лишь здравому смыслу, можно без лишних сомнений утверждать, что 1) высказывание «Кошка сидит на коврике» вполне соответствует определению предложения русского (в данном случае) языка (а значит, тем самым «языком с предикатами» может быть и русский, который *вполне справляется со своими обязанностями «языка»*), и что 2) любое предложение русского языка, как, например, «Кошка сидит на коврике», *может иметь столь же различные, сколь и многочисленные интерпретации*. Как видно, в правомерных утверждениях, взятых по отдельности, можно подозревать правоту Патнэма, но их соединение (что

и представляет собой теорема) дает откровенное противоречие. В чем же дело? Не новый ли парадокс?

АБЕРРАЦИЯ: «ЯЗЫК» В СИСТЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Для разрешения недоразумения попытаемся применить уже испытанный инструментарий. По-видимому, все дело в том, что небольшое умозаключение, которое представляет собой теорема, *содержит сразу несколько аберраций, свойственных предметному подходу к лингвистическому материалу*, а именно: античное понятие о «языке» как об автономном комплексе «словаря и грамматики», всецело предметное понимание лингвистического факта и взгляд на него со стороны адресата (а не порождающего речь говорящего), поэлементный (пословный) подход к вербальному феномену, в частности, к процессу смыслообразования, признание возможности рассматривать вербальную структуру вне актуальной коммуникативной ситуации и выделять предложение в качестве минимальной смыслообразующей единицы речи, логическое представление предложения, в частности, признание свойства логической истинности за всеми вербальными фактами, полное отсутствие говорящего как главного «актанта» в вербальной структуре, полное отсутствие идеи действия в коммуникативном пространстве и др.

Другими словами, все сильные позиции философии Патнэма, спроецированные в теореме на лингвистический материал, оказываются перечеркнутыми классическими «языком» и логикой. Как видно, ни язык, ни логический подход невозможно сочетать с идеями субъектности и свободы говорящего, не впадая в противоречие. Теорема сводит в одной точке магистральные векторы Патнэма, но не достигает непротиворечивого синтеза.

ОТСУТСТВИЕ ОДНО-ОДНОЗНАЧНОГО СООТВЕТСТВИЯ МНОЖЕСТВ

1. В основании философии Патнэма (критического периода) лежит неприятие предметного схематизма, присутствующего в экстерналистской концепции мышления. Патнэм констатирует более сложное отношение между знаком и сознанием, чем прямолинейная схема «знак—значение». Так, к наиболее бесспорным положениям, составляющим основание патнэмовских воззрений, нужно отнести последовательный номинализм: объекты, из которых состоит мир, в большей степени являются

«продуктами нашего концептуального изобретения, а не “объективного” фактора в опыте, фактора, независимого от нашей воли»³¹³.

Даже те объекты, которые на первый взгляд кажутся самоидентифицирующимися, нельзя считать независимыми от сознания. Кроме того, признавая, что истинность состоит в рациональной приемлемости, Патнэм готов признать даже множественность истинных описаний — т. е. таких, которые будут приемлемыми одновременно.

Как видно, этими положениями недвусмысленно вводится «изобретающий» и «принимающий», действия которого в процессе концептуального «разрезания» мира и в процессе «приятя/неприятя» совершаются осознанно, избирательно, что означает свободу действующего.

Эти условия, признаваемые Патнэмом, фактически должны препятствовать тому, чтобы поместить в эту недетерминированную сознательную перспективу «язык», понимаемый в качестве предметной референтной системы, обладающей функцией указания на объекты (как ее,

³¹³ *Putnam H.* Op. cit. P. 54.

тем не менее, понимает Патнэм). Эти объекты, поскольку они *назначаются* сознанием, не могут составлять нечто определенное, соответствующее тому предметному общеизвестному инструменту, который используется для указания, т.е. «языку».

Другими словами, даже если принимать язык как инструмент референции (как это делает Патнэм), то для его работы не найдется тождественного материала, который необходимо в действительности считать личным, изменчивым, ситуативным (как это делает и сам Патнэм, признавая его индивидуальную «нарезанность» и тем самым отрицая стабильные объекты референции). Как видно, возникает теоретическая ситуация, в которой следует констатировать отсутствие одно-однозначного соответствия между элементами множества предметных единиц «языка» и теми значениями, которые он якобы выражает. Если нет соответствия, невозможно констатировать и «язык» как систему соотнесения этих множеств. Или, другими словами, абстракция «язык» не может быть подтверждена и поддержана никакой достаточно определенной функцией как упорядоченным соответствием элементов множеств.

Невозможность логического представления лингвистического факта

2. Патнэм признает интерпретируемость предложений «языка». В том, как осуществляется процесс интерпретации, дает возможность убедиться сама теорема. Главным в этой процедуре становится *логическое* представление предложения, которое предполагает, что 1) в качестве единицы рассмотрения взято суждение, и что 2) оно изъято из естественного коммуникативного процесса. Другими

словами, естественная единица речевого процесса в логическом представлении становится *самозначной* структурой, выражающей «законченную мысль», которую можно верифицировать как истинное или ложное. Именно так поступает Патнэм при доказательстве теоремы, рассматривая псевдо-актуальное предложение «Кошка сидит на коврике». Его псевдо-актуальность следует из полной неопределенности того, кто произнес (написал) данное предложение, когда, с какой целью, кто адресат, какая экстралингвистическая реальность имеется в виду и пр. Сам Патнэм не задается этими вопросами и по мере того воспроизводит классическую схему описания вербального факта: редложение, согласно такому видению, представляет собой предметную структуру «языка», созданную по грамматическим правилам, которая сама по себе может иметь «значения истинности/ложности».

В ответ на это следует заметить, что (1) в естественном коммуникативном процессе присутствуют не только суждения. Более того, все «естественно коммуникативные» суждения принципиально ничем не отличаются от прочего лингвистического материала: все актуальные высказывания представляют собой действия говорящего, для которого главным является не констатация истин, а искомое воздействие на мыслимых адресатов в мыслимом коммуникативном пространстве. Подлежащим любого коммуникативного акта является мыслимая ситуация, в которой говорящий избирает цель, предположительно достижимую в ходе речевого акта. Все сказанное им вслед за тем становится предикатом ситуации. Так, актуальный вопрос имеет подлежащим ситуацию неизвестности, которую говорящий прежде констатировал в себе и решил совершить действие для ее разрешения (это была его «мысль»). Все сказанное вслед

за тем представляет собой целевое влияние на ситуацию, в которой главным деятелем выступает он, говорящий, организуя весь синтаксис коммуникативного взаимодействия. Адресат вопроса воспринимает попытку воздействия как очевидный факт — существование высказывания сомнению не подлежит. То, в чем действительно можно усомниться — это мера и значение *искренности* вопроса: спрашивающий может задавать вопрос не только с тем, чтобы узнать, но и с тем, чтобы отвлечь внимание, что-то косвенно показать, поддержать разговор и пр. о возможность неискренности (или «разнонаправленности») такого языкового действия обозначает собой дистанцию от мысли до воздействующего слова, и это расстояние существует всегда, поскольку «мысль» не предполагает воздействия на адресата, а «слово» предназначено только к такому воздействию, т.е. к реализации интересов говорящего в коммуникативном пространстве.

В этом отношении характерно то, что все логические попытки редуцирования вопросов к утверждениям равносильны отрицанию коммуникативной природы словесного материала: невозможно признать, что задавание вопроса свидетельствует о факте того, что «я задаю вопрос о том, что...», ввиду полной ненужности такого свидетельства. Факт задавания вопроса и без того очевиден, поскольку говорящий физически (визуально и/или акустически) действует, — и это не требует никаких дополнительных констатаций. Зато *вызвать такую реакцию* собеседника, результатом которой стало бы получение ответа, может только вопрос, а не утверждение (которое предполагает, что говорящий сообщает нечто известное ему).

В том же смысле не вписываются в логические рамки и актуальные *суждения*, изъятые из естественного коммуникативного процесса. «Истинное положение дел» в мире

так много, что, возмись говорящий констатировать содержащиеся вокруг «истины», силы его иссякли бы весьма скоро. В действительности ни один говорящий так не поступает: он не констатирует истины, а стремится произвести нужное воздействие на мыслимого адресата и совершает это различными способами. Поскольку все речевые действия (суждения, вопросы и пр.) коммуникативны, то (2) некоммункативный логический материал («суждение, изъятое из естественного коммуникативного процесса») теряет теоретические основания. Так, патнэмовское «Кошка сидит на коврике» в реальном коммуникативном процессе представляет собой чье-то действие, имеющее достижимую цель и, соответственно, мыслимое тождественно со стороны говорящего. Это утверждение в коммуникативной действительности не существует само по себе, его невозможно интерпретировать автономно, поскольку его произносит кто-то в каких-то целях, и, соответственно, в естественных коммуникативных условиях оно имеет единственную интерпретацию — ту, которая мыслилась говорящим. Смысл ее не в том, чтобы констатировать независимую объективную истину, а в том, чтобы кому-то с какой-то целью об этом сообщить.

В случае утверждений, как и во всех случаях использования вербальных моделей, говорящий принимает решение воздействовать на аудиторию, определяет возможность и необходимость выделения подлежащих, их связей и пр. и после этого создает факт (констатирует положение дел), «развернутый» в направлении к нему самому (говорящему) и адресату. Как вопрос принципиально не представим в тесных рамках логики (поскольку его содержание всецело субъектно и коммуникативно, лично мотивировано), так же не представимо в логической схеме актуальное

суждение: языковое коммуникативное действие со всей очевидностью содержится в суждении, но вместо истинности оно несет в себе *стимул для реакции мыслимого адресата*, которая, в свою очередь, может быть свободной и неоднозначной: можно верить или не верить сказанному, возмущаться, прощать или не замечать *такое* действие в данных обстоятельствах и пр. (в том же смысле стимул, содержащийся в вопросе, может иметь различные реакции со стороны собеседника, который вправе даже не замечать данного действия и не реагировать на обращение).

Другими словами, коммуникативно актуальные (реальные) утверждения, как и любые действия, могут быть искренними или неискренними, но они не могут быть истинными или ложными. Свойство истинности, вероятно, можно приписать «чистой мысли», представленной субъективному сознанию самим сознанием, но не коммуникативным проявлениям, коорые представлены адресату говорящим. Так, искренняя речь не тождественна истинной мысли, что верно для любого актуального вербального факта.

Таким образом, попытка Патнэма представить в теореме неопределенность предложений «языка» (их нетождественную интерпретируемость) повторяет процедуру, принятую в классической логике и логической грамматике: вербальный материал изымается из естественного коммуникативного поцесса, где актуальные вербальные модели наделены субъектными акциональными смыслами, и над ним совершаются произвольные операции. Заметно, что естественный вербальный факт, трансформированный в логический, становится искусственным объектом, который лишен первичного коммуникативного содержания, но замаскирован мнимо-самозначной

вербальной формой. На подмене коммуникативного языка логическим строится теорема.

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕФЕРЕНЦИЯ НЕВОЗМОЖНА В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ

3. Патнэм воспринимает референцию в качестве главной функции «языка». Множество референций соответствует множеству интерпретаций, из которых хотя бы две различные могут быть обе истинными. Более того, как уже было замечено, Патнэм рассматривает только суждения в качестве представителей «языка», поскольку именно референцию, которая содержится в суждениях, можно верифицировать.

Однако, если референция в «языке» становится, согласно теореме, неопределенной, то *что* же верифицируется при установлении истинности/ложности? Другими словами, Патнэм, доказывая неопределенность референции, доказывает тем самым нетождественность автономной вербальной структуры (логического объекта), а, следовательно, и невозможность установления того, на что указывает автономное предложение «языка» — т. е. неясность того, *что* следует проверять на предмет истинности или ложности: так, например, если суждение «на коврике сидит кошка» может означать «на дереве висит вишня», то невозможно определить, *что* следует верифицировать — кошку с предикатом, вишню с предикатом или что-то еще.

Заметим, что эта неясность возникает при *логической* процедуре представления лингвистического факта — в то время как в коммуникативной реальности никакой неясности относительно вишни или кошки быть не может, поскольку естественный коммуникативный процесс направлен исключительно на понимание в тождестве, вернее,

имеет единственной целью нужную говорящему реакцию адресата. Другими словами, в реальности нет логического (неопределенного) представления «фактов». Однако Патнэм считает иначе: *для него логическое предложение существует в языке, а язык существует как данность*. Тогда, согласно его теореме, следует отрицать саму возможность истинности или ложности. Но этого Патнэм уже не делает, впадая тем самым в противоречие.

Другими словами, доказать невозможность тождественной референции в «языке» означает доказать невозможность истинности/ложности предложения «языка». Но идея истинности/ложности суждения, как и сама логика, тем не менее, сохраняется в схеме Патнэма.

В целом можно отметить, что референция, понимаемая логически, не тождественна коммуникативной реальности и тому, что можно назвать коммуникативной референцией: в реальном коммуникативном процессе говорящего не интересует указание на явления и предметы, он не играет в бессмысленную игру «укажи на объект» — его интересует возможность изменить синтаксис ситуации. Так, он не указывает на кошку, которая и без того сидит на коврике и не нуждается ни в каких указаниях (тем более — если она там не сидит), а обращается к мыслимому адресату, на которого посредством данного «созданного факта» нужно, с его точки зрения, воздействовать. Объектом языкового процесса, таким образом, становится слушающий, а субъектом, как уже было отмечено, — сам говорящий. Поэтому если искусственно лишить вербальную структуру говорящего/слушающего, исчезает и реальная «референция», придающая смысл говорению, и вместе с ней — собственно речемыслительная реальность.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ РЕФЕРЕНЦИИ КУАЙНА

Подобная процедура — незаметное для исследователя усе-чение коммуникативной реальности и превращение ее в логическую — осуществлялась не только Патнэмом, но и его предшественниками, которые подозревали некорректность логического представления вербальных фактов, но не отделяли логический факт от коммуникативного. Так, к теоретико-модельному аргументу Патнэма имеет непосредственное отношение тезис о неопределенности перевода (и, соответственно, неопределенности референции), выдвинутый У. Куайном. Основную идею этого тезиса иллюстрирует известный пример Куайна о переводе с языка туземцев. Допустим, говорит он, лингвист, изучающий язык туземцев, указывает на пробегающего через поле кролика, а туземец в ответ говорит «gavagai». С точки зрения Куайна, лингвист может перевести это выражение как «кролик», или как «неотъемлемая часть кролика», или как «временной срез кролика» и т. д. Согласно ему, все эти варианты перевода являются равно приемлемыми, поскольку они обладают одинаковым стимул-значением. Понятие стимул-значения выражает в концепции Куайна тот факт, что условия истинности любого предложения (то есть некоторое положение дел в мире) выступают в качестве стимула для определенной вербальной диспозиции (предрасположения) носителей языка, то есть для диспозиции к согласию или несогласию с данным предложением. Возможность альтернативных и равно приемлемых схем перевода свидетельствует о неопределенности перевода. Эта неопределенность, согласно Куайну, объясняется тем, что разные языки могут давать разные концептуализации мира. И если лингвист переводит «gavagai» как «кролик», то это означает, что он навязывает свою концептуальную

схему, проистекающую из нашей склонности воспринимать мир состоящим из целостных и устойчивых образований — объектов. Неопределенность перевода одновременно означает и неопределенность референции. Каждому слову соответствует не какой-то вполне определенный референт, а целое множество (например, «кролик», «временной срез кролика», «неотъемлемая часть кролика» и т. д.), что обусловлено принадлежностью этого слова к разным концептуальным схемам.

Заметно, что в приведенном примере Куайн прилагает к реальности схему «знак—значение», т. е. реализует логический способ представления фактов, не адекватный коммуникативной реальности, в котором множественная неопределенная референция становится возможной. Напротив, в коммуникативной реальности, где значение имеют не слова, а действия говорящего, она невозможна: то, что сделал туземец, имеет одну интерпретацию, которую можно адекватно помыслить вне каких бы то ни было языков и слов. Значение действия было бы ясно при условии действительно актуальной, а не выдуманной ситуации (например, в случае совместной охоты на кролика, а не в предъявленном эпизоде, смысл которого состоит в том, чтобы проиллюстрировать неопределенность словесной референции). Актуальная коммуникативная процедура по своей сути стремится к установлению адекватного смысла действия. До тех пор пока в этом нет тождества, нет и коммуникативной референции, которая является искомой во всех случаях естественной коммуникации. Поэтому тот перевод, который предлагает Куайн в качестве курьеза, является всего лишь попыткой неправомерного установления пословной корреляции между «языками», в то время как адекватный перевод состоит в тождественной

передаче действия говорящего с использованием моделей другого «языка».

Как видно, весьма парадоксальным образом логическое представление вербального факта, при котором главным является верифицируемая референция, становится условием его неопределенности. И, наоборот, коммуникативная, избавленная от логики, реальность вербального феномена, обладающая иной, коммуникативной, референцией, гарантирует ему тождественное смыслообразование. Предложение, представленное в рамках логики и логико-грамматического «языка», становится неэффективным для моделирования речемыслительной реальности, в то время как коммуникативное действие, в структуру которого вовлечен вербальный материал, вполне справляется с представлением естественного речевого процесса.

Невозможность «языка» как формального объекта

4. Теорема Патнэма ставит проблему рассмотрения «языка» в качестве формального объекта, как это, в частности, отмечает Дж. Лакофф³¹⁴. В статье «Models and Reality» Патнэм объясняет этиологию этой проблемы. Ее возникновение связано с рассмотрением языка отдельно от его интерпретации, как это делается в стандартной формалистской математике. При этом естественные языки (или «языки мысли», состоящие из ментальных репрезентаций) обычно рассматриваются как подобные формальным «языкам», как они охарактеризованы в формалистской математике. Формальный математический язык, отмечает Патнэм, построен из неинтерпретированных символов. Использование формального языка характеризуется

³¹⁴ Русский перевод теоремы, см. *Лакофф Дж.* Указ. соч. С. 310.

в терминах процедур оперирования символами, например, процедур доказательства теорем. «Понимание» формального «языка» характеризуется в терминах знания того, что представляет собой этот формальный язык, знания, как его использовать, т.е. знания, как производить операции с символами, такие, как дедуктивные умозаключения, и знания, какие предложения из каких других предложений выводятся посредством таких операций, как процедуры доказательств. Таким образом, получается, что можно знать язык и понимать, как его использовать, и даже знать, какие предложения следуют из каких именно других предложений — без какого-либо обращения к языковому значению вообще. Исследование «значения» в этом случае является изучением того, каким образом можно обеспечить интерпретацию «языка» в этом специальном смысле. Патнэм отмечает, что само это отделение «языка» от его интерпретации, а именно построение синтаксиса, независимого от семантики, делает в принципе невозможной адекватную характеристику значения:

«Затруднительное положение является затруднительным только потому, что мы сделали две вещи: во-первых, мы дали описание понимания языка в терминах программ и процедур *употребления* языка (чего же еще?); затем, во-вторых, мы задались вопросом, каковы возможные “модели” языка, понимая эти модели как существующие “вовне” *независимо от какого-либо описания*. В этом пункте, должны мы остановиться и отметить, уже совершена фатальная ошибка. При любом подходе понимание языка должно определять референцию термов или должно определять референцию термов при условии, что задан контекст употребления. Если употребление, даже в фиксированном контексте, не определяет референцию, тогда употребление не есть понимание. Язык, рассмотренный в такой, созданной нами

самими перспективе, имеет полную программу употребления, однако ему недостает *интерпретации*.

Это роковой шаг. Принять теорию значения, согласно которой языку, употребление которого полностью охарактеризовано, тем не менее недостает чего-то, а именно его «интерпретации», значит получить проблему, которая *может* иметь только безумные решения. Говорить так, как если бы перед нами стояла следующая проблема: «Я знаю, как употреблять мой язык, но каким образом я теперь выберу интерпретацию?», значит говорить бессмыслицу. Либо употребление *уже* фиксирует интерпретацию, либо *ничто* не может этого сделать»³¹⁵.

Другими словами, Патнэм выступает против самозначности формализованного языка, утверждая, что принятие языка с неопределенной референцией (т.е. лишённого интерпретации) — это ошибочный теоретический шаг. Теорема, в свою очередь, демонстрирует то, что (формализованный) язык не имеет самозначности, или определённой референции термов: «кошка, которая сидит на коврик», может быть «вишней, которая висит на дереве».

Как видно, «язык», лишённый интерпретации, представлен, с одной стороны, формальным математическим языком, который послужил главной причиной критических замечаний Патнэма. С другой стороны, по замыслу автора теоремы, словесный язык, как таковой, также даёт пример нефиксированной референции термов и в этом смысле подобен формальному логико-математическому языку. Получается, что, согласно Патнэму, «языком» может считаться *любая формальная система знаков, лишённая интерпретации*. Более того, такую формальную систему

³¹⁵ Putnam H. Models and reality // Journal of Symbolic Logic. № 45, 1980. P. 481—482.

можно знать, понимать то, как ее применять, и даже выражать, используя ее, истинностные значения, как это следует из доказанной теоремы. По-видимому, такой образ «языка», лишенного смысла и значения, весьма соответствует дескриптивистской и структуралистской — и в целом, предметной античной схеме описания. И такой «язык» представляет для Патнэма «данность», одно из мыслимых «подлежащих», которому не хватает только фиксированной интерпретации.

Если так, теорему Патнэма можно было бы признать шуткой (или даже провокацией): «посмотрите на ваш «язык» как теоретический объект в логическом представлении: используя его, невозможно даже добиться от предложения «кошка сидит на коврике» вполне определенного значения, не говоря уже о языке математических символов». В таком случае можно было бы полагать, что автор теоремы играет на поле соперника и риторически соглашается на некоторые в действительности не приемлемые для себя допущения (например, понятие «языка»), чтобы затем показать их абсурдность. В некоторой степени так и есть, поскольку нужно помнить, что Патнэм сражается с метафизическим реализмом, в программу которого для объяснения референции и адекватного взаимопонимания входит фиксированная референция термов (именно эта позиция разрушается теоремой). Но вполне очевидно и то, что Патнэм относится к формальному языку совершенно серьезно. Теорема формулирует позицию, которую он желает сделать *общим* плацдармом как для метафизического, так и для внутреннего реализма. Никакой другой перспективы языка Патнэм не предлагает, как не предлагает и теоретически его отрицать: «язык» в теореме представлен естественным языком и математическим

языком, и никаких «нелогических» двойников у них нет. Кроме того, «язык» дан не только в условиях теоремы, но и во всех остальных случаях рассуждений о знаковом процессе, как например:

«Элементы того, что мы называем “языком” и “сознанием”, проникают так глубоко в то, что мы называем “реальностью”, что попытка представить нас как тех, кто отображает что-то независимое от языка, безнадежно скомпрометирована с самого начала»³¹⁶.

Другими словами, язык в программах интернализма и экстернализма — один и тот же, вполне отвечающий требованиям предметной парадигмы и, согласно доказанной теореме, — неспособный породить однозначно интерпретируемые (тождественно понимаемые) предложения, как в математике, так и в естественном коммуникативном процессе. Такой язык (*т. е. предметную систему знаков, лишенную интерпретации*) с определенностью можно рассматривать как *формальный объект* (что всегда в рамках предметной парадигмы и происходило с естественным языком), но Патнэм почему-то восстает против «языка без тождественной (фиксированной) интерпретации». Так, например, систему без референции (формальный объект) адекватно представляет тот физический объект, который Патнэм не считает репрезентацией: кривая, прочерчиваемая муравьем на песке и по виду напоминающая карикатуру на Черчилля, не является его изображением, хотя будь эта же карикатура выполнена каким-либо художником, она была бы репрезентацией³¹⁷. Нужно заметить, что лингвистические объекты в актуальном коммуникативном

³¹⁶ Putnam H. Realism with a Human Face. Cambridge, 1990. P. 28.

³¹⁷ Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge, 1981. P. 5.

процессе всегда репрезентируют некоего «художника», производящего действие. Соответственно, рассматривать вербальные структуры как формальный (физический) объект невозможно (согласно самому же Патнэму). По-видимому, здесь содержится очередное противоречие, разрешить которое можно, только избавившись от бессмысленного предметного «языка» как «данного» теоретического «подлежащего».

ОТСУТСТВИЕ КОНЦЕПЦИИ СВОБОДНОГО ДЕЙСТВИЯ

5. Формальность восприятия традиционного объекта лингвистики связана с тем, что Патнэм видит естественный коммуникативный процесс со стороны адресата, внешнего наблюдателя. В такой ситуации, повторяя процедуру античных языковедов, исследователь должен прежде всего заметить всеобщие слова, потом их общепонятные значения, потом признать факт смыслоформального единства, что, в свою очередь, ведет к единому инструменту говорения/понимания — «языку». Как уже отмечалось, Патнэм принимает «язык» в качестве системы «грамматики и слов», но это противоречит некоторым из его собственных позиций, в которых реализуется основной вектор патнэмовской философии — вовлеченность точки зрения, или *внутренний реализм*.

Речь идет об уже упомянутом номинализме, субъективной приемлемости как критерии истинности, ценностной системе, интегрированной в сознательные процессы, невозможности единственной оценки ситуации (единственной точки зрения Бога). Любая из этих установок входит в противоречие с концепцией «языка» как объективного «словаря и грамматики», которым говорящий, якобы, пользуется как инструментом. Это происходит

потому, что в философии языка Патнэма нет концепции *осознанного свободного действия*, которое вносило бы упорядоченность в объясняемый сознательный и речевой процесс. Таким образом, язык — в рамках схемы самого же Патнэма — требует снятия.

«СКОЛЕМИЗАЦИЯ ВСЕГО»

6. Вследствие невозможности однозначной референции Патнэм утверждает мысль о «сколемизации всего», т. е. о неопределенности в языковом материале, что, в свою очередь, требуя теоретического оправдания, ведет Патнэма к витгенштейновскому образу речевого процесса, т.е. к неосознанному «единому целому: язык плюс действия, с которыми он переплетен». Это происходит следующим образом.

Теорема Левенгейма—Сколема, доказанная задолго до патнэмовской по отношению к математическим объектам (или парадокс Сколема), фактически утверждает, что математическая реальность не «схватывается» аксиоматическими системами. Или, другими словами, интуитивное понятие множества, составляющее основание понятий о математических объектах, не определяется формальными системами аксиом (параллель к материалу Патнэма состоит в том, что значение термина и предложений не «схватывается» одной интерпретацией, якобы, содержащейся в языковой форме, а предполагает несколько истинностных значений-интерпретаций).

Основная мысль этой теоремы основана на результате работы Левенгейма 1915 г. и разработана Сколемом в 1920 г. Тогда казалось возможным охарактеризовать математические объекты с помощью системы аксиом: класс предполагаемых объектов, таких как множество,

определяется набором аксиом, которым данный класс удовлетворяет. Это предпринималось в единственной хорошо понимаемой области логики, называемой логикой первого порядка, использующей логические связки («и», «не», «или» и т. д.) и кванторы первого порядка («для любого», «существует»).

Считалось, что некое подобие теории множеств могло бы служить основой многих или даже всех ветвей математики. Г. Кантор доказал знаменитый результат. Вначале он прояснил идею того, что некоторые бесконечные множества могут быть больше, чем другие. Затем он показал, что множество подмножеств натуральных чисел больше, чем множество натуральных чисел. Другими словами, он показал, что множество всех действительных чисел, то есть чисел, выразимых в виде (бесконечных) десятичных дробей, больше, чем множество натуральных чисел. Когда этот факт прошел апробацию в среде классических логиков, Левенгейм и Сколем доказали нечто, что на первый взгляд казалось парадоксальным.

Итак, предполагается, что некоторые постулаты выражают саму суть множеств, построенных из множеств натуральных чисел. В рамках этих постулатов доказывается теорема Кантора, которая говорит, что множество подмножеств натуральных чисел не перечислимо, то есть не может быть поставлено во взаимнооднозначное соответствие с натуральными числами, и таким образом, больше, чем само множество натуральных чисел. Чтобы постулаты были поименованы и поняты, как они даются у Кантора, в дальнейшем как будто можно говорить о множествах Кантора. Однако Левенгейм и Сколем доказали, что любая теория, выраженная в логике первого порядка и истинная для некоторой области объектов, также

справедлива и для некой перечислимой области. Другими словами, предполагалось, что постулаты будут истинны относительно канторовских множеств, которых, согласно теореме, больше, чем натуральных чисел. Но те же самые постулаты могут быть проинтерпретированы таким образом, что они будут истинны для гораздо меньшей области. Предположим, что P — знак, который в теории означает множество всех подмножеств множества натуральных чисел. Оно больше, чем множество натуральных чисел. Но данная теория может быть переинтерпретирована так, что P обозначает нечто весьма отличное, а именно множество, не большее, чем множество натуральных чисел.

Другими словами, данная проблематика весьма близка теореме Патнэма, который, в свою очередь, пытается распространить парадоксальную неопределенность не только на область математики, но и естественного языка. Так, если взять в качестве аксиом все истины об объектах — все истины, которые люди когда-либо произнесут, или просто все истины, выразимые на языке логики первого порядка, то что бы при этом ни выбрать, будут существовать непредполагавшиеся интерпретации. Более того, если выбрать два рода объектов: кошки и вишни — и использовать короткий список истин, можно отобразить предполагавшуюся интерпретацию о кошках на непредполагавшуюся интерпретацию о вишнях. Эту экспансию несамостоятельности выражений «языка» Патнэм и называет «сколемизацией всего».

О теореме Левенгейма—Сколема и патнэмовском подходе разъяснения более специального характера дает В.В. Целищев:

«Теорема Левенгейма—Сколема гласит, что выполняемая теория первого порядка (в счетном языке) имеет

счетную модель. Согласно диагональной теореме Кантора, не существует одно-однозначного соответствия между множеством рациональных чисел и множеством действительных чисел. Если имеется некоторая версия формализованной теории чисел, то теорема принимает вид:

– (ER) (R одно-однозначно. Область $R \subset N$. Область значений R есть S),

где N есть формальный термин для множества всех целых чисел, S — множество действительных чисел, и все три части конъюнкции имеют определение в терминах первого порядка. Формализованная теория множеств говорит, что определенное множество “ S ” несчетно. Поэтому теория множеств должна иметь только несчетные модели. Но это невозможно, поскольку, по теореме Левенгейма—Сколема, если теория имеет несчетную модель, она также имеет и счетную.

При введении аксиоматики (например, в теории множеств) математик стремится к тому, чтобы модель системы аксиом была “намеренной”. Например, аксиомы были призваны описывать несчетные множества, но по теореме Левенгейма—Сколема, среди моделей такой системы оказываются и “ненамеренные”, или нестандартные, интерпретации, в частности счетная модель. *Это означает, что система аксиом, предназначенная для описания некоторого специфического класса математических объектов, не выполняет этой роли* [курсив мой. — А. В.]. Следовательно, математическая реальность не “схватывается” аксиоматическими системами. Аксиоматические системы, к которым применима теорема Левенгейма—Сколема, предназначаются для задания одной вполне конкретной интерпретации, и, будучи применимыми к совершенно новым моделям, они тем самым не соответствуют своему назначению.

В более технических терминах ситуация с парадоксом Сколема выглядит следующим образом. Из парадокса могут быть сделаны такие выводы:

а) поскольку первопорядковые формализации теории множеств имеют счетные модели, они не могут выразить, или “схватить”, концепцию несчетного множества;

б) поскольку невозможно “схватить”, или выразить, концепцию несчетного множества через аксиоматизацию первого порядка теории множеств, мы не обладаем такой концепцией...

Типичной реакцией на парадокс Сколема явилось понятие релятивизации концепции множества в зависимости от принятой аксиоматики. Популярное представление по этому поводу состоит в том, что множество может быть счетным в одной аксиоматической схеме, а несчетным — в другой, или же что одно и то же множество может иметь разную мощность в разных аксиоматических системах.

Итак, парадокс Сколема показывает, что мы не “схватываем” интуитивное понятие множества нашими формальными системами. Возникает естественный вопрос о том, какое иное средство может дать нам экспликацию “интуитивного понятия множества”. Дело в том, что *теория множеств рассматривается как описание определенной независимо существующей реальности, и если она не выполняет этой роли, значит, не существует эффективного обращения к этой реальности* (курсив мой. — А. В.). Поскольку теория первого порядка в определенном смысле сама по себе представляет синтаксическую систему, возникает необходимость обратиться к семантическим концепциям, потому что только при интерпретации можно говорить об указании на математические объекты и установлении истинности и значения математических утверждений.

Однако и чисто семантические концепции не могут разрешить проблему однозначного “схватывания” интуитивных математических концепций формализованной теорией, что следует из ограничительных теорем Геделя и Тарского. Но есть и более конкретные соображения по поводу неадекватности

семантических соображений. Если для подобного “схватывания” к аксиоматической теории множеств мы добавим понимание, рассматриваемое как некоторое рациональное свойство человека, фиксированное в языке, то возникает нечто похожее на релятивизацию понятий уже в естественном языке. Дело в том, что согласно натуралистическому подходу, понимание есть не что иное, как способ употребления языка. И тогда сколемовская парадоксальность может быть перенесена на область употребления языка. Речь идет в этом случае о том, что употребление терминов формализованного языка, предусматривающее указание на объекты и фиксированное значение терминов, не гарантирует от появления нестандартных интерпретаций. В частности, Патнэм пытается доказать, что употребление языка фиксирует намеренную интерпретацию не в большей степени, чем это делает аксиоматическая теория множеств.

Этот результат может показаться странным, поскольку *механизм употребления языка не должен допустить появления “дополнительных” (ненамеренных) значений и указаний, — дело в том, что осмысленное употребление языка предполагает введение ограничений на произвол в указании и приписывании значений* (курсив мой. — А. В.). Такие ограничения, называемые Патнэмом “теоретическими ограничениями”, должны действовать и в аксиоматической теории множеств, где мы при формулировке аксиом исходим из математической интуиции»³¹⁸.

В конце концов ответственность за «сколемизацию» Патнэм возлагает на теоретические и операциональные ограничения, свойственные, с его точки зрения, традиционной теории значения:

³¹⁸ Целищев В.В. Возможна ли иррациональная математика. См. интернет-ресурс: http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience/7_00/tselichev.htm

«Интерес представляет природа этих теоретических ограничений. Для того чтобы избежать произвола в указании или приписывании значений терминам, мы должны принять что-то вроде конвенции об употреблении терминов, т. е. принять определенного рода решения. Другим источником теоретических ограничений может быть наш опыт обращения с эмпирическим материалом и теоретическими схемами в определенной области науки. С точки зрения Патнэма, теоретические ограничения подобного рода не могут дать полной системы аксиом теории множеств (полная система аксиом теории множеств была бы нерекурсивной, и трудно представить себе, говорит он, как можно было бы сконструировать такую теорию в рамках человеческих возможностей). Но невозможность полной системы аксиом означает наличие ненамеренных интерпретаций. И вот тут Патнэм выдвигает один из основных своих тезисов при обсуждении парадокса Сколема: он считает, что намеренные интерпретации появляются за счет введения теоретических ограничений (Патнэм вводит и так называемые операциональные ограничения, но мы не будем останавливаться на них). Но тогда предложения, которые не зависят от аксиом, не будут иметь определенного истинностного значения. Они будут истинными в одной модели и ложными в другой. Иными словами, истинность или ложность такого рода предложений зависит от двух источников теоретических ограничений, в частности от конвенций, принятых нами.

Если все сказанное верно, то релятивизм, отмеченный Сколемом, распространяется на язык в целом»³¹⁹.

АПОРИЯ: НЕФИКСИРОВАННОСТЬ РЕФЕРЕНЦИИ И УСПЕШНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ

Итак, согласно Патнэму, «сколемизация», следующая из традиционной теории смыслообразования, означает

³¹⁹ Целищев В.В. Указ. соч.

нетождественность предложений «языка». Поскольку очевидно, что понимание и коммуникация все же осуществляются посредством вербального материала вполне успешно, возникает необходимость преодолеть полученную апорию («нефиксированность референции» vs «успешность коммуникации»).

ОТКАЗ ОТ КОГНИТИВНОГО ПРОЦЕССА В ПОЛЬЗУ ПРАВИЛЬНОГО «ЯЗЫКА-ДЕЙСТВИЯ»

В этой ситуации Патнэм предлагает отказаться от теоретических и операциональных ограничений в пользу витгенштейновского «языка в употреблении»³²⁰.

Таким образом, Патнэм столь же сторонится интерпретации, как некогда Витгенштейн, который, как уже отмечалось, намеренно уводит рассуждение о лингвистических объектах в сферу употребления, где интерпретация, якобы, не имеет силы. Возникает картина *механистического речевого процесса, в котором вербальными моделями (для Патнэма — «языком») пользуются без совершения выбора и без установления мыслимого тождества (без интерпретации)*.

Как видно, попытка покончить с интерпретациями, сообщающими вербальной структуре нетождественность, оборачивается подспудным отрицанием мыслимости (когнитивности) вербального процесса: вместо того, чтобы искать источников когнитивного тождества, или единственной верной интерпретации, которая содержится в сознании словесно действующего коммуниканта и которую восстанавливает адресат, Патнэм вообще отрицает какую-либо интерпретацию в феноменах «языка».

³²⁰ Putnam H. Sense, Nonsense, and the Senses: An Inquiry into the Powers of the Human Mind, p. 515.

Формула Витгенштейна («единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен») становится для него спасительной территорией ввиду того, что там нет места когнитивным переменным, т.е. неопределенности: язык — детерминированная система грамматики и слов, действие (у Витгенштейна) — оперирование объектами по правилам. Ввиду этого там нет места и концепции *свободного осознанного* действия, предполагающей целеполагание и понимание, или интерпретацию.

Действительно, в предложениях «языка», понимаемого как система слов и правил грамматики, нет самозначного определенного смысла, однако так понимаемый «язык» — это не то, что осуществляет смыслообразование в актуальном процессе коммуникации. Смысл не словесен, отделен от «языка», заключен в действии коммуниканта, интерпретируется исходя из общих условий действия. Попытки найти в ничьих «словах и грамматике» смысловое тождество выливаются в признание множественной интерпретации, т. е. отрицание тождественного смысла в реальном коммуникативном процессе.

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ИЗ ЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Заметим, что в действительности Патнэм зачастую производит невольные рокировки пониманий «языка»: последний выступает то как естественный коммуникативный процесс (и тогда убеждает в том, что тождество в предложениях «языка» существует, и его нужно теоретически представить), то как логический объект (и тогда убеждает в нетождественности предложений, и заставляет бороться с нефиксированной референцией). Проблема, по-видимому, состоит в том, что Патнэм не видит отчетливых различий между этими двумя объектами, а объединяет их.

Признание их единства или игнорирование отличий, как уже не раз отмечалось, неправомерно. Для *естественного коммуникативного процесса* предметный «язык» нельзя считать эффективной моделью, тем более с ним отождествлять, поскольку коммуникация принципиально акциональна и не обезличена; всю искусственно воссоздаваемую в предметных единицах типологию (предметную систему) исследователь в действительности черпает из коммуникативных действий говорящих, которым неведома никакая языковая система. Напротив, в *логическом «языке»* отсечены все естественные свойства коммуникативного процесса — слова рассматриваются вне действий коммуникантов; возникает автономная от говорящего система элементов; элементы приобретают самостоятельные валентности; все предложения становятся (истинными или ложными) суждениями (мыслями) и пр.

Как видно, в теоретической схеме, где принят «язык» как «корректный» теоретический объект («грамматика и словарь»), смыслообразование нарушает планы исследователя, который вовлекает «язык» в процесс истолкования: с одной стороны, ясно, что все значения субъектны, локализованы в индивидуальном сознании, с другой стороны, по умолчанию признается, что «язык» тесно сопряжен с мыслью, хранит и передает ее, делает общим достоянием, соответственно, индивидуальное становится языковым, плюс относительное единообразие в предметных единицах общего «языка». Конфликт «личного» и «общего» ведет к различным степеням ущемления прав первого: от признания самозначности языкового материала до констатации только истинных/ложных суждений в качестве достойного лингвистического материала. При отсутствии идеи действия говорящего (при наличии вместо этого

только идей «языка» и истинности предложений «языка», как в случае Патнэма) интерпретация свободного коммуникативного процесса (в т. ч. констатации «фактов») имеет все шансы зайти в тупик.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК: УГРОЗА СКОЛЕМИЗАЦИИ

Итак, «сколемизация» грозит не естественному коммуникативному процессу, а логическому «языку» и снимается вместе с последним. Однако для математического языка угроза остается, пока он, подобно естественному языку в логическом представлении, воспринимается как самозначный. Похожим образом оправдание «языка» математики, т.е. спасение его от нефиксированной референции и множественной интерпретации, следует, по-видимому, искать в субъектности, что означает снятие математического «языка» в качестве внесубъектной и самозначной системы: его предложения могут выражать мыслимые значения в мыслимом коммуникативном пространстве, но они не могут быть самозначными, истинными/ложными во всех возможных мирах. Другими словами, для тождественного смыслообразования предметные элементы математического «языка» необходимо вовлечь в коммуникативный процесс, так же как и вербальные элементы. Коммуникация — в более специальной или менее специальной области — принципиально едина: как уже было отмечено, она всегда актуальна, когнитивна, акциональна, интерактивна.

ПОИСК СУБЪЕКТА В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ

Основания для поиска субъекта в математическом дискурсе и, соответственно, в математическом языке представляет сам процесс формулирования математических

суждений, в частности, теоремы Геделя. Этот пример из теории множеств приведен Патнэмом (правда, по другому поводу) в статье «Модели и реальность» и обсуждается в упомянутой статье В.В. Целищева:

«В доказательстве относительной совместимости системы аксиом Цермело—Френкеля с аксиомой выбора и обобщенной континуум-гипотезой Гедель использовал новую аксиому теории множеств $V = L$. Аксиома означала, что *все множества конструируемы*: L представляет класс конструируемых множеств, а V — универсум всех множеств. В доказательстве использовалась такая модель, в которой эта аксиома была истинной.

Утверждение $V = L$ является независимым от остальных аксиом утверждением и поэтому может рассматриваться как результат теоретических ограничений, в частности как результат *постулирования*. Гедель предположил, или постулировал, что оно является истинным. В отношении постулируемых утверждений (можно рассматривать как постулаты значения в смысле Карнапа) всегда возникает вопрос о том, как эти постулируемые предложения соотносятся с реальностью. Другими словами, возникает вопрос: а истинно ли это предложение в реальности?

Сам Гедель в конце концов принял точку зрения, согласно которой это утверждение в реальности ложно, исходя из своей интуиции. Патнэм замечает, что хотя эту интуицию Геделя разделяют многие математики, остается вопрос, имеет ли она смысл. (Надо заметить, что система, состоящая из утверждения о ложности $V = L$ и теории множеств, непротиворечива, если непротиворечива сама теория множеств.) Какой смысл можно придать утверждению, что это утверждение ложно, кроме как апелляцией к интуиции?

Имеет смысл утверждать, что ложность $V = L$ «в реальности» может означать, что модель, в которой $V = L$ справедливо, не будет намеренной моделью. Если, как уже было сказано, намеренная модель получается за счет теоретических ограничений, а $V = L$ удовлетворяет таким ограничениям, то тогда нам придется признать, что $V \neq L$ не следует из теоретических ограничений. Это означает, что истинностное значение утверждения $V = L$ подвержено относительности, о которой говорит Сколем. Это же относится к таким утверждениям, как аксиома выбора и континуум-гипотеза»³²¹.

Как видно, имеет место *введение* аксиоматической системы (которая принимается интуитивно), *снятие* незначимых для предполагаемого суждения «подлежащих», *постулирование* истинности исходных суждений, *выбор* теоретических ограничений, *сопоставление* с мыслимой реальностью, *введение* модели, *конструирование* множеств. Эти операции едва ли можно считать самовоспроизводимыми, которые были бы порождены взаимодействующими и автономными — действительностью и математическим «языком». Выделение актуального сегмента мыслимой реальности, назначение критериев для выделения множеств и их элементов, оценка приемлемости выдвигаемых положений в рамках референциального пространства и соответствующего мыслимого фрейма — все эти действия могут быть только намеренными, т.е. субъектными. В конечном счете, на любом этапе формулирования «рациональных» математических суждений речь идет о свободном выборе достоверного основания и аксиоматической системы, в которой предлагаемое развитие последовательности аргументов может приобрести достоверный —

³²¹ Целищев В.В. Указ. соч.

приемлемый для мыслимых адресатов — вид. Так, простейшую задачу (по картинке, на которой имеется четыре куклы и шесть плюшевых медведей, определить, насколько кукол меньше, чем медведей) можно признать или абсурдной по выдвинутым критериям (получается, что «кукол на два медведя меньше»), или же вполне корректной (получается, что «кукол на две меньше, чем медведей»). Сопоставимость множеств медведей и кукол, как при формулировании условий задачи, так и при нахождении решения, зависит от *субъектного актуального признания правомерности критерия*: в первом случае четыре куклы, будучи куклами, не сопоставимы с шестью медведями, так же как одна кукла не сопоставима с одним медведем (не равна ему, не есть то же, что один медведь), во втором — и куклы, и медведи становятся игрушками, предметами и т.д., и тогда для сопоставления имеются все основания. Считать ли куклу куклой или предметом — вопрос, который по мере осознанной актуальности решает для себя и тот, кто составляет задачи, и тот, кто их решает.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК: НАЗНАЧЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ

Другими словами, нет причин считать математическую реальность миром с уже существующими объектами и отношениями, которые лишь нужно рационально организовать, оформить в систему, подметить и пр. За различной сложности абстракциями (числами, математическими действиями, логическими операциями и пр.) стоит реальная назначенность (конструируемость) объектов и множеств, намеренная констатация причинно-следственных связей, целеположенное установление «логических» отношений и пр. В этом смысле «чистое» («пифагорейское») понятие числа, множества или суждения (подобно,

впрочем, любому другому понятию) также пусто, как слово или предложение естественного «языка» вне актуального коммуникативного процесса.

ОТРИЦАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Заметим, что в упомянутой статье В.В. Целищева (как и в многочисленных критических замечаниях по поводу «левополушарных» тенденций в точных науках) предлагается «развод» между философией языка и философией математики для спасения последней от иррациональности, проникающей в самое основание. Однако если иррационализм состоит в субъектных действиях, нашедших выражение в математических суждениях и осуществленных в соответствии с субъектными предпочтениями и актуальностью, то «развод» не может состояться, поскольку невозможно отрицать коммуникативной направленности математических «предложений» и отделить от них субъектные когнитивные основания. Более того, постулирование такой рациональности (соблюдение истинности как соответствия реальности) для математического и для естественного «языка» грозит бессмысленностью, поскольку точки отсчета во всех мыслимых системах задаются позицией *мыслящего субъекта* и исключаются вместе с ним. Другими словами, в «рациональности» математики, понимаемой самозначно, т. е. строго логически, кроется отрицание субъектной природы рациональности и, по мере того, — отрицание самой рациональности.

СКОЛЕМИЗАЦИЯ ГРОЗИТ ЛЮБОМУ «ЯЗЫКУ»: НЕОБХОДИМОСТЬ КОММУНИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО «ЯЗЫКА»

Поскольку «сколемизация» (нетождественность) грозит любому объектному языку (логико-математическому,

естественному и пр.), в основании которого лежит платоновская модель «знак—значение», то, по-видимому, необходимо преодолеть тенденцию математизации (пифагорейства) в моделировании естественного коммуникативного процесса (последний зачастую неправомерно называется «естественным языком»). Ставшие традиционными для лингвистики математические модели естественно-языковых феноменов (например, структуралистские, генеративные) имеют под собой ложные основания, поскольку предполагают в качестве операциональных объектов «тела» знаков, в расчете на их смысло-формальное единство. Неприятие такого положения дел вдохновляет авторов упомянутых теорем. Ввиду этого, по-видимому, следует поступать прямо наоборот: *модель математического «языка» следует выстраивать по модели естественного коммуникативного процесса*, в которой вербальный материал не самозначен и в которой могут считаться уже вполне утвердившимися и обязательными — субъект, когнитивный фрейм с «намеренно» назначенными объектами, адресат, коммуникативное действие и, в целом, коммуникативная ситуация.

Итак, теорема Патнэма

Итак, теорема Патнэма, несмотря на правомерность содержащегося в ней упрека в адрес логического представления вербальных фактов, тем не менее, не вполне корректна в «данных» и следствиях: «самозначный язык» только запутывает теоретическую ситуацию, образуя «ахиллесову пяту» как самой теоремы, так и всего понимания речевого процесса (в т.ч. в его связи с мыслительным). Как видно, в естественном коммуникативном процессе предложение имеет одну интерпретацию (которую мыслил говорящий),

а в логическом представлении естественного коммуникативного факта — оно имеет множество интерпретаций. Парадокс теоремы Патнэма заключается в том, что, согласно ей, логический подход отрицает себя самого (поскольку теорема доказывается логическими средствами на логическом материале), а в реальном коммуникативном процессе предложенный Патнэмом подход в принципе невозможен: в актуальной коммуникации нет автономных предложений и нет «языка» как эффективного средства моделирования коммуникации. Этот парадокс, как видно, во многом повторяет историю с парадоксом лжеца и требует такого же субъектного снятия.

Как известно, Д. Льюис писал по поводу теоретико-модельного аргумента Патнэма:

«Хилари Патнэм изобрел бомбу, угрожающую разрушить реалистическую философию, которую мы знаем и любим. Он поясняет, что способен не проявлять по этому поводу беспокойства и любит бомбу. Он приветствует Новый порядок, что бы он с собой ни принес. Но мы, продолжающие жить в районе назначения бомбы, не согласны. Бомба должна быть уничтожена»³²².

Заметим, что «бомбу Патнэма» для полноты эффекта, обозначенного Льюисом, следует усилить изъятием «языка».

ПРОСТЫЕ ОСНОВАНИЯ. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подводя краткий итог, обозначим несколько простых оснований, на которых может быть построена коммуникативная теория естественного вербального процесса.

³²² *Lewis D. Putnam's Paradox // Australasian Journal of Philosophy. 1984. Vol. 62. P. 221.*

По-видимому, их невозможно игнорировать при создании эффективной модели описания, которая была бы менее противоречивой, чем предметная античная схема (она же — словоориентированная, словоизолирующая):

— *мысль невербальна*. Посредством воспроизводимых в сознании слов (мысленных образов слов и предложений, которые зачастую «звучат в уме» и претендуют на звание «мысли») коммуникант в действительности моделирует свои или чужие (воз)действия в проективно мыслимых условиях, что подобно размышлению о совершении любых других (несловесных) действий. Иначе говоря, слова в сознании — это не «мысли», а образы коммуникативного взаимодействия, моделирование возможных разговоров, лекций и других попыток влияния на аудиторию. Равным образом следует признать, что понимание (в т. ч. понимание коммуникативной ситуации при генерировании или восприятии речи) происходит вне слов и языка;

— *слова не передают мысли непосредственно*, между мыслью и словом нет прямой связи. На основании слов судить о внутренних когнитивных состояниях говорящего можно лишь косвенно: в данных условиях данный коммуникант принял решение действовать *таким* словесным способом. «Языковая картина мира» представляет собой одну из многих неэффективных абстракций, закономерно следующих из ошибочной прямолинейной схемы «мысль—слово»;

— *словами говорящий не констатирует истину или ложь, а производит (воз)действия* (или пытается повлиять) на мыслимых коммуникантов, преследуя свои цели;

— по мере того *невозможен логический подход к вербальным фактам*, поскольку объект логики («чистое» суждение) отсутствует в реальном коммуникативном процессе. Его

место в действительности занимает словесное действие, не обладающее свойствами истинности или ложности;

— *прямая платоновская связь «знак—значение» не имеет места в когнитивных процедурах*, осуществляемых коммуникантами, и по мере того неправомерна;

— *слово не имеет никакого значения вне актуального говорения*. Чтобы получить понимаемый смысл, оно должно стать «участником» личного актуального действия. «Ничьи» слова не могут иметь значения, поскольку «ничейность» означает отсутствие источника смыслообразования: значение словам придает сам говорящий посредством вовлечения в актуальную коммуникацию, в которой назначаются параметры личного действия и преследуются личные цели. Каждое «словарное» значение (или изолированное значение лексемы) есть *представление об актуальной ситуации*, в которой данный звукокомплекс, по мнению данного коммуниканта, можно использовать. Понятие об изолированном значении слова возникает как результат процедуры, в ходе которой предметное слово искусственно и неправомерно изымается из аутентичных условий;

— *предметные элементы естественного языка не самоидентифицируются вне организованного говорящим действия*. По мере того они не могут служить элементами при объяснении вербального коммуникативного процесса;

— *мыслимая ситуация вербального действия (или коммуникативная ситуация) первична* по отношению к элементарным вербальным единицам, выделяемым в процессе анализа. Сознание коммуниканта выстраивает типологию мыслимых ситуаций и используемых вербальных комплексов, или *типологию деклических («лично воспринимаемых») синтагм*;

— в процессе интерпретации понимаются не слова, а действия коммуниканта, которые могут быть выражены разными вербальными моделями одного или многих языков (или вовсе вне вербальных моделей);

— поскольку слова сами по себе, вне говорящего, не могут иметь какого-либо значения, то *интерпретант (прямой или косвенный) в поисках смыслообразования восходит к стадии порождения словесного действия*, т. е. к невербальным интенциям говорящего, насколько их может себе представить.

На этих основаниях можно сформулировать несколько положений, суть которых сводится к тому, что абстракцию «язык» нельзя считать эффективной для «схватывания» реальности вербального коммуникативного процесса. Они ведут к снятию этой абстракции.

МОДЕЛЬ «ЗНАК—ЗНАЧЕНИЕ»

1. «Язык» как «подлежащее» лингвистической теории возникает на основе ошибочного признания *прямой корреляции «знак—значение»*, что, в свою очередь, следует из спонтанной неэффективной модели речевого процесса «слово—смысл». В такой теоретической ситуации между говорящими с необходимостью должно быть постулировано нечто общее, известное всем, способное быть посредником между ними, соответствующее единым для всех «сущностям вещей». Однако данная платоновская схема не находит подтверждений в реальности: автономное слово (звук, морфема, предложение) не несет в себе самом тождественного смысла, который был бы сопряжен с предметным телом знака, как кубик с нанесенным изображением; «сущности вещей», якобы, именуемые словами, определяются в лично актуальном процессе «разрезания» созерцаемого

мира на объекты, явления, причинно-следственные связи и не существуют сами по себе. На смену платоновской приходит теоретическая ситуация, в которой следует констатировать отсутствие упорядоченного соответствия между элементами множества предметных единиц «языка» и теми значениями, которые он якобы выражает. Если нет соответствия, невозможно констатировать и «язык» как систему соотношения этих множеств. Или, другими словами, абстракция «язык» не может быть подтверждена и поддержана никакой достаточно определенной функцией как упорядоченным соответствием элементов множеств — предметных знаков и значений.

ПРЕДМЕТНЫЙ КРИТЕРИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

2. При постулировании «языка» центральное место отводится *предметному критерию*, или констатации набора физически определенных (акустически или визуально узнаваемых и воспроизводимых) знаков. Поскольку никакой предметный знак не составляет единства смысла и формы и по мере того не имеет тождества, которое имеет, например, шахматная фигура в начальный момент партии, то, соответственно, невозможны рассуждения о стабильной системе (регулярных связях) элементов. Инструментальная и биологическая метафоры, часто используемые в рассуждениях о вербальных фактах, предназначены для «схватывания» предметной стороны коммуникативного процесса, но оказываются несостоятельными ввиду одностороннего восприятия вербальных фактов.

АНТИМЕНТАЛИЗМ ГРАММАТИКИ

3. Попытки внести упорядоченность в теорию смыслообразования на основе идеи «языка» *оборачиваются в конечном*

счете «антиментализмом», который возникает из непреодоленной невозможности обрести стройную картину смыслообразования в автономном вербальном материале (т. е. на основе модели «слово—смысл»). Поскольку знаки становятся несамотождественными благодаря не сопряженному со знаком смыслу, то ментализм (или сопутствующий вербальному когнитивный процесс), как главная причина неудобств исследователя, исключается из рассуждений о «языке». В результате делается допущение, что тела знаков составляют систему вне каких-либо значений. Наступает торжество «чистой грамматики», т. е. системы «ничейных» (и по мере того бессмысленных) грамматических правил, которой и оказывается «язык» при антименталистском подходе. Но поскольку любая грамматика создается на материале осознанного (речевого) процесса, как обобщение и приспособление к нему, а не наоборот, то постулирование «чистой» грамматики вне смыслообразования (или «языка без значений») нужно признать бессмысленной неэффективной абстракцией. Антиментализм закономерно следует из предметного подхода к фактам естественной вербальной коммуникации, если последние воспринимаются в модели «знак—значение». Явление антиментализма изобличает бессмысленность какой-либо автономной системы «языка», представляя собой закономерное следствие попыток ее создания.

САМОЗНАЧНОЕ СЛОВО В ОСНОВАНИИ МОДЕЛИ

4. «Язык» *развертывается из идеи слова*, которое считается автономным носителем смысла, единицей вербального процесса. Так, Аристотель выводит истинное предложение из соответствия сказуемого той сущности, которую задает собой подлежащее — единство слова и его значения.

Эту ошибку — насильственное помещение смысла в прокрустово ложе слов — навязывает лингвистической теории античная схема «слово—смысл», возникающая спонтанно в самых первых попытках теоретически представить естественное говорение. Такой подход не отвечает реальности, поскольку вербальные элементы коммуникативного процесса никогда не самозначны, или — всегда несамостоятельны вне ситуации актуального коммуникативного действия. Другими словами, для тождественного смыслообразования в фактах «языка», традиционно представленных грамматикой и словарем, невозможно найти тех параметров, которые обеспечивают порождение и понимание данного словесного действия в тождестве. Эти параметры всегда полагаются за пределами словесной формы — в сознании коммуниканта, который определяет (параметрирует) свои словесные действия в мыслимой коммуникативной ситуации. С точки зрения коммуникативной реальности (единственно существующей для вербальных фактов), значение отдельно взятого слова представляет собой момент мыслимой коммуникативной ситуации, в которой может быть использован данный акустический (графический) комплекс. Слово, таким образом, является производной от целостной мыслимой ситуации, или частью деклической синтагмы, и вне ее не имеет никакого значения.

ЛОГИЧЕСКИЙ (НЕАДЕКВАТНЫЙ) ИНСТРУМЕНТАРИЙ

5. Одной из главных aberrаций, на которых строится идея «языка», является признание того, что *словами выражаются мысли*: «слово делает явным то, что сокрыто в душе». Словесные факты, таким образом, получают санкцию мысли, заручаются ее авторитетом. Как мысль должна быть

правильной, так и слова, ее выражающие и ей соответствующие, должны быть правильными. Правильность — та стабильность и общепринятость, которые реализуются в идее общего «языка». Подтвердить, что вербальные факты являются мыслями, могут только утвердительные или отрицательные суждения: они имеют субъектно-предикатное строение, они — иногда — в состоянии пройти процедуру верифицирования на истинность или ложность. Поэтому именно они сами собой оказываются единственными представителями «языка». Лингвистическая теория (или теория «языка») становится, таким образом, логической, что означает для нее утрачивание связи с естественным коммуникативным процессом и естественным вербальным фактом: естественная коммуникация и вербальный факт предполагают *взаимодействие* говорящих, в то время как принятая в логической теории «субъектно-предикатная мысль, совпадающая с вербальной формой», *не предполагает* никакого взаимодействия. «Язык, выражающий мысли», оказывается неэффективной моделью коммуникативного процесса.

**Словами не выражаются мысли,
а производятся действия**

б. В процессе говорения *не констатируются истины*, а производятся воздействия (попытки воздействий) в коммуникативном пространстве. В свою очередь, процесс мышления заключается *не в бессмысленном подборе слов к «сущностям»*, а в назначении актуальных признаков и связей, комбинировании и выборе мыслимых объектов, ситуаций, прогнозировании действий в мыслимом пространстве и пр. Связи, которые выстраиваются в процессе так понимаемого мышления, — не материальны,

а мыслимы, не отражены как объекты действительности, а созданы субъектом, не опытно обусловлены, а абстрагированы от чувственно воспринимаемой предметности. Процесс мышления активен (творчески ре-активен), свободен в назначении актуальных признаков, связей, принятии решений и пр. Языковой процесс, т.е. избранный способ воздействия на созданную в сознании коммуникативную ситуацию, является не причиной, а следствием так понимаемого мыслительного процесса. Мысль, вопреки античной схеме «язык—мысль», связана со словом опосредованно; вербальные факты представляют ее косвенно: по произнесенным словам можно установить лишь то, что мысль говорящего состояла в принятии решения, что *такой способ* воздействия в коммуникативном пространстве окажется эффективным для его целей.

АУТЕНТИЧНЫЕ СВОЙСТВА КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА НЕ СХВАТЫВАЮТСЯ «ЯЗЫКОМ»

7. Понимание «языка» как «грамматики и словаря» *не отражает свойств естественного коммуникативного процесса*. Актуальный вербальный процесс, т.е. использование словесных моделей в целях (воз)действия, всегда реализуется как субъектно мыслимый (свойство когнитивности), обусловленный воспринятыми обстоятельствами (ситуативность), необходимый говорящему (актуальность), предполагающий мыслимого адресата (коммуникативность), предназначенный к воздействию (акциональность). Абстракция «язык» не в состоянии вместить ни одного из аутентичных свойств естественного лингвистического материала, поскольку слово и, соответственно, словесный «язык», понимаемые по-платоновски и признаваемые самотождественным теоретическим объектом,

не оставляют места коммуниканту, хотя именно он — один из немногих очевидных участников реального речевого процесса — задает собой все перечисленные признаки естественного вербального материала.

Понимаются не слова, а действия коммуниканта

8. В основании теории «языка» лежит *грамматика как система правил*, описывающих комбинаторику предметных элементов. Эта система, ошибочно признаваемая единственным условием смыслообразования («знание языка»), требует от исследователя подчинения в процедурах описания и истолкования. Следует, однако, признать, что не грамматика создает актуальный коммуникативный процесс, а прямо наоборот: грамматика возникает как попытка описания актуального коммуникативного процесса. Ей попросту «неоткуда взяться», кроме как из типологии актуальных коммуникативных ситуаций (так, ребенок усваивает не падежи и склонения, а способ вербальных действий в типологических коммуникативных ситуациях). По мере того грамматика становится возможной и возникает как попытка дать упорядоченное описание тех наиболее общих ситуаций вербального взаимодействия, в которых оказывается говорящий (например, ситуации указание на себя, на «тебя» или на «них»; на будущее, настоящее или прошедшее по отношению к мыслимому моменту и пр.). Другими словами, в различной мере (не)совершенные грамматики возникают из актуального коммуникативного процесса и строятся на фундаменте коммуникативной типологии, представляя собой попытку описать отношение «коммуникативная ситуация—знак». Ошибочность этой процедуры часто состоит в том, что данное отношение мыслится одно-однозначным.

В действительности между словом и смыслом нет прямой однозначной связи. Понимание актуальных ситуаций возможно как в рамках грамматики, так и вне их, поскольку в действительности *понимаются не слова, а действия коммуникантов*. Для последних существует единственное требование, которое они исполняют непременно, — своими вербальными действиями они пытаются реализовать свои цели в коммуникативном пространстве. Сделать это можно различными способами, используя те или иные вербальные модели, обходясь иногда без них, «нарушая» или «соблюдая» принятые в различных сообществах словесные («грамматические») правила. Другими словами, соблюдение витгенштейновских правил «языковых игр», или каких-то иных правил употребления слов, не составляет цели для реального говорящего, который видит свою задачу совершенно в другом. В основании естественного говорения, таким образом, положена причина, не проясняемая и не затрагиваемая концепцией «грамматического языка».

НАБОР ВЕРБАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ВМЕСТО «ЯЗЫКА»

9. Концепцию «языка» нельзя признать эффективной для моделирования процесса, который имеет место в индивидуальном сознании при естественном говорении. При порождении речи *коммуникант использует кванты, всецело не совпадающие с грамматическими абстракциями, будь то генеративная или традиционная или какая-то иная грамматика*. В его распоряжении — не синтаксические члены предложений, времена глаголов, окончания падежей и пр., а вербальные модели действий в лично известных типологических ситуациях, или лексические синтагмы. Вербальные модели, отделенные от мыслимых ситуаций,

сами собою не складываются в пазл «языка» — они известны «носителям» в различной мере, не представляют собой переплетенной сети, не могут считаться автономной системой. Иначе говоря, «материя» слов (подобно другим или в отличие от других форм существования материи) не может самоорганизоваться, поскольку любое актуальное высказывание организуется мыслящим автором, обладающим очевидной свободой. Это свойство говорящего нельзя заключить в концепцию «языка», «схватить» данной инструментальной (тем более биологической) метафорой, как поступают в тех случаях, когда для моделирования процесса постулируется физическое (механическое) взаимодействие элементов. Созданию механистичной модели речевого процесса препятствует сам когнитивный процесс, который лежит в основании вербальных коммуникативных действий и осуществляется свободно, избирательно, индивидуально. Иначе говоря, платоновское соединение слов с сущностями вещей (с последующим признанием «языка» как самообусловленной системы слов-сущностей) вводит детерминизм, в действительности не свойственный говорящему, — в его сознании нет единства «слово-мысль-сущность», т. е. нет «языка». Он говорит не ради исполнения правил, а ради искомого результата своего действия. Внести порядок в хаос вербальных моделей посредством концепции «язык» — означает признать своего рода магию самоорганизующихся слов, ничем и никем в действительности не мотивированную.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГРАНИЦЫ СИСТЕМЫ «ЯЗЫКА»

10. Предметно понимаемый «язык» имеет слишком неопределенные границы: временные, пространственные,

терминологические и авторские. Попытки охватить весь узус на определенной территории, в определенном временном промежутке — т. е. найти общий для всех «инструмент выражения мыслей» — ведут к разрастанию номенклатуры терминов и произвольному социально-территориальному дроблению, доходящему до последних «атомов» — отдельных коммуникантов в данном хронотопе. Так возникают «языки» рекламы, средств массовой информации, детей, социальных низов, молодежи, жителей села N, Поволжья, верхненемецкий или среднеанглийский «язык», поздняя латынь и пр., которые при ближайшем рассмотрении все равно оказываются индивидуальными «языками» отдельных говорящих (пишущих) — «языком» Гомера, Шекспира, Пушкина, Достоевского и пр.

ЗАМЕНА ГРАММАТИКИ КОММУНИКАТИВНОЙ ТИПОЛОГИЕЙ

Итак, абстракция «язык» не может служить эффективной моделью вербального коммуникативного процесса, поскольку, скорее, скрывает, а не проясняет реальное положение дел, постулируя ошибочную причинность в процессах смыслообразования и неправомерно важную роль предметного слова. «Язык» в том виде, в каком он обычно явлен исследователю «общего инструмента говорения», в действительности представляет собой набор нереализованных (и по мере того бессмысленных) моделей. Одновременно в распоряжении исследователя — типология коммуникативных ситуаций, или мыслимые участниками (в т. ч. самим исследователем) ситуации взаимодействия, что обыкновенно не включается в перечень теоретических инструментов. Однако именно благодаря индивидуально мыслимой коммуникативной

типологии «сказать можно все что угодно — было бы зачем». Попытки найти в бессмысленных словах и конкретных осмысленных ситуациях действия «единый инструмент» равносильно задаче принудить всех коммуникантов думать и говорить одинаково, что в целом невозможно и не нужно. Напротив, смысл и интерес вербального факта состоят в индивидуальном свободном действии, к пониманию которого тернистым путем ведет историко-филологический анализ. До лично воспринятой, кем-то актуально мыслимой ситуации вербального действия невозможно говорить о «смысле слов». Коммуникативный синтез, как цель и результат «языкового» исследования, достигается обращением к смыслообразующему говорящему, а не к мнимо самозначным фактам «языка». Ввиду этого вместо грамматики как системы самоорганизующихся слов «языка» более адекватным реальному процессу говорения—понимания следует считать *коммуникативную типологию*, отражающую сходные черты вербальных действий и вбирающую в себя гораздо больше значимых параметров конкретных коммуникативных ситуаций.

МНЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРЕДМЕТНОЙ СИСТЕМЫ «ЯЗЫКА»

При коммуникативной трактовке вербальных фактов значение предметного слова резко падает. Неспособность лексем к самоорганизации и самоозначиванию, невербальность когнитивных процедур закономерно удаляют от «слова самого по себе», что наблюдается в современных попытках теоретически представить словесный коммуникативный процесс. При всем том предметные слова

составляют наиболее заметную часть естественного говорения, вершину айсберга вербальной коммуникации, и от них невозможно отказаться. Возникает двойственная ситуация — расставания при невозможности расстаться. В возрастающей нестабильности отношений парадигм — предметной и коммуникативной — по-видимому, следует искать точку равновесия. Первая не должна быть отвергнута в пользу второй, а, скорее, вписана в нее. По-видимому, весь сложный комплекс предметной номенклатуры, созданной в рамках «слово-изолирующей» парадигмы, следует истолковать как тщательно разработанную *мнемотехнику*, которая может быть использована в лингводидактике и практической риторике.

Так, система лиц в «языке» существует не потому, что «так устроен язык», а потому, что во всех актуальных коммуникативных актах у говорящего возникает необходимость указать на себя (вместе с другими или без), на тебя (вас) или на них. Чтобы освоить «систему лиц» чужого языка или адекватно использовать (истолковать) модели родного языка в актуальных условиях, говорящему необходима невербальная коммуникативная типология — подлинная универсалия коммуникативного процесса, или «языковая универсалия». Именно она выстраивает в порядок сами по себе бессмысленные вербальные модели и составляет твердое основание для сопоставлений актуального вербального материала различных языков. Переходя на уровень предметности, универсальная «система лиц» теряет свою универсальность и становится таблицей местоимений конкретного языка. Однако даже простейшее сочетание звуков невозможно интерпретировать вне актуальной ситуации коммуникации.

Стойки некогда оторвались от коммуникативных оснований вербальной типологии. Так, оформленное учение о падежах стало для них не подсобным средством концептуальной организации материала, а «самим языком». Такую исследовательскую процедуру, в попытках достичь более адекватной модели вербального процесса, следует не повторять, а обратить вспять, к коммуникативным истокам, — *вспомогательному* инструментарию невозможно придавать онтологический статус при истолковании личных («живых») коммуникативных действий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Идеи Платона и типология деклических синтагм¹

В своем выступлении я попытаюсь обнаружить параллели и, наоборот, несовпадения, возникающие при сравнении некоторых основополагающих аспектов учения Платона об идеях с некоторыми современными лингвистическими воззрениями. Как известно, платоновские идеи (греч. *idea*, *eidōs*), ставшие краеугольным камнем философии объективного идеализма в европейской традиции, до сего дня способны составлять теоретическое основание для рассуждений о феноменах естественного языка — как в русле лингвофилософских, так и собственно лингвистических построений (к первым, лингвофилософским, следует, например, отнести воззрения на вербальный материал А.Ф. Лосева, о. П. Флоренского, о. С. Булгакова, других представителей философии имени, ко вторым — лингвистическую практику компонентного анализа, этимологии, любую теорию значения отдельно взятого слова, а также любую практику нахождения строгих корреляций «знак—значение» на различных уровнях языковой предметности, лишенной коммуникативной актуальности). При этом учение Платона в его лингвистическом (смыслословесном) аспекте было отвергнуто или

¹ Доклад ранее опубликован в сборнике: Ежегодная богословская конференция ПСТБИ, М., 2003. С. 357—364.

в значительной степени скорректировано уже христианской святоотеческой традицией в трудах каппадокийских отцов — Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова и др. Новый взгляд на очевидно противоречивый вопрос об идеях (и их отношении к естественному вербальному материалу) может быть сформулирован в русле коммуникативной (дискурсивной) парадигмы лингвистического описания, которая, как я попытаюсь показать, всецело созвучна святоотеческим представлениям об «идеях» и значении «слова».

Оставляя в стороне все нерешенные и неясные вопросы, традиционно адресуемые способу изложения Платона, можно, тем не менее, обозначить в целом определенное и твердое основание его учения об идеях или то общее место, которое было усвоено от Платона школьной философской традицией: идеи есть истинно сущее, они полагаются *за пределами* видимых вещей, они *всеобщи, ведомы всем* по воспоминанию.

В этой платоновской позиции очевидно то, что причина всеобщности («ведомости всем») оказывается за пределами субъекта — Сократа, самого Платона, любого «первого встречного». Только так, согласно Платону, можно объяснить *интерсубъектное* понимание одного и того же в тождестве различными индивидуальными сознаниями: идея едина для многих. Другими словами, тождество в интерсубъектных отношениях, например, в речи как обмене мыслями, возможно только в том случае, если одно и то же — для всех. Только так оказывается возможным преодолеть дурную бесконечность индивидуального. С этой точки зрения, платоновская теория идей есть способ *обретения тождества* в мыслящих субъектах, решение вопроса, *как и откуда возникает это мыслимое каждым тождество*

и следующее из этого понимание друг друга. В конечном счете это попытка теоретического преодоления полнейшей очевидности: все субъекты в действительности не представляют собой единое тело и разум, а явно наоборот, — но они *причастны общей для всех идее*, они имеют возможность пользоваться *общим для всех «банком идей»*.

Как известно, Платон не оставил сомнения в своей приверженности объективному. В богословском отношении это выразилось, например, в признании того, что мир идей — объективно существующий «банк данных» — имеет самостоятельное бытие, является равночинным демиургу и материи, что, заметим, абсолютно не приемлемо с точки зрения позднейшего христианского богословия.

Отвлечение от субъектной причинности идей, фактическое изгнание субъекта, сказалось и в лингвистических воззрениях Платона, насколько можно говорить о специальном лингвистическом аспекте его философской схемы. Подобно тому, как за каждой вещью стоит ее истинно сущая идея, за каждым словом, рассматриваемым в качестве вещи, также стоит его идея. В этом смысле поиск правильности имен, предпринятый в «Кратиле», есть поиск *идеи* слова. Снимая неясности и недоговоренности, присутствующие в этом диалоге, неизбежным остается факт того, что именно отдельное слово является для Платона носителем смысла и что именно через отдельное слово лежит путь к обозначаемому им смыслу.

Эта причинно-следственная связь, традиционно — не только Платоном — устанавливаемая между предметным словом и смыслом и освещенная платоновским учением об идеях, при признании нулевой роли субъекта речи превращает предметный языковой материал в самодостаточный объект исследования, который сам собою несет смысл

и в форме которого содержится вся палитра возможного смысловыражения. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что вся последующая история европейского языкознания сводилась к попыткам вместить неисчерпаемое содержание мыслимых и выражаемых субъектных смыслов в прокрустово ложе предметного элемента речи — в те самые слова, за внешней формой которых якобы стоят объективные идеи. Так, опираясь на отдельно взятое слово, выражающее смысл, стойки создают учение об этимологии. Так, значительно позже Ф. де Соссюр указывал на то, что «слово, несмотря на все трудности, связанные с определением этого понятия, есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто центральное в механизме языка».

Однако, несмотря на совокупные — древние и современные — попытки вынести говорящего за скобки и опираться затем на чистую объективную идею, следует тем не менее констатировать, что *ничего мыслимого вне самого субъекта нет*, — *мыслит* именно он: правое—левое, верх—низ, черное—белое, холодное—горячее, и т. д. Более того, правое становится левым, верх низом, большое малым и т. д. только в зависимости от его субъектной позиции и точки зрения. Ни права, ни лева, ни верхнего, ни нижнего, ни черного, ни белого, ни маленького, ни большого вне субъекта вообще невозможно указать. Никаких противоположностей не существует вне того, *кто* их как таковые выделяет и устанавливает.

Объективизация слова естественного языка, граничащая с его обожествлением, вызвала естественную реакцию со стороны каппадокийцев. Евномий, против которого была направлена их критика, в числе прочих аргументов своего понимания идеи Бога прибег также и к

лингвистическим доказательствам, в сущности опираясь на платоновскую и стоическую схему и понимая слово естественного языка как смыслоформальное единство. Еще до него в трудах Филона Александрийского, как известно, оказавшего огромное влияние на христианское богословие, воззрения Платона были последовательно адаптированы к библейскому материалу. Именно Филон первым уподобил Адама платоновскому ономатету и заявил, что, нарекая имена, тот прозревал сущности вещей и отражал это в звуковом облике имени, т.е. отражал в слове некие сущности из мира идей, или сами идеи.

Этот комплекс воззрений на лингвистический материал, имеющий в основе платоновское соединение объективного слова и объективной идеи, критиковался каппадокийцами как раз за отсутствие в нем субъекта. Одновременно слово естественного языка, из которого изымалась объективность, лишалось своего божественного или полубожественного статуса.

Так, Евномий, претендовавший на выражение ортодоксального христианского воззрения, вслед за Филоном трактовал акт установления имен как сотворчество человека с Богом: человек узнает и выражает словесно имена, которые были до времени сотворены и предопределены к воплощению Богом. Бог является творцом и «насадителем» имен, эти же имена содержатся и в том, кто есть образ и подобие Божие — в человеке, и в именуемом как его идея, как то, что дает именуемому индивидуальное бытие.

Согласно учению Евномия, следовавшего за Филоном и, соответственно, Платоном, а также, насколько можно судить, согласно другим направлениям арианства, именование животных Адамом было проявлением во всей полноте его мудрости, выявлением внушенной ему

богооткровенной истины. Для Евномия Адам-ономатотет стоит особняком в человеческой истории, открытые ему глубины мудрости недостижимы для простых смертных, имятворчество — акт глубокой древности, инобытия человека, райского, а не греховного существа. Имена если не творения наравне с предметами, то удостоверения бытийности, некие паспорта, без которых нельзя судить со всей определенностью, есть ли нечто или не есть. По-видимому, как и для Евномия, для ариан имел значение не только Логос, но и бесчисленные логосы, укореняющие реалии в их бытии, и этими логосами они признавали имена.

Вопреки этому взгляду каппадокийцы учили о человеческом — субъектном — основании имени: люди дают предметам имена в результате познания именуемого предмета, явления или отношения, познание же, как правило, возникает в процессе деятельности и, в частности, деятельности мышления. Так, высмеивая Евномия, в рассуждениях которого неизменно присутствовало благоговение перед мудростью ономатета, Григорий Нисский намеренно снижал его образ, критикуя одновременно позицию Филона и его предшественника Платона: «О величественное учение! Какие мнения дарит богослов [Евномий] Божественным наставлениям, в которых люди не завидуют даже банщикам! Потому что и им мы уступаем составлять имена тех действий, над которыми они трудятся, и никто не величал их богоподобными почестями за то, что ими устанавливаются имена для бывающего у них: тазы, псилетиры, утиральники и многие таковые, естественно выражающие предмет значением слов»ⁱⁱ. Разумеется, именование для Григория было не просто механической реализацией

ⁱⁱ *Григорий Нисский. Опровержение Евномия. Творения, ч. 6, с. 425.*

заложенной в человеке способности, не повторением в звуке того, что в готовом виде уже дано в идее вещи, не перекодировкой неких божественных сущностей в производимые. Именование — это всегда акт человеческого творчества, осуществляемого в соответствии с актуальными целями субъекта. «Например, у каждого есть простое представление о хлебном зерне, по которому мы узнаем видимое нами [=невербальное. — *А.В.*]. Но при тщательном исследовании сего зерна входит в рассмотрение многое, и даются зерну различные именованья [=вербальное. — *А.В.*], обозначающие представляемое. Ибо одно и то же зерно мы называем то плодом, то семенем — как начало будущего, пищу — как нечто пригодное к приращению тела у вкушающего [=актуальные цели. — *А.В.*]»ⁱⁱⁱ.

При этом слова человеческого языка никоим образом не считались чем-то богоданным и надмирным. Скорее, в творениях каппадокийцев содержится мысль о том, что язык необходим человеку как рабочий инструмент для осуществления коммуникации вследствие телесности человека. Так, по словам Григория Нисского, «человеку несколько не нужно было бы употреблять слова и имена, если бы люди могли открывать друг другу чистые движения разума, подобно тому как общаются ангелы. Но так как возникающие в нас мысли не могут обнаружиться вне телесной оболочки, мы, по необходимости, наложив на вещи как бы знаки, известные имена, посредством этих знаков объясняем движения ума. А если бы можно было иначе обнаружить движения разума, то мы, перестав пользоваться услугою имен, яснее и чище беседовали бы друг с другом, открывая чистыми движениями разума саму

ⁱⁱⁱ *Василий Великий*. Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия, кн. 1. // Творения. Т. 1. С. 465—466.

природу вещей, которыми занимается ум. Теперь же, из-за невозможности подобного внеязыкового, нематериального выражения, а равно и восприятия мысли, мы одному из существующего дали имя «небо», другому — «земля», иному — еще какое-либо; также и отношение чего-то к чему-то, или действие, или страдание, — все это мы обозначаем особенными звуками для того, чтобы движение ума не осталось у нас несообщенным и неизвестным другим людям»^{iv}.

Таким образом, суть полемики представителей платоновского объективного понимания лингвистической природы имени (=лингвистического материала) и сторонников субъектного, антропоцентричного понимания сводится к следующему: с одной стороны, платоновское учение об идеях, лежащее в основании древних и современных лингвистических и лингвофилософских воззрений, не теоретизирует субъектность, выдвигая на передний план общезначимость, самотождественность и общепонятность внеиндивидуальных сущностей (идей). Более того, сам Платон намеренно сторонился проблемы индивидуального: субъектность для него — это то, что следует преодолеть, подобно тому как следует добраться до чистой идеи конкретной вещи, преодолев несовершенство конкретной реализации. С другой стороны, для его оппонентов вполне очевидно, что изъять субъективный элемент из модели описания речемыслительного процесса невозможно. Так, если *не вводить мыслящего субъекта в описательную теоретическую схему*, то говорить об идее, скажем, большого и малого, правого и левого, близкого и далекого, становится в принципе невозможно, поскольку *эти понятия всецело субъектны*. Лингвистический

^{iv} Григорий Нисский. Указ. соч. Ч. 6. С. 419.

материал, соответственно, имеет не божественную и вне-человеческую этиологию, а вполне осязаемую, «посюстороннюю», заключенную в субъекте мысли и речи.

Европейское языкознание, унаследовавшее принципы лингвистических исследований от греческой и римской античности, длительное время, до середины XX-го столетия, имело в своем основании платоновскую, объектную модель описания феноменов естественного языка, истоки которой, по-видимому, следует обнаруживать в учении об идеях. Такой подход нашел выражение в системоцентризме и объективизации предметного элемента речи, приписывании ему автономной способности смыслообразования и организации (чего стоит одно только соссюроевское положение о том, что изучать возможно только «язык», противопоставленный речи, — в действительности целиком искусственный «идеальный» объект, в то время как самотождественный «язык» в действительности не засвидетельствован нигде, ни в одном реальном актуальном тексте — везде и повсюду одна лишь субъектная «речь»). Однако на *что* все же указывает вектор субъектной коррекции, в правомерности которого сложно усомниться здравому размышлению? Имеются ли в современном языкознании хотя бы попытки последовательной реализации антропоцентрического принципа, на который столь недвусмысленно указывали каппадокийцы?

Мне представляется, что современный когнитивный (коммуникативный, дискурсивный) подход к лингвистическому материалу дает пример, по крайней мере, *стремления* синтезировать платоновскую идеальную *всеобщность* (которая, по мысли Платона, обеспечивает возможность самотождественности, проявляющуюся в понимании субъектами друг друга и выраженную в учении о «банке

идей», умном месте и т. п.) и реальную субъектность, без которой всякое теоретизирование в гуманитарной области (в т. ч. в языкознании) с очевидностью невозможно.

Процесс соединения всеобщности и субъектности можно иллюстрировать на примере теоретизирования отдельного слова — того самого, которое бесспорно понимается участниками речемыслительного процесса, и ввиду этого объективизируется с точки зрения платоновской парадигмы, но в то же время не может быть объективизировано с точки зрения субъектной парадигмы.

Пожалуй, для наглядности различия двух парадигм — объектной и субъектной — в способах теоретизирования слова следует указать на две очевидности, которые лежат в основании этих подходов. Первая, объектная, заключается в том, что речь состоит из слов, что слова имеют значение и что они образуют этими значениями общий смысл высказывания (ср. Кратил 385 вс: *Сократ*. А истинная речь истинна целиком или при этом *части* ее могут быть неистинными? *Гермоген*. Нет, и *части* тоже будут истинными. *Сократ*. А как? Большие части будут истинными, а малые — нет? Или все будут истинными? *Гермоген*. Все. Я по крайней мере так думаю. *Сократ*. Так вот: то, что ты называешь малой частью нашей речи, отличается от имени? *Гермоген*. Нет. *Имя и есть наименьшая часть*). Можно ли с этим не согласиться, и если можно, то какой второй очевидностью следует эту, первую, заменить?

По-видимому, гораздо большая очевидность состоит в том, что материальная, предметная оболочка речи — это далеко не весь комплекс речемыслительного процесса, который осуществляется любым говорящим на любом языке. Поэтому утверждать, как это делает Платон, что

речь состоит только из слов — неправомерно, ввиду того что неполно. Кроме того, слова, рассматриваемые по отдельности и образующие своими отдельными смыслами общий смысл высказывания, в действительности никогда не произносятся в своих отдельных смыслах, сами по себе — они всегда значат разное, поскольку в актуальном «говорении» неразрывно связаны с мыслимыми элементами коммуникативной ситуации, индивидуально воспринимаемыми говорящим. В этой субъектной *актуальности*, с одной стороны («не актуального — никчемного — использования естественного языка не бывает, любое высказывание для чего-то нужно»), и в этой *связи с мыслимыми элементами коммуникативной ситуации* («речь и ее несамостоятельные элементы — слова — означают то, что мыслится говорящим, а не что-то, присущее словам самим по себе»), с другой стороны, и заключается вторая — более очевидная — очевидность речемыслительного процесса.

Так, например, звуковой облик слова [ja], как и любого другого слова, первичен по отношению к любому графическому его изображению. Если задаться вопросом, что же обозначает слово [ja], то, рассчитывая на первую, платоновскую очевидность, можно, по-видимому, рассуждать таким образом: если есть слово, в нем должен быть смысл. Однако он недостижим в рамках слова, изолированного от коммуникативного процесса. Даже если упростить задачу поиска и признать, что данное [ja] — это русское «я», а не немецкое «ja» и не французское [ja] в произносимой последовательности «il y a un livre», смысл оказывается по-прежнему недостижимым, поскольку все произносящие в отношении себя «я» будут тем самым придавать этому слову различные смыслы, явно не совпадающие между собой, как не совпадают между собой сами

говорящие. Значения, содержащегося в отдельном (изолированном, самом по себе) слове [ja], констатировать, таким образом, невозможно.

То же самое относится к любому имени (и другим «знаменательным частям речи»). Так, интерпретируя, согласно платоновской схеме, значение слова [rok], нужно прежде всего решить, к какому «языку» относится данное слово. Если остановиться на русском (хотя, скажем, в английском такое «слово» тоже присутствует), то следует задаться другим неразрешимым вопросом: стоит ли за данным звукокомплексом русское слово «рог» или другое слово — «рок»? Если избрать первую возможность, то, вероятно, следует установить, чей это «рог», поскольку в любом тексте, где встретится это слово, будет присутствовать не «рог вообще», а какой-то «конкретный рог», который как раз имел в виду автор любого актуального текста, и именно в том «актуальном роге» был смысл произнесения им слова. Затем, по-видимому, следует решить, является ли рассматриваемый рог музыкальным инструментом, или частью тела животного, или рогом Моисея из соответствующего места Септуагинты или с картины Микеланджело и т. д. Тут следует согласиться, что в ходе этой процедуры, т. е. при поисках идеи в изолированном слове «рог», ни в коем случае не будет найдено то, что в каждом отдельном случае имел в виду любой говорящий, когда-либо произносивший это слово. Если же избрать вторую возможность («рок»), то откроется еще более обширное пространство для поисков, и рассуждать об их результатах было бы лишней тратой времени.

По-видимому, в этой ситуации не стоит утверждать, что в слове [rok] собраны все мыслимые и немыслимые говорящими «роки», «роги» и «рога». И вряд ли этой работой был

занят тот, кто в актуальных текстах употреблял эти слова. По-видимому, все эти слова и словоформы объединились затем в сознании исследователя, следующего предметной — словоориентированной — модели описания лингвистического материала. Соответственно, платоновская очевидность («если есть слово, значит, есть и смысл»), по-видимому, не ведет к смыслу («идее»), который реально существует только в личном актуальном речемыслительном процессе.

На фоне этого вторая очевидность представляется гораздо более очевидной. Так в первой строке данной статьи присутствует слово [ja], которое, благодаря особенностям графического способа передачи стало совершенно определенным русским «я». Это слово не вызвало у читателя никаких долгих раздумий над его значением — это слово было прочитано и понято в актуальном употреблении без каких-либо сложностей и недопониманий. В данном случае речь идет об *актуальном* употреблении, в котором только и существуют слова любого естественного языка. Как видно, значение этому слову придала в момент прочтения мыслимая адресантом (говорящим или пишущим) и мыслимая воспринимающим (читателем или слушателем) коммуникативная ситуация со своими параметрами, которые, пройдя через сознание участников коммуникации, придают смыслы словам, требуют слов, представляя несловесные смыслы. В отличие от этого конкретного случая, до употребления в актуальной ситуации слово [ja] и [гок], как и все прочие неактуальные слова, представляют собой всего лишь пустые звуки, голые модели, которые ничего не обозначают и ни на что не пригодны вне актуальных целей говорящих, особенностей их мыслительного процесса и языкового поведения. Посредством этих

моделей говорящие совершают действия в коммуникативном пространстве, и по мере того их «слова» получают смысл.

Из этого примера вполне очевидно, что теоретизировать слова посредством присущих им «идей» по платоновской схеме — означает фетишизировать слово, приписывать ему свойства, которые в нем самом не присутствуют. Откуда, однако, возникает идея о значении слова вне чего бы то ни было? На мой взгляд, констатация значения слова следует как раз из той самой актуальной коммуникации и тех коммуникативных ситуаций, в которых обычно реализуются данные модели. Другими словами, убежденность в существовании изолированного лексического значения (или т. н. семантики) лексемы зиждется на одном несомненном психологическом факте сознания каждого носителя языка: произнося изолированное слово, любой субъект речевой деятельности, говорящий на родном языке, не может отрицать, что у него неизбежно возникают какие-то ассоциации в воображении, активизируется память; именно это и есть то, что носитель языка считает или самым значением слова, или, по крайней мере, чем-то имеющим отношение к тому самому лексическому значению слова, его самостоятельной семантике^v. По-видимому, эти ассоциации есть нечто подобное тому, что Платон понимал под идеями слов, настаивая, что эти мыслимые «значения» приходят из некоего общего «фонда значений»,

^v «Словоизолирующая» парадигма отношения к слову «закреплена» в методе компонентного анализа, в попытках создания систем лексикологии, в этимологических изысканиях в области сем, корней или морфем, в еще сохраняющейся в некоторых исследованиях практике анализа лингвистических структур от «минимального целостного знака языка» — слова («предложения создаются словами»), в рассуждениях о различного рода валентностях слов и мн. др.

своего рода «базы данных». На мой взгляд, в русле коммуникативной парадигмы можно предложить следующее объяснение этого факта: ассоциации, возникающие у носителя языка при изолированном произнесении слова, есть не что иное, как воспроизведение в памяти некоей (минимальной) коммуникативной ситуации, которая предполагает употребление данного фонетического комплекса («слова») у носителя «языка» и которой данное «слово» вполне свойственно. Так, например, слыша изолированно произнесенное слово [ja] или [rok], носитель языка *воспроизводит в памяти ситуацию*, в которой он употребляет, или может употребить, именно это слово в расчете на воздействие, адекватное своему замыслу (это может быть ситуация номинации или любая другая).

Таким образом, мыслимая ситуация и есть то, что предлагает дискурсивная парадигма описания языкового материала взамен платоновских идей, якобы присущих автономным словам. В действительности слово не существует вне ситуации, которая, проходя через сознание, и порождает смыслы, но не сами слова, — слова могут быть самые разные и самых разных языков, однако сопоставляться друг с другом, «значить» одно и то же или разное они будут только на основании общности или различия коммуникативных ситуаций, в которых они актуально используются говорящими.

Именно понятие о ситуации, следствием чего является понятие о дектической синтагме, и позволяет теоретизировать, с одной стороны, наблюдаемое тождество в понимании (к чему, по-видимому, стремился Платон, создавая учение об объективных общезначимых идеях), и реальную субъектность речемыслительного процесса (т. е. очевидную разность индивидуальных сознаний), что было

изгнано Платоном из его схемы. Чтобы пояснить, как это происходит и что такое дектическая синтагма, я сошлюсь на процесс усвоения языка ребенком, который, начиная говорить и произнося, скажем, русское «дай», очевидным образом совершает следующее: с одной стороны, он оказывает воздействие на ситуацию, в которой ему, говорящему, необходимо получить нечто от мыслимого им потенциального дающего («дающим» может быть, например, и бессловесная собака, но главное то, что ребенок *мыслит* ее способной к коммуникации, вовлеченной в этот процесс), путем произнесения слова «дай» ребенок совершает действие, или воздействует на мыслимое им коммуникативное пространство; с другой стороны, он говорит именно [daj], т. е. конкретное «слово», которое, по-видимому, согласно платоновскому понятию об идеях, должно означать нечто само по себе. И здесь с очевидностью следует констатировать, что [daj] само по себе не значит ничего. Просто-напросто данная модель принята у говорящих порусски для данного воздействия на ту ситуацию, в которой оказался ребенок. «Русскоязычные» родители научили его артикулировать [daj] в данной и подобных этой ситуациях. Очевидно, что «англоязычные» родители в идентичной ситуации учат своего малыша произносить другое «слово», которое, вероятно, будет переведено на русский язык словом «дай» только благодаря общности осознаваемой ситуации, но не по причине каких-то свойств самих произносимых звуковых комплексов. Так, у англичан [daj] принято произносить совершенно в других ситуациях, осуществляя совсем другие действия в коммуникативном пространстве — «dy», «die». Сама сопряженность мыслимой ситуации с звуковым комплексом, предполагающим данное воздействие на ситуацию говорящего, и есть

дектическая синтагма. *Типология дектических синтагм*, по-видимому, хранится в памяти говорящего, возникая из повторяемости, т.е. из постоянно устанавливаемых аналогий одного с другим по актуальному для говорящего критерию. В этом смысле ребенок, как и любой другой говорящий на естественном языке, говорит не словами, а дектическими синтагмами («дектическая» — от греч. *dekhomai* «воспринимать»). Так, в ситуации произнесения «дай» ребенок типологически воспринимает саму необходимость что-то получить от мыслимого собеседника. Произнося «дай» в данной осмысленной им ситуации, он реализует типологическую дектическую синтагму. Таким образом, сами произнесенные слова обозначают только то, что предполагает мыслимая ситуация, т.е. обозначают нечто постольку, поскольку входят в состав той или иной дектической синтагмы — обозначают нечто как для самого говорящего, который добивается адекватного воздействия на ситуацию, так и для слушающего, который должен адекватно истолковать все условия вербального действия, чтобы это вербальное действие правильно понять.

Соответственно, сами слова в их автономности не значат ничего и не могут пониматься в тождестве. В тождестве, как видно, понимаются ситуации, ее параметры, существующие связи между элементами ситуации (в т. ч. кто присутствует в поле зрения, кто является адресатом или источником речи, кто и в каких обстоятельствах будет читать (слушать) данный текст и т. п.) — и это происходит не вербально. Только на основании мысленно воссозданного тождества («дектики») устанавливается затем способ воздействия на коммуникативную ситуацию — как со стороны говорящего, который действует «словами» и рассчитывает на адекватность производимого действия, так и со

стороны воспринимающего, который истолковывает действия говорящего в данных мыслимых условиях (и если параметры ситуации воссозданы не правильно, не тождественно тому, как это делал говорящий, то понимания в тождестве нет, и тут слова будут ни при чем).

Таким образом, для описания лингвистических феноменов («слов»), по-видимому, следует признать большую теоретическую валентность не за платоновскими идеями, а за понятием дектической синтагмы, которое органично вписывается в современную коммуникативную (дискурсивную) парадигму. Всеобщность, тождественность в понимании языкового действия, которую стремился теоретизировать Платон в учении об идеях применительно к «словам», в действительности обеспечивается невербально — актуальностью конкретного осознания, в условиях конкретной ситуативности, а не самими словами, якобы содержащими в себе идеи.

Как видно, учение Платона об идеях в приложении к лингвистическому материалу обнаружило недостаточность уже в святоотеческой литературе. Каппадокийцы, в частности, указали, что слово как объект лингвистического теоретизирования не может иметь иной этиологии, кроме субъектной, тем самым направляя вектор коррекции платоновского воззрения *в сторону субъекта, подчиняющего себе идеи* (в т. ч. идеи слов). По-видимому, только в настоящее время лингвистическое знание в лице когнитивного (коммуникативного, дискурсивного) направления выходит на уровень, который в состоянии объять и синтезировать *тождество* (объективно констатированное Платоном) и очевидную субъектность интеллектуального (и речемыслительного) процесса — доселе теоретически не согласованные и взаимоисключаемые.

2. FROM RELATIVE WORDS TO UNIVERSAL ACTS: THE LIMIT IN STUDYING «LANGUAGE»^{vi}

The structural diversity of human languages becomes obvious from the procedure of comparing traditional material of different languages, i.e. words, word parts and word groups. If postulating the meaning of *words* one comes to a paradox: there are no *words* which coincide semantically in any two languages, so the translated word in a target language can never equate to the original. This would lead to the total impossibility of translation.

(Quine's theory of the indeterminacy of translation is represented by his famous example of a native saying «gavagai» on the sighting of a rabbit. An observer of this act could conclude that what the native expressed in this word was the sighting of a rabbit, or simply of food, or even a description of the rabbit's colour. To properly understand what the native means, we must have an understanding of the language's grammar, but in order to understand the grammar, we must first make a hypotheses concerning statements which is interpretatively indeterminate. What we are left with is a pure indeterminacy of meaning).

Moreover, a real word of the same language never has the same meaning when being used in different communicative contexts. Thus, an English dictionary won't give the meaning "A.V." for the word "I", though I mean just that when saying

^{vi} Ранее опубликовано в сборнике: *Societas Linguistica Europaea. 39th Annual Meeting «Relativism and Universalism in Linguistics»*. Bremen, 2006, с.33—34.

“I” in an actual situation. So even in the field of the same language, a word can never be the same. This would lead to the total misunderstanding even among native speakers, but in fact translation is possible as well as understanding actual (oral or written) communication.

The examples above shows that relativism towards linguistic facts are introduced by the *word-dependent approach* to the meaningful speech phenomena. However this is insufficient. What is relative is a word in different languages. The true universality is possible beyond objective verbal facts. That is not form-dependent and objectively defined in the *verbal* “language”. The word-dependent (system-orientated) approach points at the limit in studying the real communicative process. The *universal* element of communication is the *act which a communicant tends to perform in the conceivable communicative situation*.

(The native when saying «gavagai» has something definite in mind. He/she is doing something understandable for him/herself. The meaning is in his/her mind, not in the relative words themselves. To translate means to (make) understand the *conceivable inner act*).

In the inner representation, *the act is not verbal*. Thus, there aren't any words in a wish to ask somebody to do something, to inform somebody about something. One doesn't need words to compare (identify, dissolve, etc.) conceivable objects or situations. A communicant doesn't need verbal models (“words”) in order to influence an audience. “Words in mind” are the images of communicative interactions in which the given phonetic (graphic) units could be used according to a speaker's viewpoint. The “structure of a language” is created by a linguist based upon the *typology of the conceivable situations of actions*. The general typology is rather a “fuzzy set” and thus, a culture-

Приложение

dependent situation could propose its own typology. The more parameters of the concrete authentic action an observer takes into account, the better he/she understands an actual word. When there are no relative words, the *conceivable acts* tend to be a universal basis for translating and understanding

(In fact “gavagai” by itself means nothing, but the inner act of a native saying represents the meaning of the word. This becomes clear from the complex communicative situation and not from the grammar).

БИБЛИОГРАФИЯ

- Алпатов В.М.* История лингвистических учений. М., 2001.
- Алпатов В.М.* Книга «Марксизм и философия языка» и теория языкознания // Вопросы языкознания, 1995. № 5.
- Античные теории языка и стиля. М.-Л., 1936.
- Аристотель.* Сочинения в 4-х т / Ред. В.Ф. Асмус. М., 1978. Т. 2. С. 93-99 / Перевод Э.Л. Радлова (1891), переработанный.
- Аристотель.* Сочинения в 4-х т. / Ред. В.Ф. Асмус. Т. 2. М., 1978. С. 93-99 / Перевод Э.Л. Радлова (1891), переработанный.
- Арутюнова Н.Д.* Язык и мир человека. М., 1999.
- Асмус В.Ф.* Античная философия. М., 1976.
- Барулин А.Н.* Основания семиотики. Знаки, знаковые системы, коммуникация. М., 2002. Ч. 1.
- Бибихин В.В.* Язык философии. М., 1993.
- Василий Великий.* Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия // Творения: В 3-х т. СПб., 1911. Т. 1.
- Витгенштейн Л.* Философские работы / Пер. с нем. М.С. - Козловой и Ю.А. Асеева. М., 1994. Ч. 1-2.
- Григорий Нисский.* Опровержение Евномия. Творения. Т. 1-2. М., 2003.

- Гумбольдт В. фон.* О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода // История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. М., 1964. Ч. 1. С. 85–104.
- Гумбольдт В. фон.* О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития // История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. М., 1964. Ч. 1. С. 69–85.
- Ельмслев Л.* Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? / Пер. И.А. Мельчука. Благовещенск, 1998.
- Звегинцев В.А.* Младogramматическое направление // История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 1. М., 1964. Ч. 1. С. 184–186.
- Звегинцев В.А.* Очерк истории языкознания до XIX-го в. / История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 1–2. М., 1964–65.
- Камчатнов А.М.* Герменевтика славянской Библии. М., 1999.
- Катенина Т.Е., Рудой В.И.* Лингвистические знания в Древней Индии // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980. С. 65–92.
- Кубрякова Е.С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX-го века. М., 1995. С. 144–238.
- Лакофф Дж.* Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. / Пер. И.Б. Шатуновского. М., 2004.
- Макеева Л.Б.* Философия Х. Патнэма. М., 1996.
- Нарумов Б.П.* «Язык» лингвистики и «язык» философии. Contra Бибахин // Логос №1 (1999). С. 214–221.
- Остин Дж.* Избранное / Перевод с англ. В.П. Руднева. М., 1999. С. 15–138.

- Парибок А.В.* О методологических основаниях индийской лингвистики // История лингвистических учений, Л., 1981. С. 167.
- Перельмутер И.А.* Философские школы эпохи эллинизма // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
- Платон.* Собрание сочинений в 4 т. М., 1990. Т. 1. / Перевод Т.В. Васильевой.
- Потебня А.А.* Мысль и язык // История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 1-2. М., 1964–65. Ч. 2. С. 136-141.
- Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики / Пер. А.М. Сухотина. Цит. по изд.: История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях., Ч. 1-2. М., 1964–65. С. 358-411.
- Степанов Ю.С.* Язык и метод. М., 1998.
- Тронский И.М.* Основы стоической грамматики// Романо-германская филология. Сб. статей в честь В.Ф. Шишмарева. Л., 1957. С. 302-350.
- Тронский И.М.* Проблемы языка в античной науке// Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936.
- Фортунатов Ф.Ф.* Сравнительное языковедение // История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 1-2. М., 1964–65. Ч. 2. С. 238-262.
- Хакинг Я.* Представление и вмешательство. М., 1998.
- Хомский Н.* Синтаксические структуры / Пер. К.И. Бабицкого. Благовещенск, 1998.
- Хомский Н.* Язык и мышление / Пер. Б.Ю. Городецкого, В.В. Раскина. Благовещенск, 1999.
- Хомский Н.* Язык и проблемы знания / Пер. И.М. Кобозевой, Н.Исакадзе, А.А. Арефьева. Благовещенск, 1999.
- Целищев В.В.* Возможна ли иррациональная математика. См. интернет-ресурс: http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience/7_00/tselichev.htm

- Цицерон.* Три трактата об ораторском искусстве / Пер. с латинского Ф.А. Петровского, И.П. Стрельниковой, М.Л. Гаспарова. М., 1972.
- Язык и моделирование социального взаимодействия. Благовещенск, 1998.
- Apollonii Dyscoli.* De constructione libri quattuor. Rec. G. Uhlig. Lipsiae, 1910.
- Austin J.L.* How to do things with words. Cambridge, 1962.
- Barwick K.* Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik. Berlin, 1957.
- Dahlmann H.* Varro und die hellenistische Sprachtheorie. Berlin, 1932.
- Dionysii Thracis.* Ars grammatica / Ed. G. Uhlig. Lipsiae, 1883.
- Fodor J.D.* Constraints on gaps: is the parser a significant influence? // Explanations for language universals. Berlin, 1984.
- Gentinetta P.M.* Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten und in der stoisch-hellenistischen Zeit. Winterthur, 1961.
- Givon T.* Syntax. A functional-typological introduction. Amsterdam; Philadelphia, 1984.
- Gudeman A.* *Grammatik* // Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft / Bearb. von G. Wissowa und W. Kroll. Stuttgart, 1912. Bd 7. S. 1789.
- Jackendoff R.* Sense and Reference in a Psychologically Based Semantics // Talking minds: The study of Language in Cognitive Science. Cambridge, 1984.
- Kripke S.A.* Wittgenstein on Rules and Private Language. Cambridge, 1982.
- Langacker R.W.* Foundations of cognitive grammar. Stanford, 1987. Vol. 1. Theoretical Prerequisites.
- Langacker R.W.* Why We Need a Vertical Revolution in Linguistics. The Fifth Lacus Forum. Columbia, 1978.

- Lewis D.* Putnam's Paradox // *Australasian Journal of Philosophy*. 1984. Vol. 62.
- Lohmann J.* Über die stoische Sprachphilosophie // *Studium Generale*, 1968. Vol. 21. Fasc. 3.
- Pfeiffer R.* Geschichte der klassischen Philologie. Von den Anfängen bis zum Ende des Hellenismus. Hamburg, 1970.
- Pinborg J.* Classical antiquity: Greece // *Current Trends in Linguistics* / Éd. Th. A. Sebeok La Haye-Paris, 1975.
- Putnam H.* Models and reality // *Journal of Symbolic Logic*. № 45, 1980.
- Putnam H.* Realism with a Human Face. Cambridge, 1990.
- Putnam H.* Reason, Truth and History. Cambridge, 1981.
- Putnam H.* Reason, Truth and History. Cambridge, 1981.
- Putnam H.* Sense, Nonsense, and the Senses: An Inquiry into the Powers of the Human Mind. Cambridge, 1985.
- Quine W.V.O.* Word and Object (Chapter 2), 1960; *Ontological Relativism* (1977);
- Steinthal H.* Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. 2. Aufl. Berlin, 1890. T. 1.
- Stoicorum veterum fragmenta*. Coll. J. V. Arnim. Vol. I. Lipsiae, 1905; vol. II. Lipsiae, 1903; vol. III, Lipsiae, 1903; vol. IV. Lipsiae, 1924.
- Talstra E.* A Hierarchy of Clauses in Biblical Hebrew Narrative // *Narrative Syntax And The Hebrew Bible*. Papers of the Tilburg Conference 1996 / Ed. E. Van Wolde. Brill, 1997. P. 79-101.
- Weinrich H.* Linguistik der Luege. Verlag Lambert Schneider, Heidelberg. 1966.
- Weinrich H.* Tempus: Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart, 1964.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

- абстрагирование
 - от актуальности 70
 - от субъекта 70
- автоматизм языкового процесса 208
- адекватный перевод 419
- адресат 325, 441
- аксиоматические системы
 - введение аксиоматической системы 438
 - в теореме Левенгейма—Сколема 426
- актуально назначенные единства 388
- актуальное коммуникативное действие 448
- актуальный мыслительный процесс 376
- актуальность 125, 378
- актуальный вербальный процесс 378
- акциональность 378
- аналогия
 - стоическая 72, 74
 - с игрой 197, 201, 206
 - с кубиками 128, 163, 173, 392, 445
 - со зданием 90
 - с фотографией 130
 - с шахматами 237, 448
- аналогический подход 74
- аномалия 68, 72

антиментализм 253
антисемантическая система языка 167
античная семиотика 128
аорист 60
априорные подлежащие 25
арифметическое правило 250
артикуляционные свойства 25
атомизирующий подход 224
аутентичные свойства вербального процесса 125, 177, 372

Б

базовые принципы модели 16
базовый компонент
 см. генеративная модель
бесконечные множества 427
бессмысленность 25
бессмысленные модели 144
биологическая метафора 18

В

валентности слов 118
варвар 127, 129, 130, 131
введение модели 438
вербальный феномен, *см. т.ж.* лингвистический факт,
 вербальный материал, вербальные модели
 вербальные модели 449, 453
 вне актуальной коммуникации 409, 415
 воспроизводимый в сознании 443
 как выражение сознательного процесса, или мысли
 239, 368
 как предикат мыслимой коммуникативной ситуации
 319
 перформативность всех вербальных фактов 354
 понятие 211, 331
вербальное (воз)действие
 на различных «языках» 152
 понятие 16, 229
 противопоставлено невербальному 331
вербальность
 навязывается знанию 248

- вербальные модели 168, 325, 377, 379, 414
- вербальный материал 124, 193
- вербальный процесс 232
- верифицируемость 351
- внутренняя речь 232
- внутренний реализм 398, 425
- внутренние когнитивные состояния 443
- возможные интерпретанты 325
- вопросительное слово 67
- вопросительное предложение 67
- времена глаголов 56
- временная система 60
- всеобщее—личное 331
- выделение актуального объекта 384, 414
- высказываемое 48
- высказывание
 - значит нечто само по себе 380
 - является предикатом ситуации 242

Г

глагол

- определение Дионисия Фракийского 80
 - понятие Аристотеля 32
- тенеративная модель
- антиментализм грамматики 447
 - базовый компонент 178
 - вершина 174
 - глубинная структура 187
 - дерево порождения 175
 - механизм языка 181
 - невозможные предложения 180
 - непосредственно составляющие и трансформационные правила 174
 - операции «движения», или перемещения 174
 - определяется автономными свойствами слов 170
 - отношение к отдельно взятому слову 178
 - правильные предложения конкретного «языка L» 172
 - право-, левовершинные языки 174
 - пустая категория 173
 - разбор по составу 176

- синтаксически правильные цепочки 170
- творческий аспект языка 183
- ядерность 177
- языковая компетенция 170
- языковая способность ребенка 173
- глухонемой 238
- говорящий (пишущий)
 - невербальные интенции действия 445
 - ситуация вербального действия 325
- грамматика
 - вторичность 321
 - грамматика суждений 349
 - грамматика и логика 389
 - грамматика родного языка 44
 - грамматические правила 412
 - зрительная способность в сравнении с языковой 185
 - исключение не-суждений из грамматики 388
 - логическая грамматика 371
 - определение Дионисия Фракийского 76
 - понятие 41, 45, 84, 90, 321, 451
 - порождает материал 177
 - самостоятельная дисциплина 70
 - язык как грамматика и словарь 364, 380, 435, 448, 450
- грамматическая система греческого языка 73
- границы «языка»: временные, пространственные, терминологические 454

Д

- действие
 - в коммуникативной ситуации 188, 222, 235, 321, 331, 346, 355, 412, 445
 - в перформативе 339
 - в проективно мыслимых условиях 443
 - концепция осознанного свободного действия 426
 - мыслимая структура действия 144
 - мыслимая типология действий 321
 - мыслимое невербально 271, 320
 - не может быть истинным или ложным 356

- необходимое коммуниканту 138
- понимание в тождестве 270
- понятие 86, 124
- разграничение фонетических, фатических и ретических действий 358
- действительность
 - мыслимая говорящим 121
 - невербально мыслимая лично воспринятая 86
- дектико-синтаксическая причина 177
- дектико-синтаксические критерии 55, 58
- дектический синтаксис 86, 87, 179
- дектическая синтагма 124, 448
- дектическая типология 117
- делимость речи 26
- десигнат 136
- дескриптивизм 18
- детская речь
 - см. ребенок
- деятельность духа 147
- диалектика 46
- диахрония и синхрония 114
- дискурс
 - мыслимая коммуникативная ситуация 317, 319, 320, 472
 - словесный контекст 311
 - диалог 313
- договор 29
- дозирование коммуникативного компонента 366
- достоверное знание 189
- древние тексты 72
- душевное представление 57, 58, 127
- Е**
- единицы речи, вербального процесса 25, 447
- единство
 - мышления и слова 43
 - означаемого и означающего 101, 104, 131
 - предметной структуры 245
 - языкового механизма 171

естественная коммуникация 392, 419, 441, 452, 456
естественный лингвистический материал 118, 382
естественный коммуникативный процесс 417, 434
естественный язык и математический язык 423

Ж

живые языки 161

З

закон природы 198

заранее известном коммуникативном значении 54

звук

 апория бессмысленности 25

 богоданные 23

 бессмысленность звуков 27

 как «часть речи» 32

 как обозначающее 49

 как наиболее определенный лингвистический материал
 163

 наименьшая часть имени 21

 неавтономность значения 115, 120

 особый статус звуков речи 50

 объект исследования Панини 22

 смыслообразующие функции 26

звуки осмысленной речи у стойков 50

звучание слова 48

знак

 вне коммуникативной ситуации 143

 зависимость от деятельности сознания 410

 назначенность знака 142

 проблема знака у Соссюра 117, 120, 126, 131

 отношение «коммуникативная ситуация—знак» 452

 ситуативное использование 402

знание

 автоматизированных правил 186

 знания единого «языка» 190

значение

 истинности/ложности 412

 коммуникативное 54

- лексическое 320
- предложения 189
- слова 178, 192, 300, 320
- содержится в слове 190
- элемента в системе 115
- элементов языка 189
- языковых действий 221
- значимость 118, 122
- зрительная способность в сравнении с языковой 185

И

игра

- бессмысленная 138, 186, 368
- буквы ведут читающего 203
- изготовление объекта по его описанию 238
- исполнение приказов 238
- понимание игры Витгенштейном 230
- соблюдение правил 240
- шахматы 104, 105, 203, 217, 237, 448
- идеальный лингвистический объект 172
- изолированное положение слова 86, 320
- иллокуция, или иллокутивная сила
 - определение 340, 359
 - соответствует перформативу 359
- именительный падеж 57
- именная группа 175
- имперфект 60
- имя
 - имена как части вербального процесса 32
 - предметная часть логоса (предложения) 20
 - смысловая автономность 27
- инструментальная метафора 18, 159
 - и биологическая 446, 453
- интернализм и экстернализм 399
- интерналистская перспектива 403
- интерналистская концепция истины 398
- интерпретация 249, 253, 392, 421, 445
- интуитивное понятие множества 426
- иррациональность 440

- искренние и неискренние высказывания 415
- искренность 413
- искусственный объект исследования 170
- истинное и ложное
 - зависимость от мыслимой ситуации 86, 412
 - истинное положение дел 242
 - истинность/ложность лингвистического материала 39, 389
- истинные и ложные высказывания
 - высказываемое (lekton) 50
 - констативы 351
 - материал стоической грамматики 66
 - невозможность истинного/ложного действия 356, 415
 - невозможность истинного/ложного актуального высказывания 415
 - признание истинности/ложности суждения 417
- истина или ложь 443
- истории языков 162
- источник всеобщего знания 247

К

- казуистика 120
- картинки-значения (аналогия с кубиками) 392
- категория времени 60
- каузальное взаимодействие с объектами 402
- кванторы первого порядка 427
- класс объектов 426
- классическая логика
 - и обыденный язык 230, 246
 - необходимость отмены 331
 - спасание от перформативов 350, 381
- классификация языкового материала 83
- когерентность 394, 398
- когнитивная типология 86
- когнитивное тождество 433
- когнитивность языкового процесса 125, 167, 378
- когнитивные критерии 74
- когнитивный компонент зрения 185
- когнитивный процесс 447, 453

- когнитивный фрейм с назначенными объектами 441
 комбинаторика элементов 379, 451
 коммуникативная теория 442
 коммуникативная реальность 59
 коммуникативная ситуация 55, 441
 «коммуникативная ситуация—знак» 452
 коммуникативная типология 61, 81, 83, 86, 452, 455
 коммуникативная успешность или неудача 332
 коммуникативно актуальные утверждения 415
 коммуникативно-типологический критерий 84
 коммуникативное действие 208, 420, 441
 коммуникативная референция 417, 419, 420
 коммуникативное пространство 168
 коммуникативность 125, 378
 коммуникативный критерий 67
 коммуникативный контекст 245
 коммуникативный синтез 455
 коммуникативные действия говорящих 435
 компетенция
 см. генеративная модель
 комплексность и временность языкового факта 122
 конкретное действие 151
 констативы (утверждения)
 определение 371
 отличие от перформативов 339
 конструирование множеств 438
 контекст 192, 213
 контекст жизни 193
 концептуализация 396
 концепты 402
 корень 27
 корреляция «знак— значение» 164, 166, 175, 191, 392, 445
 корреспондентная теория истины 395
 кризис антчной модели 164
 кубик с нанесенным изображением 128, 163, 392, 445
 кубики и пазлы 173
 кубики-слова 392

Л

- лексическое значение 320
- линейность текста 309
- лингвистика и логика 38
- лингвистический материал 22, 23, 28, 189, 321
- личное действие 139, 156, 335
- логика 37, 43, 226, 239, 240, 344, 382
 - см. т.ж.* классическая логика
- логико-математический подход 16
- логика первого порядка 427
- логический инструментарий грамматики 350
- логический объект 434
- логический подход к вербальным фактам 62, 63, 443
- логический объект 416
- логический «язык» 436
- логическое представление вербального факта 386, 409, 411, 416, 418, 441
- логическое предложение 417
- логическое редуцирование 413
- логичность 103, 137
- Логос 41, 47
 - внутренний 51
 - произнесенный 51
- локутивное значение 340
- локуция
 - локуция—иллокуция—перлокуция 340, 351, 357
 - независимость локуции 364
 - противопоставлена иллокуции 331
 - соответствует констативу 359

М

- магическая теория референции 400, 402
- магия самоорганизующихся слов 453
- математика 420
- математические модели фзыковых феноменов 441
- математический язык 420
- математический объект 426
- математический язык 422
 - и вербальный 392

- угроза сколемизации 436
- материал
 - выведение из логического представления 346
 - естественного языка 90, 170
 - комплексный характер 106
 - определяет генеративную модель 177
- материальный критерий 353
- ментализм 447
- ментальные репрезентации 401
- метафизический реализм 395, 397, 423
- метафоры инструментальная и биологическая 446
- механизм порождения синтаксически правильных цепочек 170
- мнемотехника 321, 456
- многозначность слов 33
- множество
 - назначенность (конструируемость) множеств 388, 439
 - отсутствие упорядоченного соответствия между элементами 446
- модель 124
 - введение модели 438
 - дискурсивная 320
 - «знак—значение» 322, 324, 447
 - математического «языка» 441
 - модель описания, или философия языка 15, 17, 350
- моделирование вербального действия 233
- «мозг в сосуде» 403
- момент мыслимой коммуникативной ситуации 308, 314, 448
- момент речи 61
- мыслимая ситуация вербального действия 314, 317, 444
- мыслимая типология действий 321
- мыслимое повествовательное предложение 50
- мыслимость
 - см.* когнитивность языкового процесса
- мыслимые объекты 325
- мыслимые «подлежащие» 17, 98, 106
- мысль
 - vs* слово 47
 - единство мышления и слова 43

- есть суждение 345
- идентична вербальному материалу 68
- косвенно выражается словом 345, 347, 443
- не идентична вербальному материалу 346
- не предполагает воздействия на адресата 413
- невербальна 443
- правильная словесная форма 38
- мышление
 - вербально 102
 - в языковой форме 239
 - и речь 37, 228
 - невербально 232
- Н**
- назначенность параметров
 - деятельность сознания 353
 - набор возможностей для установления связей 75
 - назначение значения слова 300
 - назначенность (конструируемость) объектов и множеств 388, 439
 - назначенные говорящим объекты 325
 - назначенность языковых игр 221
- наивный эмпиризм 396
- намеренная констатация причинно-следственных связей 439
- нарушение правил 253
- не-суждения 347
- невербальная типология 83
- невербальное действие 271
- невербальное мышление 229
- невербальное значение 81
- невербальные интенции говорящего 445
- недоверие к предметному материалу «языка» 165
- неинтерпретированные символы 420
- неискренность 413
- некоммуникативный логический материал 414
- неопределенность перевода 418
- неопределенность референции 418
- неполное высказываемое 63

- непосредственно составляющие 174
- несловесность выражаемых значений 376
- несомненное знание 254
- нетождественность
 - автономной вербальной структуры 416
 - предложений «языка» 432
 - языковой формы 245
- нетождественная интерпретируемость 415
- нефиксированная референция 422, 434
- неэффективность модели «слово—смысл» 445
- «ничьи» слова 444
- номинализм 410, 425

О

- обозначаемое, обозначающее и предмет 46, 49
- оборот accusativus cum infinitivo 35
- образы коммуникативного взаимодействия 443
- обстоятельства совершения действия 325
- общее
 - в отличие от родственного 219
- объект
 - зависимость от концептуальных схем 398
 - лингвистики 107
 - мыслимый 325
 - созданный говорящим 354
 - удобный для теоретического описания 171
 - языкового действия (адресат) 417
- объективность языковых знаков 128, 134
- объектная модель 18, 69, 190
- обыденный язык 227, 230, 241, 246
- означающее и означаемое
 - единство означаемого и означающего 101, 104, 131
 - закрепление означаемого за означающим 128, 129
 - понятие 120
- омонимия 35
- опасности игровой аналогии 206
- операциональные объекты 441
- операциональные ограничения 431
- опосредование семиозиса сознанием 128, 131

- оппозиция
 - «компетенция—употребление» 170
 - «язык—речь» 170
- определенные и неопределенные времена 61
- осмысленное действие 386
- осмысленное предложение 393
- основа 27
- осознанная коммуникативная ситуация 377
- отношение «коммуникативная ситуация—знак» 452
- отношение референции 401
- отношение парадигм 456
- отношение к моменту речи 61
- отрицание субъектной природы рациональности 440
- отрицание мыслимости вербального факта 433
- отсутствие идеи действия 409
- оценка действия говорящего 356

П

- падеж 56
- пазл 119, 129, 165, 166
- парадокс
 - Витгенштейна 248, 253
 - лжеца 380, 382
 - отсутствующего инструмента 163
 - Сколема 426
 - языка 381
- параметры за пределами словесной формы 448
- первая очевидность 24, 90, 124
- первые слова 52
- первые имена 26
- перлокутивный эффект 340
- перфект 60
- перформативы
 - vs констативы 331, 334
 - перформативные глаголы 337
 - все речевые факты перформативны 354
 - в теории логики 345
 - понятие 328, 329
- письменная речь 323

- планирование действия 376
- плюсquamперфект 60
- повествовательное предложение 40, 50, 66
- подлежащее
 - выделяется говорящим 414
 - коммуникативное 308, 412
 - обладает заданными свойствами 241
- подмена коммуникативного факта логическим 416
- позиция мыслящего субъекта 440
- полемика аналогистов и аномалистов 91
- полисемия 35
- полное (самодовлеющее) высказывание 63
- понимание
 - в тождестве 417
 - действия 270
- понятие 101
- порождение 24, 25, 91, 445
- пословная корреляция между «языками» 419
- посторонний интерпретатор 385
- постулирование истинности исходных суждений 438
- поступки 329
- поэтика 39
- правила
 - вводятся языковой игрой 198
 - главная ценность Витгенштейна 252
 - постоянно нарушаются 209
 - употребления слов 180
 - языковой игры 194, 197, 226
- правильное имя 29
- правильный механизм 199
- правильность имен 21, 53
- правильные предложения конкретного «языка *L*» 172
- правильный порядок вербальных элементов 212
- практика 195
- практика употребления 198
- предикат
 - коммуникативное понимание 65, 308, 354
 - предикат коммуникативной ситуации 319, 412
- предложение 32, 63, 65, 77, 87

- предмет
 - внешний субстрат 48
 - предмет, мышление и язык 48
 - предмет языкознания 107
- предметно-вербальные признаки 55
- предметный материал
 - аналогия с фотографией 131
 - несамотождественность 444
 - понятие 31, 38, 144
- предметность
 - критерия 67, 446
 - описательной модели 70, 375
 - оснований системного подхода 68
 - понятие 16, 19, 103
 - понимания лингвистического факта 409
 - предметные слова 127, 199
 - предметные «референты» 222
 - предметные элементы естественного языка не самотож 444
 - тело знака 445
 - элементы конкретного языка 22, 26, 123, 168
 - «языка» 425
- представление
 - в душе 30, 48
 - об актуальной ситуации 444
 - результатов эксперимента 238
- презенс 60
- презумпция узуса 74
- прекращение языкового процесса 211
- приемлемость для мыслимых адресатов 438
- принцип
 - анalogии 72
 - «знак—значение» 173
 - объективной значимости знаков 132
 - предметности лингвистического материала 70
 - речемыслительного единства 70
 - системности 42
 - структурной зависимости 174
- проверка гипотезы 238

- продукт деятельности 147
- проекционные правила 178
- проекция на коммуникативную ситуацию 380
- произвольность знака 116
- простое предложение 67
- противоречие данных и следствий теоремы 441
- противостояние узуса и «языка» 326
- процесс
 - говорения 449
 - коммуникации 124
 - мышления 449
 - смыслообразования 168
- прямая корреляция «знак—значение» 164, 445
- пустая категория 173

Р

- разбор по составу 176
- развод между философией языка и философией математики 440
- разграничение фонетических, фатических и ретических действий 358
- размытое значение 213
- разум 47
- разумная способность 174
- разумные представления 49
- рациональная приемлемость 398
- рациональность
 - отрицание субъектной природы рациональности 440
- ребенок
 - действующий по правилу 251
 - примитивные формы языка, по Витгенштейну 191
 - назначение правил совесных действий 388, 389
 - узнавание коммуникативных ситуаций при чтении 205
 - усвоение типологии ситуаций, а не грамматики 451, 472, 473
 - языковая способность, по Хомскому 173
 - языковые действия 388, 389
- реальность
 - речемыслительного процесса 222, 326

релятивизация понятий в естественном языке 431
рема 64
репрезентация 424
референция
 единиц «языка» 392
 невозможность референции в «языке» 416
 нетождественность логической референции 417
 референционный смысл 25
речемыслительный процесс 106, 125
решение арифметических задач 238
риторика 39, 44, 45, 91
родственные сходства 216

С

самозначащие слова и факты 387
самозначность
 вербальной формы 416
 высказываний 380
 понятие 383, 383
 структуры 412
 формализованного языка 422
 языка 441
самоидентифицирующиеся объекты 406, 410
самопорождающий детерминизм 178
самостоятельное значение 32
самостоятельные и несамостоятельные
 звуки 87
 части речи 87
сведение вербального факта к логическому 385
свобода говорящего 208
свободное действие 161, 455
свобода и разум 183
связь
 «знак—значение» 444
 логической формы и формы языка 246
 речи и мышления 232
 слова и значения 129
 устанавливается субъектным сознанием 129
 является обязательной 104

- семантическая система 165
- симметрия 73
- синтаксис
 - деклический, дискурсивный 86, 87, 320
 - независимый от семантики 421
 - мыслимой коммуникативной ситуации 188, 320
 - приоритет синтаксиса 178, 320
 - ситуации вербального действия 179, 417, 320
- синтаксический критерий 51
- система
 - единиц 16
 - знаков 121
 - как условие функционирования «языка» 69
 - как мнемотехника 456
 - слов 71
 - правил 199
- системность 69, 103, 104, 122
- системный компонент «языка» 364
- ситуативность 125, 378
- ситуация
 - см. коммуникативная ситуация
 - ситуация именованная 222
 - ситуация совершения вербального (воз)действия 325
- сказуемое 65, 241, 308, 320
- «сколемизация всего» 426, 432, 436, 440
- следования правилам 197
- слово
 - в соединении и разъединении 86
 - в изолированном положении (само по себе) 86
 - в контексте 212
 - вне актуальных условий коммуникации 300, 440
 - воспроизводимые в сознании 443
 - выражает мысль 448
 - значение как представление о действии
 - в коммуникативном пространстве 320
 - и звук 19
 - и мысль 36
 - и мышление 103
 - и смысл 452

- как минимальная значащая часть 77
- как предикат коммуникативной ситуации 319
- не выражает мысль 345
- не имеет значения вне коммуникации 444
- общее понятие 25, 30, 31, 120, 447
- предназначено к воздействию 413
- приписывание значения 300
- различие между двумя позициями слова 86
- синтаксическое понимание значения 320
- слова-понятия 116
- словесное действие и условия его совершения 330
- совокупность всех значений 220
- соответствие между словом и денотатом 139
- словарное значение 444
- словарь 214
- словарь и грамматика 409
- словесный материал 19
- словесный механизм 159
- словоориентированная парадигма 146
- сложное предложение, виды 67
- случаи «отклонения» 68
- смещение «когнитивных» и предметных критериев 67, 78
- смысл предложения 243
- смысло-формальное единство 128, 53, 320, 353, 370, 425, 441
- снятие незначимых параметров 438
- собственное значение 115
- собственный коммуникативный опыт 82
- сознание
 - и язык 102
 - индивидуальные сознания не тождественны 127
 - локализация процессов смыслообразования 126
- социальная коммуникация 250
- структурализм 18, 22
- структурная семантика 165
- субъект
 - введение в схему семиозиса 132
 - в математическом дискурсе 436

- изгнание из грамматики 40
- коммуникативной ситуации 441
- соотношение субъекта и предиката 64
- речевого процесса 30, 126
- говорящий 355
- субъектность 31
- субъективное содержание 378
- субъектная когнитивная схема 121
- субъектно-предикатное предложение 228
- субъектно-предикатное строение 50, 449
- субъектный когнитивный процесс 144
- субъектное коммуникативное действие 230
- субъектная природа знака 139
- субъектность речи 31
- субъектные когнитивные основания 440
- суждение 39, 228, 241
 - вне говорящего не существует 356
- схема «знак— значение» 410, 419
- схема «слово—смысл» 448

Т

- творческая способность 184
- творческий аспект языка 183
- творчество говорящих 182
- тема и рема 64
- теоретико-модельный аргумент 407
- теоретические ограничения 432, 438
- теоретическое «подлежащее» 425
- теоретическое представление 321
- теория референции 396
- теория знака 126
- типы действия 339
- типология, *см. т.ж.* коммуникативная типология
 - актуальных коммуникативных ситуаций 59, 60, 208, 451
 - действий в коммуникативном пространстве 144, 180, 188
 - деклических («лично воспринятых») синтагм 320, 321, 444

невербального 188
типологические коммуникативные ситуации 82
тождество мышления и языка 229
тождественные знаки 127
тождество невербальной ситуации 83
трансформации 188
трансформационные и фонологические правила 180

У

уверенность 256
угнетение «ментализма» 169
узус 322, 324, 325
универсалии 188
универсальная грамматика 174
употребление 170, 191, 192
упрощенный взгляд на феномены языка 61
условия и ограничения 163
условия игры 206
успешность или неудача коммуникации 332
утверждение 332
утвердительные и совершительные высказывания 338

Ф

феномен 22
фетишизация 103
фигуры в шахматной игре 194
физиологически заданные единицы 167
физический объект 424
физические свойства 25
фиксированная референция термов 423
фиксированная интерпретация 423
фиксированная референция 394
фиксированная связь означающего и означаемого 126
философия языка
 развод между философией языка и философией
 математики 440
формы жизни 193
формальный метод 164
формальное сходство в словах 81

формальный критерий 353
фотографическое изображение 130
фрейм 387, 389, 438
фундаментальные вещи 256
футурум 60

Ч

части речи 20, 30, 32, 55, 78
чистое понятие числа 439
членимость письменной речи на элементы 77
чтение 203

Э

эксплицитный перформатив 337
экстернализм 399
экстерналистская перспектива 403
экстралингвистическая реальность 412
элемент 26, 27
элементарное значение слова 197
этимология 43, 51
эффективная модель описания 443

Я

ядерность 177
язык, *см. т.ж.* языковая игра
 абстракцию «язык» нельзя считать эффективной 445
 абстракция «язык» не отражает свойств материала 378,
 450
 автономная система 59
 автономный количественный объект 377
 в программах интернализма и экстернализма 424
 в сознании 376
 в употреблении 378
 в тексте 377
 говорящий и «язык» 152
 идеальное состояние «языка» 76
 идеальный объект 107
 как инструмент референции 411
 как «компонент деятельности» 193

- логико-грамматическая самозначность 389
- невозможность идеальной системы 112
- необходимый инструмент 108, 160
- отделение «языка» от интерпретации 421
- право-, левовершинные языки 174
- преодоление многообразных форм узуса 322
- понимаемый отдельно от действия 230
- референтная система 411
- система языка как мнемотехника 321, 456
- язык—употребление 331
- язык-инструмент 160
- язык как грамматика и словарь 380, 435
- язык как система правил 230
- язык как формальный объект 420
- язык с неопределенной референцией 422
- языковая игра, *см. тж.* игра
 - отношение языковой игры и языка 201
 - понятие 192
 - регламентируется правилами 198
 - синонимы 192
 - язык плюс деятельность 198
- языковая картина мира 260, 443
- языковая перспектива понятия «знак» 141
- языковая предметность 142
- языковой материал 228
- языковые модели 72
- языковые универсалии 85, 188

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Августин 63, 224
александрийская грамматическая школа 62, 70
александрийские грамматики 70, 71, 82, 83
Александрия 73
Аммоний 57
«Аналитика» 348
аналитика 36, 40
аналогисты 73
аномалисты 73
Аполлоний Дискол 88, 89, 90, 96
Апостол Павел 389
Аристарх 73
Аристотель 29, 31, 33, 34, 37, 39, 42, 54, 62, 63, 67,
86, 88, 116, 242, 243, 305, 306, 315, 348,
349, 350, 396, 448
Арно 98
Афины 68
- Баллард 239
Барулин 139, 141
Бахтин 161
Беркли 397
Булгаков 458
- Вайнрих, Гарольд 315
Василий Великий 458
Витгенштейн
189, 191, 192, 196, 218, 224, 225, 228, 231, 232, 235,

- 236, 240, 243, 248, 251, 262, 264, 300, 329, 375, 433
Волошинов 162
«Восьмикнижие» 21, 27
- Гедель 430, 437
Гераклит 47
Гермоген 20, 467
Гивон 273, 274
Гомер 71, 72, 112
гомеровские поэмы 73
Грайс 375
Грамматика Пор-Рояля 98, 99, 111
«Грамматика», или «Грамматическое искусство»
 Дионисия Фракийского 76
«Грамматическое руководство» Элия Доната 95
Григорий Богослов 459
Григорий Нисский 458, 464
Гумбольдт 146, 150, 152, 156, 168, 177, 269
Гуссерль 375
- Декарт 396
Джекендофф 273
Джемс 239
Диоген Вавилонский 55
Диоген Лаэртский 63
Дион 49, 130, 131, 136
Дионисий Галикарнасский 62
Дионисий Фракийский 76
Донат 95
- Евномий 461, 462
Ельмслев 169
- «Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка
 говорят нам о мышлении» 281
- Каллипп 54
Кантор 427
Карцевский 375

- Кратил 26, 30, 52, 54, 69, 467
Крипке 209, 251, 253
Куайн 418, 419
Кубрякова 272, 273
«Курс общей лингвистики» 98
- Лакофф 281, 290, 293, 420
Лансло, Клод 98
Левенгейм 426
Левенгейма—Сколема теорема 426, 428
«Логико-философский трактат» 224
Локк 397
Лонгакр 311, 312, 313, 316
Лосев 458
Льюис 442
- «Метафизика» 31, 38
младограмматики 166, 167, 168
Моррис 133, 135, 375
- нирукта 23
- «О диалектике» 63
«О достоверности» 259, 262
«О софистических опровержениях» 34, 35, 242
«Об истолковании» 30, 31, 33, 39, 349
«Об ораторе» 92
Остин 328, 329, 331, 334, 338, 344, 347, 358, 364, 372, 375,
381
Панини 21, 22, 23, 24, 27, 28, 32
Патнэм 390, 391, 393, 395, 396, 398, 404,
406, 409, 411, 412, 415, 416, 417, 418,
420, 424, 425, 428, 431, 432, 433, 441, 442
Пергам 73
пергамская школа 70
перипатетики 57, 61
Пинборг 47
Пирс 127, 131, 133
Платон 21, 26, 27, 28, 30, 36, 40, 51, 52, 77,

- 112, 116, 227, 458, 459, 460, 462, 467
Пор-Рояль 98
Потебня 156, 157
«Поэтика» 32
Присциан 95, 96
«Протагор» 44
- Рош 288
- Секст Эмпирик 49, 128, 130, 131
Серль 375
«Синтаксические структуры» 176
Сколем 426, 430
Сократ 19, 21, 38, 53, 54, 87, 467
Соссюр 98, 100, 102, 106, 108, 111, 114, 116,
118, 121, 122, 127, 129, 130, 168, 176, 256
«Софист» 36
Степанов 375
Стоя 41, 43, 64
стойки 41, 56, 57, 58, 60, 62, 67, 127, 128, 130, 131,
227
стойко-пергамская школа 73
стоицизм 41
- Тайлор 375
Тарский 430
«Теэтет» 36
Тронский 49
- Фивы 68
Филон Александрийский 462
«Философские исследования» 189, 192, 222, 266
Флоренский 458
Фодор 272
Фортунатов 159
Фосслер 159
- Хабермас 375
Хомский 174, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184,
185, 256, 268, 269, 271, 278, 279, 283, 280

Хрисипп 53, 54, 55, 62

Целищев 428, 437, 440

Цицерон 92, 93, 94

Шивасутра 27, 32

Штейнталь 159

Эпименид 386, 389, 390, 391

«Язык и проблемы знания» 182